Рональд Лэнг
РАСКОЛОТОЕ «Я»

1. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУКИ О ЛИЧНОСТЯХ

Термин «шизоидный» применяется к индивидууму, цельность переживания которого расщеплена двойственным образом: во-первых, существует разрыв в его отношениях с его миром, а во-вторых, существует раскол в его отношении к самому себе. Подобная личность не способна переживать самое себя «вместе с» остальными или «как у себя дома» в этом мире, а наоборот, этот индивидуум переживает самого себя в состоянии отчаянного одиночества и изоляции. Более того, он переживает самого себя не в качестве цельной личности, а скорее в виде «раскола» всевозможными образами: вероятно, как разум, более или менее слабо связанный с телом, как два и более «я» и тому подобное.

В этой книге предпринимается попытка экзистенциально-феноменологического описания некоторых шизоидных и шизофренических личностей. Однако, прежде чем начать такое описание, необходимо сравнить данный подход с подходом обычной клинической психиатрии и психопатологии.

Экзистенциальная феноменология пытается изобразить природу переживания личностью своего мира и самое себя. Это попытка не столько описать частности переживания человека, сколько поставить частные переживания в контекст всего его бытия-в-его-мире. Безумные вещи, сказанные и сделанные шизофреником, по сути, останутся закрытой книгой, если не понять их экзистенциального контекста. Описывая один путь сумасшествия, я попробую показать, что существует постижимый переход от здорового шизоидного способа бытия-в-мире к психотическому способу бытия-в-мире. Сохраняя термины «шизоидный» и «шизофренический» соответственно для здорового и психотического состояния, я, конечно же, буду употреблять эти термины не в их привычном, клинически-психиатрическом контексте, а феноменологически и экзистенциалистски.

Клинический фокус достаточно узок и охватывает лишь некоторые из путей шизоидного существования и перехода к шизофреническому с отправной шизоидной точки. Однако описание эпизодов, пережитых пациентами, имеет целью показать, что эти случаи нельзя полностью охватить методами клинической психиатрии и психопатологии в их теперешнем состоянии, а наоборот, для демонстрации их подлинно человеческих уместности и значимости необходим экзистенциально-феноменологический метод.

В данной книге я, насколько мог, непосредственно шел к самим пациентам и свел до минимума обсуждение исторических, теоретических и практических вопросов, поднимаемых психиатрией и психоанализом. Частная форма человеческой трагедии, с которой мы здесь сталкиваемся, никогда не представлялась с достаточной ясностью и определенностью. Поэтому я чувствую, что в первую очередь должна быть поставлена чисто описательная задача. Таким образом, эта глава дает лишь краткое представление об основной ориентации данной книги, для того чтобы избежать самого ужасного непонимания. У этой книги две цели: с одной стороны, она предназначена для психиатров, которые хорошо знакомы со «случаем», но, возможно, не привыкли рассматривать «случай» qua person, как описывается он здесь; с другой стороны, она обращена к тем, кто знаком с подобными личностями или сочувствует им, но не сталкивался с ними в качестве «клинического материала». Неизбежно, что она чем-то не удовлетворит как тех, так и других.

Будучи психиатром, я с самого начала столкнулся с серьезной трудностью: как я могу пойти прямо к пациентам, когда психиатрические термины, находящиеся в моем распоряжении, удерживают пациента на определенном расстоянии от меня? Как показать всеобщие человеческие уместность и значимость состояния пациента, когда слова, которые приходится употреблять, созданы именно для того, чтобы изолировать и ограничивать смысл

жизни пациента чисто клинической сущностью? Неудовлетворенность психиатрическими и психоаналитическими терминами довольно часто встречается — и не в последнюю очередь среди тех, кто ими пользуется. Повсеместно ощущается, что терминам психиатрии и психоанализа почему-то не удается выразить то, что «действительно подразумевается». Но одной из форм самообмана является предположение, что можно говорить одно, а думать другое.

Поэтому будет удобно начать с обзора некоторых из используемых слов. Как сказал Витгенштейн, мышление есть язык. Специальная терминология же — язык внутри языка. Рассмотрение специальной терминологии станет в то же самое время попыткой открытия реальности, которую слова разоблачают или утаивают.

Наиболее серьезное возражение по отношению к специальной терминологии, используемой ныне для описания пациентов психиатрических лечебниц, заключается в том, что она состоит из слов, которые расщепляют человека вербально, аналогично экзистенциальным расколам, описываемым нами в данной книге. Но мы не можем дать адекватного отчета об этих экзистенциальных расколах, если не начнем с понятия целокупности, а такого понятия не существует, и подобное понятие нельзя выразить языком современной психиатрии и психоанализа.

Слова современной специальной терминологии относятся либо к человеку, находящемуся в изоляции от других и от мира, то есть, по существу, вне «связи» с другими и с миром, либо — к ложно субстанциализированным сторонам этой изолированной сущности. Вот эти слова: разум и тело, психическое и соматическое, психологическое и физическое, личность, «я», организм. Все эти термины являются абстракциями. Вместо изначального союза «Я» и «Ты» мы берем одного изолированного человека и концептуализируем его различные стороны в виде эго, супер-эго и ид. Другие становятся либо внутренними или внешними объектами, либо их слиянием. Как мы можем адекватно говорить об отношениях между мной и тобой на языке взаимоотношения одного ментального аппарата с другим?

Как можно сказать, что значит скрыть что-то от себя или обмануть самого себя с точки зрения барьеров между одной частью ментального аппарата и другой? С этой трудностью сталкивается не только классическая фрейдистская мета-психология, но равным образом и любая теория, которая начинает с человека или с части человека, абстрагированных от его связи с другим в его мире. По нашему личному опыту мы все знаем, что можем быть самими собой только в нашем мире и посредством него, и есть смысл в том, что «наш» мир умрет вместе с нами, хотя «тот» мир будет существовать без нас. Лишь экзистенциалистское мышление попыталось сочетать изначальное переживание человеком самого себя в связи с другими в его мире с помощью термина, адекватно отражающего эту цельность. Таким образом, экзистенциально конкретное видится как экзистенция человека, его бытие-в-мире. Если не начать с понятия человека в его связи с другими людьми, с начала «в» мире, и если не осознать, что человек не существует без «своего» мира и его мир не может существовать без него, мы обречены начать наше исследование шизоидных и шизофренических случаев с вербального и концептуального раскола, соответствующего расколу цельности шизоидного бытия-в-мире. Более того, вторичная вербальная и концептуальная задача объединения всевозможных кусочков и осколков будет выполняться параллельно с отчаянными попытками шизофреника совместить разъединенные «я» и мир. Короче, мы уже разбили Шалтая-Болтая, которого нельзя собрать вновь с помощью любого количества сложных и составных слов: психофизическое, психосоматическое, психобиологическое, психопатологическое, психосоци-альное и т. д. и т. п.

Если дело обстоит таким образом, может статься, что взгляд на происхождение подобной шизоидной теории будет крайне уместен при понимании шизоидного переживания. В следующем разделе я воспользуюсь феноменологическим методом, чтобы попытаться ответить на этот вопрос.

Бытие человека (я буду впоследствии пользоваться термином «бытие» просто для обозначения всего того, что есть человек) можно рассматривать с разных точек зрения, и

исследование может сосредотачиваться на том или ином его аспекте. В частности, человека можно рассматривать как личность и как вещь. Но даже одна и та же вещь, рассмотренная с различных точек зрения, вызовет два совершенно разных описания, а описания вызовут две совершенно разные теории, а теории приведут в итоге к двум совершенно разным поведенческим установкам. Изначальный способ рассмотрения вещи определяет наше последующее отношение с ней. Давайте взглянем на один достаточно двусмысленный рисунок:

На этом рисунке изображена одна вещь, которую можно рассматривать как вазу или как два лица, обращенных друг к другу. На рисунке не существует двух вещей; тут есть одна вещь, но, в зависимости от того какое впечатление она на нас производит, мы можем увидеть два различных объекта. Отношение частей к целому в одном объекте совершенно отлично от отношения частей к целому в другом. Если мы описываем одно из лип, мы опишем сверху вниз лоб, нос, верхнюю губу, рот. подбородок и шею. Хотя мы описывали одну и ту же линию, которая при другом рассмотрении может стать очертанием вазы, мы описали не очертание вазы, но контур лица.

Скажем, если вы сидите напротив меня, я могу рассматривать вас как еще одну личность, наподобие меня самого. Но без каких-либо перемен в вас и в ваших действиях я могу рассматривать вас как сложную физико-химическую систему, вероятно, со своими собственными идиосинкразиями, но тем не менее химическую. Будучи рассмотренным таким образом, вы уже являетесь не личностью, а организмом. Будучи выраженным на языке экзистенциальной феноменологии, другой, рассмотренный как личность или как организм, является объектом различных интенциональных актов. Тут нет дуализма в смысле сосуществования в объекте двух различных субстанций — психической и соматической. Имеют место два эмпирических гештальта — личность и организм.

Отношение к организму отлично от отношения к личности. Описание другого как организма отлично от описания другого как личности, точно так же как описание вазы отличается от описания человеческого профиля. Сходным образом теория о другом как организме далека от теории о другом как личности. Действия по отношению к организму отличаются от действий по отношению к личности. Наука о личностях является исследованием человеческого бытия, начинающегося с отношения к другому как к личности и развивающегося до описания другого по-прежнему в качестве личности.

Например, если человек слушает, как говорит другая личность, он может либо а) исследовать вербальное поведение с точки зрения процессов в нервной системе и всего речевого аппарата, либо б) попытаться понять, что другой говорит. В последнем случае объяснение вербального поведения с точки зрения всеобщей связи изменений в организме, которые должны происходить в качестве conditio sine qua поп вербализации, не представляет собой вклад в возможное понимание того, что индивидуум говорит. И наоборот, понимание того, что индивидуум говорит, не дает знания о том, как клетки головного мозга потребляют кислород. То есть понимание того, что он говорит, не заменяет объяснения относящихся к делу процессов в организме, и наоборот. И опять-таки здесь не встает вопрос о дуализме разума и тела. Два описания — в данном случае личностное и органическое, — предпринятые в отношении речи или любой другой наблюдаемой человеческой деятельности, являются результатом изначального интенционального акта. А каждый интенциональный акт ведет в своем собственном направлении и дает свои собственные итоги. Человек выбирает точку зрения или интенциональный акт внутри всеобщего контекста того, чем этого человека «интересует» другой. Человек, рассмотренный как организм, и человек, рассмотренный как личность, раскрывают, перед исследователем различные стороны человеческой реальности. Оба рассмотрения вполне допустимы методологически, но нужно внимательно следить за появлением возможной путаницы.

Другой как личность видится мной как достойный доверия, обладающий свободой выбора, то есть как самостоятельно действующее существо. При рассмотрении же в качестве организма все, происходящее в этом организме, можно концептуализировать на любом

уровне сложности — на атомном, молекулярном, клеточном, системном или на уровне организма. В то время как поведение, рассмотренное в качестве личностного, видится с точки зрения переживаний этой личности и ее интенций, поведение, рассмотренное в качестве органического, можно видеть лишь как сокращение или расслабление определенных мышц и т. п. Вместо переживания последовательности человека интересует последовательность процессов. Поэтому в человеке, рассмотренном как организм, нет места его желаниям, страхам, надеждам или отчаянию, как таковым. Результаты наших объяснений не являются его интенциями по отношению к его миру, они лишь энергетические кванты в энергетической системе.

Будучи рассмотренным в качестве организма, человек не может быть не чем иным, как комплексом вещей, а процессы, в результате охватывающие организм, являются вещественными процессами. Обычное заблуждение заключается в том, что человек каким-то образом сможет углубить свое понимание личности, если переведет личностное понимание на безличностный язык последовательности, или системы, вещественных процессов. Даже при отсутствии теоретического оправдания сохраняется тенденция переводить наше личностное переживание другого как личности в его деперсонализированное описание. Мы делаем это до некоторой степени при использовании в наших «объяснениях» машинной или биологической аналогии. Необходимо отметить, что я не возражаю против использования механической или биологической аналогии как таковой, да и не против интенционального акта рассмотрения человека в качестве сложной машины или животного. Мой тезис ограничивается утверждением, что теория человека как личности сбивается с пути, если она впадает в описание человека как машины или органической системы вещественных процессов. Справедливо также и обратное.

Кажется необычным, что, в то время как физические и биологические науки о вещественных процессах одержали всеобщую победу в борьбе с тенденциями персонализации мира вещей или введения человеческих интенций в животный мир, подлинная наука о личностях едва зарождается по причине застарелой тенденции к деперсонализации, или овеществлению, личностей.

Ниже мы будем особо интересоваться людьми, переживающими себя как автоматы, роботы, части машин и даже как животные. Подобные личности справедливо рассматриваются как сумасшедшие. Однако почему мы не считаем теорию, стремящуюся превратить личности в автоматы или в животных, равным образом безумной? Переживание человеком самого себя и другого в качестве личностей первично и самообоснованно. Оно существует прежде научных или философских затруднений, связанных с вопросом, как возможно подобное переживание или как его нужно объяснять.

На самом деле, трудно объяснить живучесть в нашем мышлении элементов того, что Макмаррей назвал «биологической аналогией»: «Мы ожидаем, — пишет Макмаррей [34],-что научная психология появится параллельно с переходом от органической к личностной… концепции единства», что мы станем способны думать об индивидуальном человеке, а также и переживать его не как вещь или организм, но как личность, и мы приобретем способ выражения этой формы единства, являющейся специфически личностной. Поэтому задача, решаемая на последующих страницах, грандиозна, она состоит в попытке описать совершенно особую, личностную форму деперсонализации и дезинтеграции, в то время как открытие «логической формы, через которую единство личностного может быть ясно понято», по-прежнему является задачей будущего.

Конечно же, в психопатологии существует множество описаний деперсонализации и расщепления. Однако ни одна психопатологическая теория не способна полностью преодолеть искажение личности, наложенное ее собственными посылками, хотя она и может стремиться к отрицанию этих самых посылок. Психопатология, достойная своего названия, должна предполагать «психическое» (ментальный аппарат или эндопсихическую структуру). Она должна предполагать, что объективация — с овеществлением или без него, — наложенная мышлением с точки зрения фиктивной «вещи» или системы, является

адекватным концептуальным коррелятом другого как личности, действующей вместе с другими. Более того, она должна предполагать, что ее концептуальная модель функционирует аналогично функционированию организма в здоровом состоянии и аналогично функционированию организма, больного физически. Впрочем, какими бы частичными аналогиями ни были чреваты подобные сравнения, психопатология по самой природе своего основного подхода устраняет возможность понимания дезорганизации пациента как неумения достичь специфически личностной формы единства. Это напоминает попытки получить лед, кипятя воду. Само существование психопатологии увековечивает тот самый дуализм, которого хотят избежать большинство психопатологов и который очевидно ложен. Однако этого дуализма нельзя избежать внутри структуры психопатологии, разве что впадая в монизм, сводящий один термин к другому и являющийся просто еще одним оборотом ложной спирали.

Можно утверждать, что человек не может быть подлинным ученым, не сохраняя своей «объективности». Подлинная наука, занимающаяся экзистенцией личности, должна пытаться быть как можно более беспристрастной. Физика и другие науки о вещах должны предоставить науке о личностях право быть беспристрастной в том смысле, который верен для ее собственного поля исследований. Если считается, что быть беспристрастным — значит быть «объективным» в смысле деперсонализации личности, являющейся объектом нашего изучения, любое искушение сделать это под впечатлением, что тем самым человек становится ученым, должно быть решительно отброшено. Деперсонализация в теории, намеревающейся стать теорией, описывающей личности, так же ложна, как и шизоидная деперсонализация других, а это в конечном счете интенциональ-ный акт. Хотя и проводимое во имя науки, подобное овеществление дает ложное «знание». Это просто такое же жалкое заблуждение, как и ложная персонализация ветер.

К несчастью, словами «персональный» и «субъективный» настолько злоупотребляют, что нет возможности выразить любой подлинный акт рассмотрения другого в качестве личности (если мы имеем это в виду, нам приходится поворачивать назад к «объективному»), не подразумевая, что человек включает свои собственные чувства и установки в свое изучение другого таким образом, чтобы исказить наше восприятие. В противоположность достойным уважения «объективному», или «научному», у нас есть недостойные «субъективное», «интуитивное» и, самое худшее из всего, «мистическое». К примеру, интересно, что человек зачастую сталкивается с «чисто» субъективным, в то время как почти непостижимо говорить, что кто-то «чисто» объективен.

Самым великим психопатологом стал Фрейд. Фрейд был героем. Он сошел в «Преисподнюю» и встретился там с абсолютным ужасом. Он принес с собой свою теорию, как голову Медузы, превратившую эти ужасы в камень. Мы, следующие за Фрейдом, обладаем знанием, с которым он возвратился и передал нам. Он выжил. Мы должны увидеть, сможем ли мы. выжить, не пользуясь теорией, которая в некоторой степени является оборонительным оружием.

Отношение к пациенту как к личности или как к вещи

В экзистенциальной феноменологии рассматриваемая экзистенция может принадлежать самому человеку или другому. Когда другим является пациент, экзистенциальная феноменология превращается в попытку реконструирования бытия пациента в его мире, хотя в терапевтическом отношении фокус может быть сосредоточен на бытии пациента со мной.

Пациенты приходя к психиатру с жалобами, которые могут находиться где угодно в диапазоне между явно локализованным затруднением («У меня отвращение к прыжкам с парашютом») и наиболее расплывчатым затруднением («В действительности, я не могу сказать, почему пришел. Полагаю, просто со мной что-то не так»). Однако неважно, насколько может быть отчетлива или размыта изначальная жалоба: известно, что пациент вводит в ситуацию лечения — будь то намеренно или ненамеренно — свою экзистенцию, все свое бытие-в-его-мире. Известно также, что любая сторона его бытия связана каким-то

образом со всеми другими сторонами, хотя способ соединения этих аспектов может быть далеко не ясен. Задача экзистенциальной фе-номенологии состоит в прояснении того, чем является «мир» другого, и способа его бытия в нем. С самого начала мое собственное представление о диапазоне и размерах бытия человека может не совпасть с его представлением, да и, коли на то пошло, с представлениями других психиатров. Например, я считаю любого отдельно взятого человека конечным — таким, у которого было начало и будет конец. Он родился, и он умрет. Между тем у него есть тело, привязывающее его к данному времени и данному месту. Я полагаю, что эти утверждения приложимы к любому отдельному человеку. Я не собираюсь перепроверять их всякий раз, когда встречаюсь с еще одной личностью. На самом же деле их нельзя доказать или опровергнуть. У меня был один пациент, представление которого о горизонтах его собственного бытия распространялось за пределы рождения и смерти: «в сущности», а не просто «в воображении» он заявлял, что фактически не привязан к одному времени и одному месту. Я не рассматривал его как психически ненормального, но я и не мот бы доказать, что он не прав, даже если бы захотел. Тем не менее практически крайне важно то обстоятельство, чтобы человек был способен увидеть, что понятие и (или) переживание, имеющиеся у другого в отношении своего бытия, могут быть весьма отличными от его собственного понятия или переживания. В таких случаях необходимо стать способным сориентировать себя как личность на чужую схему всего сущего, а не только рассматривать другого как объект в своем собственном мире, например внутри всеохватывающей системы своих собственных координат. Необходимо быть способным произвести данную переориентировку без предубеждения относительно того, кто прав, а кто не прав. Способность поступить таким образом является абсолютной и очевидной предпосылкой работы с душевнобольными.

Существует еще один аспект бытия человека, являющийся ключевым в психотерапии по сравнению с другими способами лечения. Он заключается в том, что любой человек в одно и то же время отделен от своих собратьев и связан с ними. Подобные отделенность и связанность являются взаимно необходимыми постулатами. Личностная связь может существовать лишь между бытиями, которые разделены, но не изолированы. Мы не изолированы, но мы и не являемся частями одного и того же физического тела. Мы имеем здесь парадокс — потенциально трагический парадокс, — состоящий в том, что наша связанность с другими есть существенный аспект нашего бытия, точно так же как и наша отделенность, но любой индивидуум не представляет собой необходимую часть нашего бытия.

Психотерапия является деятельностью, в которой эта сторона бытия пациента — его связь с другими — используется в терапевтических целях. Психиатр действует, основываясь на том принципе, что, поскольку потенциально связь присуща каждому человеку, он, возможно, не теряет времени зря, часами сидя вместе с молчащим кататоником, дающим все основания считать, что не осознает его существования.

2. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПСИХОЗА

У современного психиатрического жаргона есть одна дополнительная характеристика. Он описывает психоз как отсутствие социальной или биологической приспособляемости, недостаток адаптируемости особо радикального свойства, потерю контакта с реальностью или нехватку проницательности. Как сказал ван ден Берг, такой жаргон является настоящей «клеветнической терминологией». Клевета — безнравственна, по крайней мере в понятиях девятнадцатого века. По существу, этот язык во многом является результатом попыпок избежать размышлений с точки зрения свободы выбора и ответственности. Но он подразумевает определенный стандартный образ человеческого бытия, которому не соответствует психически больной. В сущности, я не возражаю против всего, что подразумевает эта «клеветническая терминология». На самом деле я чувствую, что мы

должны быть более откровенны в отношении суждений, которые без колебаний произносим, когда называем кого-то психически больным. Когда я выдаю кому-то удостоверение о психическом расстройстве, я выражаюсь не двусмысленно, записывая в документе то, что человек — душевнобольной, может представлять опасность для самого себя и других, требует ухода и лечения в психиатрической больнице. Однако в то же самое время, по моему мнению, существуют другие люди, которые считаются здоровыми, но на самом деле являются душевнобольными, которые могут представлять такую же или еще большую опасность для самих себя и других, но которых общество не считает психически ненормальными и не помещает в дурдом. Мне известно, что человек, о котором сказали, что он заблуждается, возможно, при своем заблуждении говорит мне правду, и не двусмысленно или метафорически, но в буквальном смысле слова, и что расщепленный разум шизофреника может впустить свет, который не входит в неповрежденные, но закрытые умы многих здоровых людей. По мнению Ясперса, шизофреником был Иезекииль.

Я должен признаться здесь в одном затруднении, с которым сталкиваюсь, будучи психиатром: оно является фоном для большей части этой книги. Проблема заключается в том, что, кроме случаев хронических шизофреников, я с трудом обнаруживаю «признаки и симптомы» психоза в личностях, с которыми беседую. Обычно я считал это своим недостатком: я, видимо, не настолько умен, чтобы понять галлюцинации, мании и т. п. Если я сравнивал свой опыт общения с душевнобольными и описания психоза в стандартных учебниках, то находил, что авторы не дают картины того, как эти люди вели себя со мной. Может быть, они правы, а я — нет. Потом я подумал, что, возможно, не правы они. Но это мнение так же несостоятельно. Нижеследующее, по-видимому, является изложением фактов.

Стандартные учебники содержат описание поведения людей в поведенческом поле, включающем в себя психиатра. Поведение пациента в некоторой степени является функцией поведения психиатра в том же самом поведенческом поле. Стандартный психически ненормальный пациент есть функция стандартного психиатра и стандартной психбольницы. Символическим основанием, которое, так сказать, подчеркивает описания Блойлером шизофреников, является его замечание, что, когда все сказано и сделано, те становились для него более чуждыми, чем птицы в его саду.

Мы знаем, что Блойлер подходил к своим пациентам так, как подошел бы к клиническому случаю клиницист-непсихиатр, — с уважением, любезностью, вниманием и научным любопытством. Однако пациент болен в медицинском смысле слова, и вопрос заключается в диагностировании его состояния посредством наблюдения за признаками его болезни. Подобный подход рассматривается как самоочевидно оправданный таким множеством психиатров, что они с трудом могут понять, на что я намекаю. Конечно же, сегодня существует множество других школ, но в нашей стране эта школа по-прежнему самая распространенная. Определенно этот подход считается само собой разумеющимся неспециалистами. Я все время говорю здесь о психически больных пациентах (то естъ, как скажет немедленно самим себе большинство людей, н е о тебе и обо мне). Психиатры по-прежнему на практике придерживаются такого подхода, хотя и признают на словах несовместимые с ним взгляды, мировоззрения и методы. Но в нем существует так много хорошего и ценного, к тому же так много надежного, что у кого угодно имеется право проверить как можно пристрастнее любое утверждение, что некая клиническая профессиональная установка подобного рода не отвечает всем требованиям или даже может быть заменена при определенных обстоятельствах. Трудность состоит не просто в обращении внимания на доказательство чувств пациента, какими они раскрываются в его поведении. Хороший клиницист сделает скидку на то, что, если его пациент встревожен, кровяное давление может быть выше обычного, пульс может быть учащенным и т. п. Затруднение состоит в том, что, когда проверяется «сердце» или даже весь человек в качестве организма, не интересуются природой собственных личных чувств в отношении него: все что угодно может оказаться неуместным и не приниматься в расчет. Утверждаются более или менее стандартные профессиональные мировоззрение и методы.

То, что классическая клиническая психиатрическая установка в принципе не изменилась со времен Крепелина, можно увидеть, сравнив нижеследующую цитату со сходной установкой любого современного британского учебника по психиатрии (например, Мейера, Слейтера и Рота).

Вот описание Крепелином [25] своим студентам пациента с признаками кататонического возбуждения:

«Пациента, которого я покажу вам сегодня, приходится почти что вносить в помещение, так как он ходит, широко расставив ноги, на внешней стороне ступни. Войдя, он сбрасывает шлепанцы, очень громко поет какой-то гимн, а потом дважды выкрикивает (по-английски): „Мой отец, мой настоящий отец!“ Ему восемнадцать лет, и он учащийся реальною училища; высокий, достаточно крепкого телосложения, но с бледным лицом, на котором очень часто ненадолго появляется румянец. Пациент сидит с закрытыми глазами и не обращает внимания на окружающее. Он не поднимает головы даже тогда, когда с ним говорят, но он отвечает очень тихим голосом, постепенно начиная кричать все громче и громче. Когда его спросили, где он находится, он ответил: „Вы это тоже хотите узнать? Я расскажу вам, кто измеряется, измерен и будет измеряться. Я все это знаю и мог бы рассказать, но не хочу“. Когда его спросили, как его зовут, он закричал: „Как тебя зовут? Что он закрывает? Он закрывает глаза. Что он слышит? Он не понимает, он ничего не понимает. Как? Кто? Где? Когда? Что он имеет в виду? Когда я велю ему смотреть, он смотрит не надлежащим образом. Просто посмотри! Что это такое? В чем дело? Обрати внимание. Он не обращает внимания. Я говорю, тогда что это такое? Почему ты мне не отвечаешь? Ты опять дерзишь? Как ты можешь быть столь дерзок? Я тебе покажу! Не распутничай ради меня. И ты не должен острить. Ты — дерзкий, паршивый парень, такой дерзкий и паршивый парень, какого я ни разу не встречал. Он опять начинает? Ты вообще ничего не понимаешь, вообще ничего. Вообще ничего он не понимает. Если ты сейчас будешь следить, он следить не станет, не станет. Ты все еще дерзишь? Ты дерзишь все еще? Как они обращают внимание, они обращают внимание“ и т. д. Под конец он стал издавать совершенно нечленораздельные звуки».

Крепелин отмечает среди прочего «недоступность» пациента:

«Хотя он, без сомнения, понимал все вопросы, он не дал нам никакой полезной информации. Его речь представляла собой… лишь последовательность бессвязных фраз, не имеющих отношения к общей ситуации» (разрядка моя.-Р. Д. Л.).

Теперь уже не возникает никакого сомнения, что этот пациент демонстрирует «признаки» кататонического возбуждения. Однако истолкование, которое мы приложим к данному поведению, зависит от отношений, которые мы установим с пациентом, и мы многим обязаны подробному описанию Крепелина, позволяющему пациенту предстать перед нами, как живому, через пятьдесят лет, прошедших с того времени. Что делает этот пациент? Наверняка он ведет диалог между собственной пародированной версией Крепелина и своим собственным, открыто неповинующимся, бунтующим «я»: «Вы это тоже хотите узнать? Я расскажу вам, кто измеряется, измерен и будет измеряться. Я все это знаю и мог бы рассказать, но не хочу». По-видимому, это достаточно ясная речь. Предположительно он глубоко возмущен такой формой допроса, проводимой перед студенческой аудиторией. Вероятно, он не видит, что это имеет общего с тем, что его глубоко мучает. Но это не стало бы «полезной информацией» для Крепелина, разве что дополнительными «признаками „болезни“».

Крепелин спрашивает у него, как его зовут. Пациент реагирует на это с преувеличенной вспыльчивостью и говорит, какова, по его ощущениям, явная установка при подходе к нему Крепелина: «Как тебя зовут? Что он закрывает? Он закрывает глаза… Почему ты мне не отвечаешь? Ты опять дерзишь? Не распутничай ради меня» (то есть он чувствует, что Крепелин возражает потому, что не готов проституировать перед целой аудиторией студентов) …такой дерзкий, бесстыдный, жалкий, паршивый парень, какого я ни разу не встречал… и т. д.

Теперь кажется очевидным, что поведение данного пациента можно рассмотреть по крайней мере двумя способами, аналогичными способам рассмотрения вазы или лица. Можно смотреть на его поведение как на «признаки „болезни“», а можно смотреть на его поведение как на выражение его экзистенции. Экзистенциально-феноменологическое истолкование есть заключение о том, как другой чувствует и действует. Каково переживание юношей Крепелина? По-видимому, он находится в отчаянии и муках. На что он «намекает», говоря и действуя таким образом? Он возражает против того, чтобы его измеряли и проверяли. Ему хочется быть услышанным.

Истолкование как функция взаимоотношений с пациентом

Клинический психиатр, желающий быть более «научным», или «объективным», может предложить ограничиться «объективно» наблюдаемым поведением пациента, находящегося перед ним. Простейший ответ на такую посылку: это ново {можно. Видеть «признаки „болезни“» не значит видеть нейтрально. Видеть нейтрально улыбку не значит видеть лишь сокращение лицевых мышц (Мерло-Понти) [35]. Мы не можем не видеть человека так или иначе и не накладывать наши истолкования и интерпретации на «его» поведение, как только завязываются наши с ним взаимоотношения. Дело обстоит гак даже при негативном примере, где нас останавливает или ставит в тупик отсутствие взаимности со стороны пациента, когда мы ощущаем, что и е т н и к о г о, отвечающего нашему подходу. Это очень близко к сердцевине нашей проблемы.

Трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся, в чем-то аналогичны трудностям, с которыми сталкивается толкователь иероглифов, — аналогия, которую любил приводить Фрейд. Но только наши трудности крупнее. Теория истолкования, или расшифровки, иероглифов и других древних текстов была продвинута вперед в прошлом веке Дильтеем намного больше, чем теория истолкования психотических, «иероглифических» речи и поступков. Возможно, прояснить наше положение поможет сравнение нашей проблемы с ситуацией историка, изложенной Дильтеем. В обоих случаях всего существеннее задача истолкования.

Древние документы могут быть подвергнуты формальному анализу с точки зрения структуры и стиля, лингвистических особенностей, характерных идиосинкразии синтаксиса и т. д. Клиническая психиатрия предпринимает попытку аналогичного формального анализа речи и поведения пациента. Очевидно, что подобный формализм — исторический или клинический — весьма ограничен по своему диапазону. Кроме такого формального анализа, можно пролить свет на текст благодаря знаниям о связи социально-исторических условий, в которых он появился. Сходным образом мы обычно хотим расширить, насколько возможно, наш формальный, статичный анализ изолированных клинических «признаков» до понимания их места в истории жизни личности. Это включает в себя введение динамико-генетических гипотез. Однако историческая информация, per se, о древних текстах или пациентах поможет нам понять их лучше, если мы сможем привнести то, что зачастую называется сочувствием или, более сильно, вчувствованием.

Поэтому, когда Дильтей характеризует взаимоотношения между автором и толкователем как фактор, обуславливающий возможность постижения текста, он, в сущности, раскрывает предположение о любой интерпретации, основанием которой является постижение.

«Мы объясняем, — пишет Дильтей, — посредством чисто интеллектуальных процессов, но понимаем посредством сотрудничества всех сил разума в постижении. При понимании мы начинаем со связи данною, живого целого для того, чтобы сделать прошлое постижимым на его языке».

Наш взгляд на другого зависит от нашего желания заручиться поддержкой всех сил каждого аспекта самих себя в акте постижения. К тому же кажется, что нам необходимо сориентировать себя на данную личность так, чтобы оставить открытой для нас возможность ее понимания. Искусство понимания тех сторон индивидуального бытия, которые мы можем наблюдать как выражение его образа бытия-в-мире, требует от нас связывать его поступки с

его способом переживания ситуации, в которой он находится вместе с нами. Сходным образом именно с точки зрения его настоящего нам приходится понимать его прошлое и не исключено, что двигаться и в обратном направлении. Опять-таки это справедливо даже при негативных примерах, когда пациент демонстрирует своим поведением, что он отрицает существование любой ситуации, и которой может оказаться вместе с нами, — например, когда мы чувствуем, что нас трактуют так, словно мы не существуем или существуем лишь с точки зрения собственных желании или тревог пациента. Здесь не стоит вопроса жесткою приложения предопределенных смыслов к данному поведению. Если мы смотрим на его поступки как на «признаки „болезни“», мы уже накладываем свои категории мышления на пациента, аналогично тому, как мы можем считать его трактующим нас. И мы сделаем то же самое, если вообразим, что можем «объяснить» его настоящее как механический результат непреложного «прошлого».

Если применить подобную установку по отношению к пациенту, едва ли возможно в то же самое время понять, что он пытается нам сообщить. Если я сижу напротив вас и что-то вам говорю, вам можете попытаться а) оценить любые ненормальности в моей речи, или б) объяснить, что я говорю с точки зрения того, как, по вашему мнению, клетки моего головного мозга потребляют кислород, или в) обнаружить, почему с точки зрения истории и социально-экономического прошлого я в данное время говорю именно это. Ни один из ответов, которые вы можете дать или не дать на эти вопросы, не обеспечит вам сам по себе простого понимания того, на что я намекаю.

Вполне возможно получить доскональное знание о том, что обнаружено в отношении наследственности или семейного диапазона маникально-депрессивного психоза или шизофрении, получить способность распознавать шизоидное «искажение эго» и шизофренические дефекты эго, к тому же разнообразные «беспорядки» в мышлении, памяти, восприятии и т. п., в сущности, узнать практически все, что может быть известно, о психопатологии шизофрении или шизофрении как болезни, не будучи способным понять одного-единственного шизофреника. Подобные данные всячески способствуют его не-пониманию. Смотреть на пациента, слушать его и видеть «признаки» шизофрении (как «болезни») и смотреть и слушать его просто как человеческое существо — значит видеть и слышать в корне отличающимся образом — примерно так же, как человек на двусмысленном рисунке видит сначала вазу, а потом лица.

Конечно же, как и говорит Дильтей, толкователь текста имеет право предполагать, что, несмотря на временной интервал и расхождения в мировоззрении между ним и древним автором, он находится в контексте, не полностью отличном от живого переживания изначального писателя. Он существует в мире, как другой, наподобие объекта во времени и пространстве, вместе с другими, напоминающими его самого. Именно это предположение нельзя делать в случае с психически больными. В этом отношении, возможно, существует намного большая трудность в понимании психически больного, в чьем присутствии, здесь и сейчас, находимся мы, чем в понимании автора иероглифов, умершего тысячи лет тому назад. Однако это различие не существенно. В конце концов, как сказал Гарри Стэк Салливан, психически больной намного больше, чем кто-либо другой, «просто человек». Личности врача и больного, не менее чем личности толкователя и автора, не противопоставляются одна другой как два внешних факта, которые не встречаются и не сравниваются. Точно так же как и толкователь, психиатр должен обладать гибкостью, чтобы перенести самого себя в некий странный и даже чуждый мир. При совершении этого акта он призывает все свои психические возможности, не отказываясь от здравого ума. Только таким образом он может достичь понимания экзистенциального положения пациента.

Полагаю, ясно, что под «пониманием» я подразумеваю не чисто интеллектуальный процесс. Можно заменить слово «понимание» словом «любовь». Но ни одно другое слово не было так проституировано. Необходима же, хотя и недостаточна, способность узнать, как пациент переживает самого себя и этот мир, включая себя. Если человек не может его понять, едва ли он стоит на позиции, позволяющей начать его действенно «любить». Нам

заповедано любить своего ближнего. Однако нельзя любить конкретного ближнего, не зная, кто он такой. Можно любить лишь абстрактного человека. Нельзя любить конгломерат «признаков шизофрении». Ни у кого нет шизофрении, как нет и простуды. Пациент не «заражается» шизофренией. Он — шизофреник. Шизофреника нужно познать так, чтобы его не погубить. Ему придется обнаружить, что это возможно. Поэтому ненависть психиатра, так же как и его любовь, в высшей степени уместны. Что представляет собой для нас шизофреник, весьма значительно определяет то, чем мы являемся для него и, следовательно, его поступки. Множество «признаков» шизофрении, описываемых в учебниках, разнятся в зависимости от больницы и, по-видимому, являются функцией ухода за больными. Некоторые психиатры наблюдали определенные «признаки» шизофрении намного реже других*.

Поэтому я думаю, что нижеследующее утверждение Фриды Фромм- Райхманн в самом деле справедливо, каким бы оно ни было смущающим:

«…сейчас психиатры могут принимать как само собой разумеющееся, что в принципе можно установить с пациентом-шизофреником пригодные для работы отношения „врач-пациент“. Если же и это кажется невозможным, все сводится к личным трудностям врача, а не к психопатологии пациента» [1б].

Конечно же, как и в случае с юношей-кататоником Крепелина, индивидуум реагирует на самого себя и ощущает самого себя лишь отчасти с точки зрения личности, какая она есть, а отчасти с точки зрения фантазий о ней. Врач пытается заставить пациента увидеть, что его образ действий по отношению к самому себе предполагает те или иные фантазии, которые, вероятнее всего, он не полностью понимает (из тех, которые он не осознает), но которые, тем не менее, являются необходимым постулатом, если нужно осмыслить такой образ поведения.

Когда вместе находятся две здоровые личности, одна ожидает, что А распознает Б более или менее так, как Б воспринимает самое себя, и наоборот. То есть, что касается лично меня, я ожидаю, что мое собственное определение меня в основном должно подтверждаться другой личностью, в предположении, что я не выдаю себя намеренно за кого-то другого, не лицемерю, не лгу и тому подобное*. Однако в контексте взаимного душевного здоровья существует широкое поле для конфликтов, ошибок, недоразумений — то есть разобщенности того или иного рода между личностью в своих собственных глазах (бытии-для-себя) и личностью в глазах другого (бытии-для-другого), и наоборот, между тем, чем она является для меня, и тем, чем она является для нее самой; и наконец, между тем, что человек воображает как собственный портрет, его установками и интенциями по отношению к самому себе, и действительным портретом, установками и интенциями по отношению к самому себе, и наоборот.

*Сеичас существует обширная литература, поддерживающая это мнение. См., например, статьи «В психбольнице» («Ланцет», 1955,6).

Можно сказать, что, когда встречаются две здоровые личности, появляется взаимное признание друг у друга индивидуальности. В данном взаимном признании существуют следующие основные элементы:

а) я распознаю другого как личность, воспринимающую себя как существующую;

б) он распознает меня как личность, воспринимающую себя как существующую.

Каждый человек обладает собственным автономным ощущением индивидуальности и собственным определением того, кто он такой. От вас ожидается, что вы способны распознать меня. То есть я привык ожидать, что личность, за которую вы меня принимаете, и индивидуальность, которой, по моему мнению, я обладаю, в основном совпадают. Давайте скажем просто «в основном», поскольку, очевидно, существует пространство для значительных расхождений.

Однако, если существуют расхождения достаточно радикального плана, остающиеся после неудачных попыток от них избавиться, нет другой альтернативы, кроме той, что один из нас должен быть душевнобольным. У меня не возникнет трудностей посчитать другую личность психически ненормальной, если, например:

человек говорит, что он — Наполеон, 101 да как я говорю, что он им не является;

или если он говорит, что я — Наполеон, тогда как я говорю, что им не являюсь;

или если он думает, что я хочу его соблазнить, тогда как я думаю, что в действительности не давал ему оснований предполагать, что таково мое намерение;

или если он думает, что я боюсь, что он меня убьет, тогда как я этого не боюсь и не давал ему никакого повода гак думать.

Поэтому я полагаю, что нормальность или психоз проверяются степенью схожести или несхожести двух личностей, одна из которых но общему согласию является нормальной.

Критическая проверка того, является или нет пациент психически больным, представляет собой отсутствие соответствия, несоответствие, столкновение между ним и мной.

«Психически больной» — это имя, которое мы даем другой личности при разобщенных взаимоотношениях определенного рода. Только из-за этого межличностного разобщения мы начинаем брать на анализ его мочу и искать аномалий в графиках электрической активности его мозга.

В данный момент стоит проникнуть немного глубже в природу разграничения, или разобщения, между здоровым человеком и психически больным.

*Есть история про пациента, которого подвергли испытанию на детекторе лжи. Когда его спросили, не Наполеон ли он, тот ответил отрицательно. Детектор лжи зарегистрировал, что он солгал.

Если, к примеру, человек говорит, что он «нереален», и если он не врет, не шутит и как-то тонко не затемняет смысл сказанного, нет сомнения, что он будет рассматриваться как заблуждающийся. Но — экзистенциально — что означает данное заблуждение? На самом деле он не шутит и не притворяется. Наоборот, он продолжает говорить, что в течение многих лет притворялся, что он реален, но больше не может поддерживать этот обман.

Всю свою жизнь он разрывался между желанием раскрыть себя и желанием себя скрыть. Мы все разделяем с ним данную проблему, и все мы пришли к ее более или менее удовлетворительному разрешению. У нас есть свои тайны и свои потребности, в которых надо признаться. Мы можем вспомнить, как в детстве взрослые сперва были способны видеть нас насквозь и какое это было достижение, когда мы, в страхе и трепете, смогли им впервые солгать и сделать, для самих себя, открытие, что в определенных отношениях мы безнадежно одиноки, и узнать, что на нашей собственной территории могут быть отпечатки лишь наших ног. Однако существуют некоторые люди, которые ни разу полностью не осознавали себя в таком положении. Эта подлинная уединенность есть основа подлинных взаимоотношений. Но личность, которую мы называем «шизоидной», ощущает себя как более незащищенной, более уязвимой со стороны других, чем мы, так и более изолированной. Таким образом, шизофреник может сказать, что он сделан из стекла, из такого прозрачного и хрупкого вещества, что один взгляд, направленный на него, разбивает его на мелкие кусочки и проникает сквозь него. Мы можем предположить, что именно так он переживает самого себя.

Мы догадываемся, что это произошло на почве той исключительной уязвимости, знатоком которой стал нереальный человек при самосокрытии. Он научился плакать, когда его развлекали, и улыбаться, когда ему было грустно. Он печалился при своих успехах и рукоплескал своим неудачам. «Все, что вы видите, не есть я», — говорит он самому себе. Но только в этом и посредством этого мы увидим, может ли он в действительности быть кем-то. Если эти поступки не являются его настоящим «я», он нереален;

полностью символичен и двусмысленен; чисто фиктивная, потенциальная, воображаемая личность, «мифический» человек; ничего «реального». Если же затем он когда-нибудь прекратит притворяться тем, кем он не является, и выступит как личность, которой он собирался стать, он возникнет как Христос или как призрак, но не как человек: существуя без тела, он является не-телом.

«Истина» о его «экзистенциальном положении» пережита. То, что является

«экзистенциально» истинным, прожито как «действительно» истинное.

Несомненно, что большинство людей воспринимают как «действительно» истинное только то, что имеет отношение к азам науки и природному миру. Человек говорит, что он мертв, но в действительности он жив. Однако его «истина» состоит в том, что он мертв. Вероятно, он выражает это единственным способом, который позволяет ему здравый (то есть здоровый) смысл. Он имеет в виду, что он «действительно» и совершенно «буквально» мертв, а не просто символически, или «в некотором смысле», или «так сказать», и он вполне серьезно склонен сообщить свою истину. Однако плата за переоценивание этой здоровой истины в такой манере — «стать» сумасшедшим, поскольку лишь биологическую смерть м ы осознаем как р е а л ь н у ю смерть.

Шизофреник находится в отчаянии, почти без всякой надежды. Я не знал ни одного шизофреника, который мог бы сказать, что он любим — как человек — Богом Отцом, Богоматерью или другим человеком. Он есть либо Бог, либо дьявол, либо находится в аду, отчужденный от Бога. Когда кто-то говорит, что он нереален или что он мертв, вполне серьезно выражая в радикальных терминах абсолютную истину своей экзистенции так, как он ее переживает, это — безумие.

Что требуется от нас? Понять его? Ядро переживания шизофреником самого себя должно остаться для нас непостижимым. Пока мы здоровы, а он болен, дело будет обстоять именно так. Шизофреник не хочет и не требует постижения как попытки достичь и понять его, если мы остаемся внутри нашего собственного мира и судим его в соответствии с нашими собственными категориями, которые неизбежно не попаду! в цель. Нам все время приходится осознавать его отличие и различие, его отделенность, одиночество и отчаяние*.

* Шизофрению нельзя понять без понимания отчаяния. Особо см. Киркегор. «Болезнь к смерти»; Биксвангер. «Случай Эллен Вест»; Лесли Фарбср. «Терапевтическое отчаяние».

3. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ

Теперь мы можем более точно определить суть нашего клинического исследования. Человек может обладать чувством своего присутствия в мире в качестве реальной, живой, цельной и, во временном смысле, непрерывной личности. Как таковой, он может жить в мире и встречаться с другими: мир и другие переживаются как в равной мере реальные, живые, цельные и непрерывные.

Подобная, в своей основе онтологически*2 уверенная, личность будет встречать все жизненные опасности — социальные, этические, духовные и биологические — с твердым ощущением реальности и индивидуальности самое себя и других людей. Зачастую для такой личности с подобным чувством своей неотъемлемой самости и личностной тождественности, неизменности вещей, надежности природных процессов, субстанциональности природных процессов, субстанциональности других очень трудно перенестись в мир индивидуума, чьим переживаниям чрезвычайно недостает неоспоримой самообосновывающей определенности.

Данное исследование касается случаев, где имеет место частичное или почти полное отсутствие убежденности, проистекающей из экзистенциального положения того, что я назову первичной онтологической уверенностью, — тревог и опасностей, которые, как я буду предполагать, возникают только с точки зрения первичной онтологической неуверенности: и последующих попыток разобраться с подобными тревогами и опасностями.

* Несмотря на философское использование слова «онтология» (особенно Хайдеггером, Сартром и Тиллихом), я употребил этот термин в современном эмпирическом смысле, поскольку он является наилучшим производным словом от слова «бытие» для прилагательных и наречий.

Литературный критик Лайонел Триллинг [47] указывает на весьма существенное отличие, которое бы мне хотелось отметить самому, между основополагающим экзистенциальным положением онтологической уверенности и положением онтологической неуверенности, сравнивая, с одной стороны, миры Шекспира и Китса, а с другой — Кафки:

«…для Китса осознание зла существует бок о бок с весьма сильным ощущением личной индивидуальности, и по этой причине оно проявляется менее отчетливо. Некоторым современным читателям, по этой же причине, оно покажется менее сильным. Точно так же современному читателю может показаться, что при сравнении Шекспира и Кафки — оставляя в стороне степень их гениальности и рассматривая обоих лишь как толкователей человеческих страданий и космической отчужденности — толкование Кафки более сильное и полное. И на самом деле, суждение может оказаться верным именно потому, что для Кафки ощущение зла не противоречит ощущению личной индивидуальности. Мир Шекспира, точно так же как и Кафки, есть та тюремная камера, которой назвал Паскаль этот мир, из которой заключенных ежедневно уводят на смерть. Шекспир не меньше, чем Кафка, навязывает нам жестокую иррациональность условий человеческой жизни, рассказанную идиотом историю, дурачащихся богов, которые мучают нас не ради наказания, а ради забавы. И не меньше, чем Кафку, Шекспира возмущает зловоние темницы сего мира;

ничто так не характерно для него, как омерзительные образы. Но в тюремной камере Шекспира общество гораздо лучше, чем у Кафки; военачальники и короли, возлюбленные и шуты у Шекспира до самой своей смерти живы и завершенны. У Кафки же задолго до приведения в исполнение приговора, задолго до начала зловещего судебного

процесса с осужденным происходит нечто ужасное. Все мы знаем, что это такое, — он лишается всего, присущего че- ловеку, за исключением своей абстрактной человеческой природы, которая, как и его скелет, никогда полностью не присуща человеку. У него нет родителей, дома, жены, ребенка, призвания и желаний; у него нет никакой связи с силой, красотой, любовью, остроумием, смелостью, верностью или славой — сюда можно причислить и гордость. Поэтому мы можем сказать, что знание Кафки о зле существует без противоречащего знания о здоровом и самообосновывающем „я“ и что знание Шекспира о зле существует с этим противоречием во всей его полной силе».

Мы находим, как указывает Триллинг, что Шекспир описывает персонажей, которые, очевидно, переживают самих себя реальными, живыми и завершенными, как бы их ни запутывали сомнения и ни разрывали конфликты. В случае Кафки дело обстоит по-иному. На самом деле, попытка сообщить, на что похоже живое существо при отсутствии подобной убежденности, по-видимому, характеризует творчество огромного количества писателей и художников нашего времени. Жизнь без ощущения жизни.

Например, вместе с Сэмюэлем Беккетом человек входит в мир, в котором не существует противоречащего ощущения «здорового и самообосновывающего „я“», чтобы смягчить — отчаяние, ужас и скуку существования. Именно таким образом обречены жить двое бродяг, ожидающих Годо:

ЭСТРАГОН: Всегда что-нибудь да находится, правда, Диди, чтоб создалось впечатление, будто мы существуем?

ВЛАДИМИР (нетерпеливо): Да-да, мы с тобой чародеи. Но не надо позволять себе отвлекаться от того, что мы решили, а то мы забудем.

К сходным вопросам обращался Фрэнсис Бэкон. Вообще говоря, очевидно, что обсуждаемое здесь нами с клинической точки зрения является лишь небольшим примером чего-то, Во что глубоко вовлечена человеческая природа и во что мы можем привнести лишь частичное понимание.

Начнем сначала…

Биологическое рождение есть определенный акт, посредством которого организм младенца ввергается в этот Мир. Вот он — новорожденный, новая биологическая сущность, со своими собственными путями, реальная и живая, с нашей точки зрения. А как с точки зрения ребенка? При обычных условиях физическое рождение нового живого организма в этом мире быстро запускает жизненные процессы, благодаря которым в течение удивительно короткого времени младенец начинает ощущать себя реальным и живым и приобретает чувство целостности своего бытия, непрерывности времени и местоположения в пространстве. Иными словами, за физическим рождением и биологическим приобретением

жизни следует экзистенциальное рождение ребенка как реального и живого. Обычно такое развитие само собой разумеется, оно — фундамент той уверенности, от которой зависит любая другая уверенность. Нужно сказать, что не только взрослые видят детей реальными, биологически жизнеспособными сущностями, но и они сами переживают самих себя цельными, реальными и живыми личностями и сходным образом переживают других людей как реальных и живых. Это самообосновывающие данные опыта.

Значит, индивидуум может переживать свое собственное бытие как реальное, живое и цельное; как отличающееся при обычных условиях от остального мира настолько явно, что его индивидуальность и автономия никогда не ставятся под сомнение; как континуум во времени; как обладающее внутренней согласованностью, субстанциональностью, подлинностью и ценностью; как совпадающее пространственно с телом; и, обычно, как начавшееся в момент рождения или около того и подверженное уничтожению вместе со смертью. Таким образом, у человека есть твердая сердцевина онтологической уверенности.

Однако суть может быть не в этом. Индивидуум при обычных условиях жизни может ощущать себя скорее нереальным, чем реальным; в буквальном смысле слова скорее мертвым, чем живым; рискованно отличающимся от остального мира, так что его индивидуальность и автономия всегда находятся под вопросом. Ему может не хватать переживания собственной временной непрерывности. Он может не обладать ощущением личностной согласованности и связности. Он может чувствовать себя скорее несубстан-циоиальным, чем субстанциональным, и неспособным допустить, что вещество, из которого от сделан, подлинное, добротное и ценное. И он может ощущать свое «я» частично отлученным от его тела.

Конечно же, неизбежно, что индивидуум с подобным переживанием самого себя не может больше жить в «надежном» мире и не может надеяться «на самого себя». Вся «физиогномия» его мира будет соответственно отличаться от картины мира индивидуума, чье ощущение «я» надежно укоренено в здоровье и самообоснованности. Связь с другими личностями будет рассматриваться как обладающая в корне иной значимостью и функцией. Забегая вперед, мы можем сказать, что индивидууму, чье собственное бытие надежно в этом первичном эмпирическом смысле, связь с другими потенциально доставляет удовольствие; тогда как онтологически неуверенная личность занята скорее сохранением самое себя, нежели доставлением себе удовольствия:

обычные условия жизни угрожают ее нижнему порогу безопасности*.

Если достигнуто положение первичной онтологической безопасности, обычные условия жизни не составляют постоянной угрозы собственной экзистенции человека. Если же такое жизненное основание не достигнуто, обычные условия повседневной жизни представляют собой неизменную смертельную угрозу.

Если только это осознано, можно понять, как способны развиваться определенные психозы.

Если индивидуум не может принять как само собой разумеющееся реальность, жизненность, автономию и индивидуальность самого себя и других, ему приходится измышлять собственные способы быть реальным, удерживая себя и других в живых, сохраняя свою индивидуальность, прилагая все усилия, как он часто будет это выражать, чтобы не дать себе потерять свое «я». То, что для большинства людей является обыденными происшествиями, которые едва ли замечаются по причине их незначительности, может стать глубоко значимым, поскольку оно либо поддерживает бытие индивидуума, либо угрожает ему небытием. Подобный индивидуум, для которого элементы мира приобретают или уже приобрели иную иерархию значимости, чем у обычной личности, начинает, как мы скажем, «жить в своем собственном мире» или уже живет там. Однако неверно сказать, без осторожных оговорок, что он теряет «контакт с» реальностью и уходит в себя. Внешние события уже не задевают его так же, как других: но это не означает, что они задевают его меньше; наоборот, зачастую они задевают его намного сильнее. Как правило, суть вовсе не в том, что он становится «безразличным» и «ушедшим в себя». Однако, может быть, мир его

переживания становится миром, который он уже не может делить с остальными людьми.

*Данная формулировка очень похожа, в частности, на формулировки Г. С. Салливана, Хилла, Ф. Фромм-Райхманн и Ариети. Федерн, хотя и выражается совсем по-иному, видимо, разделяет весьма близкую точку зрения.

Но до изучения такой эволюции будет весьма ценно охарактеризовать под тремя заголовками три формы тревоги, которые свйственны онтологически неуверенной личности;

поглощение, рызрывание и окаменение.

1) Поглощение

В ходе сеанса в одной психоаналитической группе произошел спор между двумя пациентами. Внезапно один из участников спора прервал его, заявив: «Я не могу продолжать. Вы спорите для того, чтобы получить наслаждение, одержав надо мной победу. В лучшем случае вы выиграете этот спор. В худшем — проиграете. Я же спорю для того, чтобы сохранить свое существование».

Данный пациент был молодым человеком, который, как я бы сказал, был здоров, но, как он заявил, его действия в этом споре, да и в остальной жизни, имели целью не получение удовольствия, но «сохранение его существования». Можно было бы сказать, что если он действительно вообразил, что поражение в споре угрожает его существованию, то он «в значительной мере потерял контакт с реальностью» и фактически является психически ненормальным. Но это означает просто посчитать спорный вопрос не требующим доказательств, не постаравшись понять пациента. Однако важно то, что, если вы бы подвергли данного пациента психиатрическому допросу, рекомендованному многими учебниками, через десять минут его поведение и речь открыли бы «признаки» психоза. Подобные «признаки» быстро проявляются у личности, предел основополагающей безопасности которой столь низок, что практически любые отношения с другими, какими бы незначительными или явно «безвредными» они ни были, угрожают ее погубить.

Твердое ощущение собственной автономной индивидуальности требуется для того, чтобы можно было относиться к людям как одно человеческое бытие к другому. Иначе же любые взаимоотношения угрожают человеку потерей индивидуальности. Одну форму подобных беспокойств можно назвать поглощением. При этом человек страшится отношений как таковых с кем угодно и с чем угодно, на самом деле даже с самим собой, поскольку его неуверенность в стабильности его автономии оставляет его незащищенным перед страхом потерять автономию и индивидуальность при любом взаимоотношении. Поглощение не так просто рассмотреть как нечто, происходящее совершенно невольно, несмотря на самые активные попытки индивидуума избежать этого. Индивидуум переживает самого себя как человека, который не утонет лишь благодаря постоянной, напряженной и отчаянной активности. Поглощение ощущается как риск быть понятым (то есть постигнутым, настигнутым, схваченным), быть любимым или даже просто быть увиденным. Ненависть к себе может страшить по другим причинам, но ненависть, как таковая, зачастую волнует меньше, чем уничтожение посредством поглощения любовью.

Основным маневром, используемым для сохранения индивидуальности под давлением страха поглощения, является изолирование. Таким образом, вместо полюсов отделенности и связанности, основанных на индивидуальной автономии, существует антитеза между полной потерей бытия посредством захвата другой личностью (поглощением) и полным одиночеством (изоляцией). Не существует третьей, безопасной возможности диалектических взаимоотношений между двумя личностями, уверенными в собственной основательности и на базе этого способными «потерять себя» друг в друге. Подобное слияние бытия может произойти «подлинным» образом лишь тогда, когда индивидуумы уверены в себе. Если человек ненавидит самого себя, он может желать потеряться в другом: тогда поглощение другим является бегством от себя. В настоящем же случае это вездесущая возможность быть напуганным. Ниже будет показано, однако, что самое страшное и усиленно избегаемое «в один момент» может смениться наиболее желаемым.

В психотерапии данное беспокойство ответственно за одну из форм так называемой

«негативной терапевтической реакции» на явно верное истолкование. Быть верно понятым — значит быть поглощенным, заключенным, проглоченным, утопленным, съеденным, задушенным предполагаемым всеохватывающим постижением другой личностью. Одиноко и болезненно вечно пониматься неправильно, но по крайней мере с этой точки зрения в изоляции есть некая безопасность.

Поэтому любовь другого страшит больше, чем ненависть, или скорее всякая любовь ощущается как вариант ненависти. Быть любимым означает непрошенное обязательство. При терапевтическом лечении подобного человека самое последнее дело — выказывать больше «любви» или «заботы», чем у тебя имеется. Чем ближе собственные, по необходимости очень сложные побуждения психиатра попытаться «помочь» подобной личности к готовности «оставить его в покое» и фактически его не поглощать или к простому безразличию, тем больше надежды покажется на горизонте.

Существует множество образов, используемых для описания того, что угрожает индивидуальности, которые можно здесь упомянуть как близко связанные со страхом поглощения, например страх быть сожженным, утопленным и затянутым зыбучими песками. Постоянно повторяется образ огня. Огонь может оказаться неуверенным мерцанием собственной внутренней жизнеспособности индивидуума. И он может стать чуждой разрушительной силой, которая его уничтожит. Некоторые душевнобольные при обострениях говорят, что они все в огне, что их тело сгорает. Один пациент описывает себя как холодного и сухого. Однако он боится любого тепла и любой влаги. Он будет поглощен огнем или водой и во всяком случае погибнет.

2) Разрывание

Это самое сильное слово, которое я смог найти для крайней формы того, что Уинникотт определяет как столкновение с реальностью. Слово «столкновение», однако, не выражает всего ужаса переживания мира, который в любой момент может вторгнуться и уничтожить любую индивидуальность точно так же, как газ врывается и уничтожает вакуум. Индивидуум ощущает, что, как и вакуум, он совершенно пуст. Но такая пустота есть именно он. Хотя в других случаях он стремится к тому, чтобы эта пустота заполнилась, он боится, что это, возможно, произойдет, поскольку он стал чувствовать, что все, чем он может быть, это жуткое ничто этого самого вакуума. Тогда любой «контакт» с реальностью переживается как страшная угроза, поскольку реальность, переживаемая с такой позиции, обязательно взрывоопасна и, как связь при поглощении, является сама по себе угрозой той индивидуальности, которой предположительно способен обладать индивидуум.

Реальность, как таковая, угрожающая поглощением или разрыванием, является преследователем.

В сущности, мы все находимся лишь в двух-трех градусах Цельсия от переживания такого порядка. Случись даже легкий жар, и весь мир может обернуться преследующей, толкающей стороной.

3) Окаменение и деперсонализация

При использовании термина «окаменение» можно извлечь большое количество смыслов, содержащихся в этом слове:

1. Особая форма ужаса, при которой человек каменеет, то есть превращается в камень.

2. Боязнь, что это случится, то есть боязнь возможности превратиться или быть превращенным из живой личности и мертвый предмет, в камень, в робота, в автомат, без личностной автономии действия, в вещь, не обладающую субъективностью.

3. «Магический» акт, посредством которого можно попытаться превратить кого-то другого в камень; и, в расширенном смысле, акт, посредством которого человек отрицает автономию другой личности, игнорирует ее чувства, рассматривает ее как вещь, убивает в ней жизнь. В этом отношении, вероятно, лучше говорить о деперсонализации человека, или его овеществлении. К человеку относятся не как к личности, обладающей свободой воли, а как к вещи.

Деперсонализация является методом, повсеместно используемым в качестве средства

общения с другим, когда он становится чересчур надоедливым или беспокоящим. Себе уже не позволяется реагировать на его чувства, и можно стать готовым рассматривать его и относиться к нему так, словно у него нет никаких чувств. Оба человека здесь стремятся ощущать себя более или менее деперсонализированными и стремятся деперсонализировать другого. Они постоянно боятся быть деперсонализированными другим. Акт превращения его в вещь для него действительно является окаменением. Перед лицом того факта, что с ним обращаются как с «вещью», его собственная субъективность может отхлынуть от него, будто кровь от лица. По существу, он требует постоянного подтверждения от других своего собственного существования в качестве личности. Частичная деперсонализация других широко практикуется в повседневной жизни и считается нормальной, а то и весьма желательной. Большинство взаимоотношений основываются на тенденции к частичной деперсонализации, поскольку человек относится к другому не с точки зрения знания о том, кем тот может являться сам по себе, но фактически как к человекообразному роботу, играющему некую роль в большой машине, в которой он сам тоже может играть какую-то иную роль.

Принято лелеять если уж не реальность, то на худой конец иллюзию, что существует ограниченная сфера жизни, свободной от такой дегуманизации. Однако может статься, что именно в этой сфере ощущается самый большой риск, и онтологически неуверенная личность переживает этот риск в крайне сильной форме.

Риск состоит в следующем: если человек переживает другого как обладающего свободной волей, он беззащитен перед возможностью переживать самого себя как объект его переживания, и тем самым ощущение собственной субъективности исчезает. Человека пугает возможность стать не более чем вещью в мире другого, не обладающим собственной жизнью, собственным бытием. С точки зрения подобной тревоги сам акт переживания другого как личности ощущается как фактическое самоубийство. Сартр блестяще описывает такое переживание в третьей части своей книги «Бытие и ничто».

Вопрос в принципе стоит вполне открыто. Человек может обнаружить себя оживленным, а ощущение собственного бытия — усиленным другим, или он может переживать другого как умертвляющего и обедняющего. Личность может начать превкушать то, что любые возможные взаимоотношения с другим приведут к худшим последствиям. Любой другой тогда является угрозой его «я» (его способности действовать автономно) не по причине того, что он может сделать или не сделать, но по причине самого его существования.

Некоторые из вышеописанных вопросов иллюстрирует жизнь одного химика, Джеймса, двадцати восьми лет.

Он все время жаловался на то, что не смог стать «личностью». У него не было «я». «Я являюсь лишь реакцией на других людей, у меня нет собственной индивидуальности». (У нас позднее появится случай подробно описать ощущение бытия не своим истинным «я», жизни ложным «я» — см. главы 5 и б.) Он чувствовал, что все больше и больше становится «мифической личностью». Он ощущал, что у него нет веса, нет собственной субстанции:

«Я просто пробка, плавающая в океане».

Этот человек был весьма озабочен тем, что не стал личностью; в этой неудаче он винил свою мать: «Я был просто ее символом. Она никогда не признавала моей индивидуальности». В противоположность умалению самого себя и неуверенности в самом себе он всегда находился на грани благоговейного страха быть раздавленным отвратительной реальностью, которую представляли собой другие люди. В противоположносгь его небольшому весу, неуверенности и бессубстанциональности они были твердыми, решительными, настойчивыми и субстанциональными. Он ощущал, что в любом вопросе, касавшемся других, существовала «большая шкала», чем у него.

В то же самое время на практике его было не так-то легко напугать. Он использовал два главных маневра для сохранения безопасности. Одним из них являлось внешнее согласие с другом (глава 7). Вторым — внутренняя интеллектуальная голова Медузы, которую он

обращал к другим. Оба маневра, предпринятые совместно, охраняли его собственную субъективность, которую он никогда не раскрывал и которая, таким образом, никогда не могла найти прямого и непосредственного выражения. Быть скрытым — значит находиться в безопасности. Оба метода были придуманы для того, чтобы избежать опасности быть поглощенным или деперсонализированным.

Своим внешним поведением он предвосхищал опасность, которой постоянно был подвержен, а именно стать чьей-то вещью, притворяясь, что он не больше чем пробка. (В конце концов, какая вещь в океане находится в большей безопасности?) Однако в то же самое время он превращал в своих глазах другую личность в вещь, таким магическим образом сводя на нет любую опасность для себя, скрыто разоружая врага. Разрушая, в своих глазах, другую личность как личность, он лишал другого сил раздавить его. Истощая его личностную жизненность, то есть рассматривая его скорее как часть механизма, а не как человека, он уменьшал для себя риск того, что эта жизненность либо засосет его, ворвется в его собственную пустоту, либо превратит его в простой придаток.

Этот мужчина был женат на очень энергичной и веселой женщине, крайне деятельной, с сильным проявлением личного начала и собственным взглядом на все и вся. Он установил с ней парадоксальные взаимоотношения, при которых, с одной стороны, он был совершенно одинок и изолирован, а с другой — являлся почти что паразитом. Например, ему снилось, что он — моллюск, прилепившийся к телу жены.

Просто потому, что ему могло такое сниться, у него была еще большая потребность держать ее на расстоянии, ухитряясь рассматривать ее как машину. Он описывал ее смех, ее гнев, ее грусть с «клинической» точностью и заходил даже настолько далеко, что ссылался на нее как на «оно» — практика, приводящая своим воздействием в уныние. «Затем оно стало смеяться». Она была всего лишь «оно», поскольку все, делаемое ею, являлось предсказуемой, предопределенной реакцией. Например, он рассказывал ей (ему) обыкновенный смешной анекдот, и когда она (оно) начинала (начинало) смеяться, это указывало на ее (его) полностью «обусловленную», роботоподобную природу, которую он на самом деле описывал почти в тех же самых терминах, какими представители определенных психиатрических теорий обычно пользуются при описании всех человеческих поступков.

Сперва я был приятно удивлен его явной способностью отвергать сказанное мной и не соглашаться с этим, а также и соглашаться со мной. Казалось, это указывало на то, что у него больше собственного ума, чем он осознает, и что он не слишком боится выказать некоторую автономию. Однако вскоре стало очевидно, что его явная способность действовать как автономная личность в отношениях со мной отвечала его скрытому маневру рассматривания меня не как живого человека, личность с собственной самостью, а как своего рода робота, переводящее устройство, на вход которого он давал информацию и которое после краткого коммутирования выдавало ему вербальное послание. При таком скрытом наблюдении за мной как за вещью он мог казаться себе «личностью». Но он не мог поддерживать взаимоотношения личности с личностью, переживаемые как таковые.

Сновидения, в которых выражается та или иная форма описанного выше страха, достаточно обычны у подобных личностей. Эти сны не являются вариантами боязни быть съеденным, которые бывают у онтологически уверенных личностей. Быть съеденным не обязательно означает потерять свою индивидуальность. Иона вполне был самим собой, даже находясь в чреве кита. Иногда кошмары вызывают тревогу но поводу действительной потери индивидуальности, обычно потому, что в основном люди, даже в снах, по-прежнему встречают все те опасности, с которыми может столкнуться личность, которую атакуют или калечат, но основное экзистенциальное ядро которой само по себе не подвергается опасности. При таком классическом кошмаре спящий просыпается от ужаса. Но этот ужас не есть страх потерять «я». Так, пациент видит во сне жирную свинью, сидящую у него на груди и угрожающую его задушить. Он просыпается от ужаса. В худшем случае при этом кошмаре он боялся удушения, но никак не ликвидации своего бытия.

В сновидениях пациентов встречается оборонительный прием — превращение угрожающей фигуры матери или изображения груди в вещь. Один пациент постоянно видел во сне небольшой черный треугольник, направленный в угол его комнаты, который становился все больше и больше до тех пор, пока, как казалось, почти не поглощал его, — после чего он всегда просыпался от ужаса. Это был психически больной молодой человек, который в течение нескольких месяцев жил в моей семье и которого я, таким образом, был способен узнать довольно хорошо. Насколько я могу судить, существовала лишь одна ситуация, в которой он мог «дать себе волю» без опасений никогда не вылечиться: это случалось, когда он слушал джаз.

Тот факт, что даже во сне изображение груди было столь деперсонализировано, является мерой ее потенциальной опасности для «я», предположительно на основе пугающих изначальных персонализаций и провала нормального процесса деперсонализации.

Медар Босс [9] дает примеры нескольких сновидений, возвещающих о психозе:

«Одна женщина, которой еще не было и тридцати лет, как-то, когда она все еще чувствовала себя совершенно здоровой, увидела во сне, что сгорает в конюшне. Вокруг нее огонь, и при этом образуется толстая корка лавы. Отчасти снаружи, а отчасти изнутри своего собственного тела она видела, как огонь медленно тушится этой коркой. Внезапно она оказывается вне пределов пламени и, словно одержимая, бьет по огню дубинкой, чтобы разбить корку и впустить под нее воздух. Но спящая вскоре уставала, и она (пламя) медленно угасала. Через четыре дня после этого сновидения она начала страдать от острой шизофрении. В деталях сна спящая точно предсказала особый ход своего психоза. Сперва она потеряла гибкость, будто на самом деле была заключена в твердую оболочку. Шесть недель спустя она еще раз защищалась изо всех сил, чтобы не потух огонь ее жизни, пока наконец совершенно не угасла как духовно, так и душевно. Теперь же, через несколько лет, она напоминает выжженный кратер».

В другом сне происходит окаменение других, предвкушающее собственное окаменение спящей:

«…одна двадцатипятилетняя девушка видела во сне, как

она готовила обед для своей семьи из пяти человек. Она только что подала его и теперь звала к столу родителей, братьев и сестру. Никто не отвечал. Вернулся лишь ее голос, словно это было эхо из глубокой пещеры. Она нашла внезапную пустоту в доме жуткой. Она побежала на второй этаж дома искать семью. В первой спальне она увидела двух сестер, сидевших на своих кроватях. Несмотря на ее нетерпеливый зов они оставались в неестественно неподвижных позах и даже не отвечали. Она подошла к сестрам и захотела их встряхнуть. Вдруг она заметила, что они представляют собой каменные изваяния. Она в ужасе убежала и рванулась в комнату матери. Ее мать тоже превратилась в камень и, застыв, сидела в кресле, уставившись в пустоту остекленевшим взглядом. Спящая побежала в комнату отца. Тот стоял посредине кабинета. В отчаянье она бросилась к нему и, желая получить от него защиту, обняла за шею. Но он тоже оказался сделанным из камня и, к ее крайнему ужасу, превратился в ее объятиях в песок. Она проснулась от абсолютного ужаса и была столь потрясена пережитым во сне, что несколько минут не могла шевельнуться. Тот же самый жуткий сон снился пациентке четыре раза подряд на протяжении нескольких дней. В то время она явно была душевно и физически здорова. Родители обычно называли ее „солнцем всей семьи“. Десять дней спустя после четвертого повторения сна пациентка заболела острой формой шизофрении с проявлением тяжелых симптомов кататонии. Она впала в состояние, чрезвычайно похожее на физическое окаменение ее семьи, которое видела во сне. Наяву ее одолевали модели поведения, которые во сне она просто наблюдала у других людей».

По-видимому, является всеобщим законом, что в какой-то момент самых страшных опасностей можно избежать, предвосхищая их действительное появление. Таким образом, отказ от собственной автономии становится средством ее скрытой охраны; симуляция болезни или смерти становится средством сохранения жизненности. Превращение самого

себя в камень становится способом не стать превращенным в камень кем-то другим. «Будь тверд», — призывает Ницше. Я считаю, что в определенном смысле, которого Ницше не имел в виду, стать твердым как камень и, таким образом, мертвым предвосхищает опасность превращения тебя в мертвую вещь другим человеком. Доскональное понимание самого себя (поглощение самого себя) является защитой против риска, связанного с засасыванием в водоворот постижения тебя другим человеком. Истребление себя своей собственной любовью предотвращает возможность истребления другим.

К тому же кажется, что предпочитаемый метод нападения на другого основан на том же самом принципе, что и атака, подразумеваемая в отношениях другого к тебе. Таким образом, человек, боящийся, что его собственная субъективность будет поглощена, разорвана или заморожена другим, зачастую предпринимает попытки поглотить, разорвать или убить субъективность другой личности. Процесс содержит в себе порочный круг. Чем больше человек пытается сохранить свою автономию и индивидуальность, сводя на нет человеческую индивидуальность другого, тем больше ощущается необходимость продолжать это делать, поскольку с каждым отрицанием онтологического статуса другой личности уменьшается собственная онтологическая безопасность, угроза для «я» со стороны другого усиливается, и, следовательно, ее приходится отвергать еще более отчаянно.

При таком поражении личностной автономии имеет место как неудача при поддержании ощущения самого себя в качестве личности вместе с другими, так и неудача при поддержании его в одиночку. Имеет место неудача при поддержании ощущения собственного бытия в отсутствие других людей. Это неумение быть самому по себе, неумение существовать одному. Как выразил это Джеймс:

«Другие люди снабжают меня моим существованием». Кажется, это находится в прямом противоречии с вышеупомянутым страхом того, что другие люди лишат его существования. Но какими бы противоречивыми или абсурдными они ни могли показаться, две эти установки существовали в нем бок о бок и на самом деле полностью характеризовали такой тип личности.

Способность переживать самого себя как автономного означает, что человек действительно стал осознавать, что он есть личность, отделенная ото всех остальных. Неважно, насколько глубоко я привязан в радостях или горестях к кому-то еще, этот человек не является мной, а я — им. Как бы одинок или печален ни был человек, он может существовать один. Факт, что другая личность в своей собственной актуальности не является мной, противопоставляется равным образом реальному факту, что моя привязанность к нему есть часть меня. Если он умирает или уходит, исчезает он, но моя привязанность к нему остается. И по крайней мере, я не могу умереть смертью другого человека вместо него, да и он не может умереть моей смертью. Коли на то пошло (так Сартр комментирует мысль Хайдеггера), он не может любить вместо меня или принимать за меня решения, и я сходным образом не могу делать этого за него. Короче, он не может быть мной, а я не могу быть им.

Если индивидуум не ощущает себя автономным, это означает, что он обычным образом не может переживать ни отделенность от другого, ни связанность с ним. Недостаток чувства автономии подразумевает, что человек чувствует, что его бытие переплетено с другим или что другой переплетен с ним в смысле пересечения границы действительных возможностей внутри структуры человеческих связей. Это означает, что ощущение онтологической зависимости от другого (то есть зависимости от другого ради самого своего бытия) заменяется ощущением привязанности к нему, основанной на подлинной взаимности. Предельные отстраненность и изолированность рассматриваются как единственная альтернатива моллюске- или вампироподобной привязанности, при которой жизненная кровь другой личности необходима для собственного выживания, и, однако, она представляет собой угрозу выживанию. Поэтому полюсами являются скорее полная изоляция и полное слияние индивидуальностей, а не отделенность и связанность. Индивидуум постоянно колеблется между двумя крайностями, каждая из которых в равной степени недостижима. Он начинает жить скорее как та механическая игрушка, которая обладает положительным

тропизмом, вынуждающим ее двигаться к стимулу, пока она не достигает определенной точки, где встроенный отрицательный тропизм направляет ее в другую сторону, пока вновь верх не берет положительный тропизм; такие колебания повторяются ad infinitum.

Джеймс говорил, что другие люди необходимы для его существования. Еще один пациент при такой основополагающей дилемме вел себя следующим образом: он в течение месяцев оставался в изолированной обособленности от мира, живя один в комнате, существуя на скромные сбережения и грезя. Но, поступая так, он начинал ощущать, что внутренне умирает. Он становился все более и более пустым и наблюдал «прогрессирующее обнищание образа жизни». Большая часть гордости и чувства собственного достоинства при таком существовании замыкалась на себя, но, когда его состояние деперсонализации начинало прогрессировать, он на короткий срок окунался в общественную жизнь для того, чтобы получить «дозу» других людей, но без «передозировки». Он напоминал алкоголика, продолжающего внезапно устраивать пьяные оргии в промежутках между периодами трезвости, за исключением того, что в его случае у него было пагубное пристрастие — которого он боялся и стыдился, как любой раскаивающийся алкоголик или наркоман, — к другим людям. Через короткое время он начинал ощущать, что существует угроза быть пойманным тем кругом, в который он вошел, и он вновь удалялся в свою изоляцию в смущении от безнадежности, подозрений и стыда.

Некоторые из вопросов, обсужденных выше, иллюстрируют два следующих случая.

Случай 1. Тревога при ощущении одиночества

Затруднение г-жи Р. заключалось в боязни появления на улице (агорафобии). При ближайшем рассмотрении стало ясно, что тревога у нее возникает, когда она начинает ощущать себя самостоятельной на улице или где угодно. Она могла быть самостоятельной, пока не ощущала, что в действительности она одна.

Вкратце ее история такова. Она была единственным и одиноким ребенком. В ее семье не было открытого пренебрежения ею или враждебности. Однако она чувствовала, что родители всегда чересчур поглощены друг другом и никто не обращает на нее внимания. Она росла, желая залатать эту дыру в своей жизни, но ни разу не преуспела в становлении самодостаточной или погружении в собственный мир. Она всегда стремилась стать важной и значимой для кого-нибудь еще. Всегда был нужен кто-то еще. Предпочтительно она хотела быть любимой и обожаемой, а если нет, то лучше быть ненавидимой, чем незамеченной. Она хотела быть значимой для кого-то еще в любом качестве, в противоположность постоянным воспоминаниям о своем детстве, когда она не была по-настоящему важна для родителей, когда ее не любили и не ненавидели, не обожали и не стыдились.

Как следствие этого, она попыталась смотреть на себя в зеркало, но ей ни разу не удалось убедить себя, что она — это кто-то. Она так и не избавилась от страха, что там может никого не оказаться.

Она превратилась в очень привлекательную девушку и вышла замуж в семнадцать лет за первого человека, который действительно оценил ее красоту. Ей казалось характерным, что родители не замечали ничего происходящего с их дочерью до тех пор, пока она не объявила о помолвке. Она ликовала и приобретала уверенность в себе от теплоты мужниного внимания. Но он был офицером, и вскоре его отправили за границу. Она была не способна поехать вместе с ним. При этой разлуке она пережила настоящую панику.

Необходимо отметить, что ее реакцией на отсутствие мужа была не депрессия или печаль, при которых она бы тосковала или скучала по нему. Это была паника (как я предполагаю) из-за исчезновения в ней чего-то, что было обязано своим существованием присутствию мужа и его вниманию. Она являлась цветком, который завял за один недождливый день. Однако помощь пришла к ней благодаря внезапной болезни матери. Отец попросил ее срочно приехать, чтобы ухаживать за матерью. В течение следующего года, во время болезни матери, она, как никогда, была (по ее словам) самой собой. Она стала опорой дома. Не было ни следа паники до смерти матери, когда перспектива покинуть место, где она наконец стала так много значить, и присоединиться к мужу заняла все ее мысли.

Опыт последнего года заставил ее впервые ощутить, что она теперь уже не ребенок своих родителей. В противоположность этому быть женой своего мужа казалось чем-то излишним.

Опять-таки нужно отметить отсутствие горя при смерти матери. В это время она начала обдумывать возможность жить в этом мире одной. Ее мать умерла, потом умрет отец, вероятно, муж; «после этого — ничего». Это ее не угнетало, а пугало.

Затем она присоединилась за границей к мужу и в течение нескольких лет вела довольно веселую жизнь. Она страстно желала всего внимания, которое он мог ей предоставить, но его становилось все меньше и меньше. Она была неугомонна и неудовлетворена. Их брак распался, и она, вернувшись на родину, поселилась в Лондоне, в квартире отца. Пока она жила с отцом, она стала любовницей и натурщицей одного скульптора. Так она жила несколько лет, прежде чем я увидел ее; тогда ей было двадцать восемь.

Вот как она говорила про улицу: «На улице люди идут по своим делам. Редко встретишь кого-то, кто тебя узнает. Даже если это происходит, они просто кивают и проходят дальше или в лучшем случае болтают с тобой пару минут. Никто не знает, кто ты такая. Каждый погружен в себя. Ты никого не волнуешь». Она привела пример, когда люди падали в обморок, а всем это было безразлично. «Всем было наплевать». Именно в такой обстановке и с этими мыслями в голове она ощутила тревогу.

Эта тревога заключалась в нахождении одной на улице или, вернее, в ощущении самостоятельности. Если она выходила не одна или встречалась с кем-то, кто ее действительно знал, ощущения тревоги не возникало.

В квартире отца она часто оставалась одна, но это было совсем другое дело. Там она никогда не ощущала себя по-настоящему самостоятельной. Она готовила. ему завтрак. Убирая постели, моя посуду, она как только можно тянула время. Середина дня была самой тяжелой. Но она была не против: «Все было знакомо». Существовали кресло отца и его полочка с трубками. Существовал портрет матери на стене, смотрящей сверху вниз на нее. Было так, словно все эти знакомые предметы каким-то образом освещали дом присутствием людей, которые владели и пользовались ими или сделали их частью своей жизни. Таким образом, хотя она находилась в квартире одна, она всегда была в силах неким магическим образом быть с кем-то. Но эта магия рассеивалась в шуме и анонимности деловитой улицы.

Лишенное чувствительности приложение к пациентке того, что зачастую должно являться классической психоаналитической теорией истерии, могло бы иллюстрировать попытку показать эту женщину как бессознательно, либи-дозно привязанную к своему отцу; с последующей бессознательной виной и бессознательной потребностью и (или) страхом наказания. Ее неудача при сокрытии долговременных либидозных отношений от отца, как показалось бы, поддерживает первую точку зрения, наряду с ее решением жить вместе с ним, так сказать, занять место матери, и тем фактом, что она, двадцативосьмилетняя женщина, проводила болыпую часть дня, думая о нем. Преданность матери во время ее последней болезни стала бы отчасти следствием бессознательной вины за соперничество с матерью, а тревога после смерти матери явилась бы тревогой из-за ее бессознательного желания смерти матери и т. д.*

Однако причину нужно искать не в ее «бессознательном». Она лежит на виду как у нее, так и у нас (хотя нельзя сказать, что эта пациентка не осознавала в отношении себя лишь очень немногое).

Ключевым пунктом, вокруг которого сосредотачивалась вся ее жизнь, является недостаток онтологической автономии. Если она не находится в присутствии других людей, которые ее знают, или если она не может успешно вызвать присутствие этого человека в его отсутствие, ее ощущение собственной индивидуальности покидает ее. Она паникует из-за увядания своего бытия. Для того чтобы существовать, ей нужен кто-то еще, верящий в ее существование. Насколько необходимо, чтобы ее любовником был скульптор, а она была его натурщицей! Насколько неизбежно, при данной основной посылке ее существования, что, когда ее существования не признавали, ее одолевала тревога. Для нее esse значит percipi, то

есть быть увиденной, но не анонимной прохожей или случайной знакомой. Именно из-за этой формы ее рассмотрения она и окаменела. Если же она рассматривалась как анонимность, как никто, особо не волнующий, или как вещь, она и была, в частности, никем. Она была такой, какой ее видели. Если в какой-то момент не было никого, кто бы мог ее видеть, ей приходилось вызывать в воображении кого-то (отца, мать, мужа, любовника — в разные периоды жизни), кого она, по ее ощущениям, волновала, для кого она являлась личностью, и представлять себя в его или ее присутствии. Если человек, от которого зависело ее бытие, уезжал или умирал, не было повода для горя, а был лишь повод для паники.

*Крайне ценный психоаналитический вклад в изучение формирования «истерических» симптомов содержится в книге Сигала [44].

Нельзя перенести ее основную проблему в «бессознательное». Если обнаруживается, что у нее существует бессознательная фантазия стать проституткой, это не объясняет ее тревога в отношении хождения по улице или ее заботы о женщинах, упавших на улицах и не способных без посторонней помощи подняться на нога. Наоборот, бессознательная фантазия должна быть объяснена и понята с точки зрения центрального вопроса, заключающего в себе бытие ее «я», ее быггие-для-себя. Ее страх быть одной не является «защитой» от инцестно-либидозных фантазий или мастурбации. У нее были инцестные фантазии. Эти фантазии являлись защитой от боязни быть одной, так же как и вся ее «фиксация» на бытии дочерью. Они были средствами преодоления ее тревога по поводу бытия самой по себе. Бессознательные фантазии этой пациентки имели бы совершенно иной смысл, если бы ее основополагающее экзистенциальное положение было таким, что у нее внутри находилась бы исходная точка, которую она могла бы оставить позади, как это было с погоней за удовольствиями. Так сказать, ее сексуальная жизнь и фантазии были попытками в первую очередь не получить удовольствие, а найти онтологическую уверенность. В любовных похождениях была достигнута иллюзия такой уверенности, а на основе этой иллюзии стало возможно получение удовольствия.

Было бы глубокой ошибкой называть эту женщину нарциссисткой при любом надлежащем употреблении данного термина. Она была не способна влюбиться в собственное отражение. Было бы ошибкой перевести ее проблему в фазы психосексуального развития: оральную, анальную и генитальную. Она хваталась за сексуальность, словно за соломинку, как только стала «совершеннолетней». Она не была фригидной. Оргазм смог бы принести физическое наслаждение, если бы она временно находилась в безопасности — в первичном онтологическом смысле. При половом акте с кем-то, кто ее любил (а она была способна поверить, что ее может кто-то полюбить), она, вероятно, переживала свои лучшие мгновения. Но они были недолгами. Она не могла быть одинока или позволить своему любовнику быть одиноким с ней.

Ее потребность в том, чтобы ее замечали, могла бы способствовать приложению к ней дополнительного штампа — она была эксгибиционисткой. Повторяю, подобный термин имеет силу лишь тогда, когда он понимается экзистенциально. Таким образом — и этот вопрос будет весьма подробно обсуждаться впоследствии, — она «выставляла себя напоказ», но при этом никогда себя не «выдавала». То есть она рас-крывалась, но при этом всегда с-крывалась. Так что она всегда была одинока и одна, хотя внешне ее затруднения не заключались в бытии вместе с другими людьми; ее затруднения меньше всего бросались в глаза, когда она была вместе с другим человеком. Но очевидно, что ее осознание автономного существования других людей было действительно таким же незначительным, как и вера в собственную автономию. Если их не было рядом, они переставали для нее существовать. Оргазм являлся средством овладения собой посредством держания в объятиях мужчины, овладевавшего ею. Но она не могла быть собой, самой по себе, и поэтому вообще не могла быть по-настоящему собой.

Случай 2

Самый любопытный феномен личности — тот, что наблюдался веками, но который

еще не получил полного объяснения, — состоит в том, что там, где индивидуум кажется средством выражения личности, он не является самим собой. Кажется, что им «обладает» чья-то чужая личность и находит выражение посредством его слов и поступков, тогда как собственная личность индивидуума временно «потеряна» или «исчезла». Это происходит со всеми степенями пагубности. Кажется, существуют все степени одного и того же основополагающего процесса, начиная с простейшего, добродушного наблюдения, что такой-то и такой-то «весь в отца» или что «в ней проявляется материнский нрав», вплоть до крайнего несчастья человека, обнаруживающего себя вынужденным принять на себя характерные черты личности, которую он может ненавидеть и (или) чувствовать ее совершенно чуждой своей собственной.

Этот феномен — один из самых важных при случающихся распадах ощущения собственной индивидуальности, когда это происходит невольно или принудительно. Боязнь, что это произойдет, является одним из факторов страха поглощения и разрывания. Индивидуум может бояться походить на кого-либо, поскольку он обнаруживает, что его принуждают стать похожим на того, кто ему нравится. Позднее я постараюсь показать, что это один из мотивов шизофренического ухода в себя.

Способ, которым «я» индивидуума и личность глубоко видоизменяются, вплоть до пугающей точки потери собственной индивидуальности и ощущения реальности, посредством поглощения чуждой субиндивидуальностью, иллюстрирует следующий случай.

Г-жа Д., сорокалетняя женщина, изначально пожаловалась на смутный, но сильный страх. Она сказала, что боится всего, «даже неба». Она жаловалась на постоянное чувство неудовлетворенности, необъяснимые приступы гнева по отношению к мужу и, в частности, на «недостаток ощущения обязанности». Ее страх был таков, «словно кто-то пытается встать внутри нее и выйти из нее». Она очень боялась, что напоминает свою мать, которую ненавидела. То, что она называла «ненадежностью», было чувством смущения и смятения, которое она связывала с тем фактом, что все, что делала, похоже, никогда не удовлетворяло ее родителей. Если она делала что-то одно и ей говорили, что это плохо, она делала другое и обнаруживала, что они по-прежнему говорят, что это плохо. Она была не в силах открыть, как она выразилась, «кем они хотят ее видеть». Кроме всего прочего, она упрекала родителей за то, что те никак не давали ей понять, кем или чем она в действительности является и кем должна стать. Она не могла быть ни плохой, ни хорошей хоть с какой-то «надежностью», поскольку родители были — на самом деле или по ее ощущениям — совершенно непредсказуемы и ненадежны в выражении любви или ненависти, одобрения или неодобрения. Оглядываясь назад, она сделала вывод, что они ее ненавидели. Но временами, сказала она, они ее настолько сбивали с толку и ей так хотелось обнаружить, кем она должна стать, чтобы быть способной хотя бы их ненавидеть, не говоря уж о том, чтобы любить. Теперь она говорила, что ищет «утешения». Она искала некую линию, исходящую от меня, которая указала бы ей путь, по которому надо идти. Она нашла мою не-указывающую позицию с трудом переносимой, поскольку та казалась ей явным повторением позиции отца: «Не задавай вопросов, и тебе не солгут». На какое-то время она стала подвержена принудительному мышлению, при котором была обязана задавать такие вопросы, как: «Для чего это?» или «Зачем это?», и давать себе ответы. Она истолковывала это как попытку утешить себя в собственных мыслях, поскольку ни от кого не могла получить утешения. У нее началась сильная депрессия, и она бесконечно жаловалась на свои чувства, говоря, насколько они детские. Она очень много говорила о том, как ей себя жаль.

Теперь мне показалось, что «она» в действительности жалела не свое истинное «я». Она напоминала мне скорее ворчливую мать, жалующуюся на трудного ребенка. Казалось, что все время «в ней проявляется материнский нрав» со всеми жалобами на «ее» детскость. Так было не только в отношении «ее» жалоб на себя, но и в других вопросах. Например, как и мать, она постоянно орала на мужа и ребенка; как и мать*, она всех ненавидела; как и мать, она вечно плакала. В сущности, жизнь была для нее сплошным несчастьем из-за того, что она никогда не могла быть самой собой, но всегда была своей матерью. Однако она

понимала, что, когда она чувствовала себя одинокой, потерянной, испуганной и сбитой с толку, она более являлась своим истинным «я». Она также понимала, что она сама сделала себя раздражительной, ненавидящей, орущей, плачущей и ворчливой, поскольку, превратив себя вот в «это» (то есть в свою мать), она больше не испытывала страха (ценой того, что перестала быть собой). Однако отдача такого маневра заключалась в том, что, когда буря закончилась, она оказалась удручена ощущением пустоты (тем, что не являлась самой собой) и ненависти к человеку, которым она была (к своей матери), и к себе за свою двойственную природу. В некотором отношении — раз ей стало известно о ложном способе преодоления тревоги, которая у нее проявлялась, когда она была самой собой, — этой пациентке приходилось решать, не станет ли избегание подобной тревоги, путем избегания самое себя, еще худшим лечением, чем ее болезнь. Крушение всех надежд и расстройство всех планов, которое она испытывала вместе со мной и вызывавшее по отношению ко мне сильную ненависть, нельзя было полностью объяснить расстройством либидозных или агрессивных побуждений при перенесении, а скорее это было то, что можно было бы назвать экзистенциальным расстройством, проистекавшим из того факта, что я, отказав ей в «утешении», которое она искала у меня, и не сказав ей, кем она должна быть, наложил на нее необходимость принять собственное решение относительно личности, которой она должна стать. Ее ощущение, что ей отказали в праве первородства, поскольку родители не выполнили своей обязанности по отношению к ней, не дав ее определения, что послужило бы ей в жизни отправной точкой, усиливалось моим отказом предложить ей «утешение». Но только с помощью такого отказа было возможно обеспечить условия, при которых она смогла бы привнести в себя эту обязанность.

*То есть как ее представление о том, кем являлась ее мать. Я никогда не встречался с ее матерью и понятия не имел, обладают ли фантазии хоть каким-то сходством с ее матерью как реальной личностью.

Поэтому, в таком смысле, задачей психотерапии было, используя выражение Ясперса, обращение к свободе пациента. В психотерапии огромная доля умения зависит от способности делать это эффективно.

4. ВОПЛОЩЕННОЕ И НЕВОПЛОЩЕННОЕ «Я»

До сих пор я пытался охарактеризовать некоторые тревоги, являющиеся аспектами основополагающей онтологической неуверенности. Эти тревоги возникают в конкретной эк-зистенциональной обстановке и являются функцией этой обстановки. Когда личность уверена в своем собственном бытии, тревоги не возникают с такой силой и постоянством, поскольку для них нет возможности возникнуть и далее существовать.

При отсутствии подобной основополагающей уверенности жизнь, тем не менее, должна продолжаться. Вопрос, на который теперь нужно попытаться ответить, состоит в том, какую форму отношений с собой развивает онтологически неуверенная личность. Я попробую показать, как некоторые подобные личности, по-видимому, не обладают ощущением того основополагающего единства, которое может сохраняться в течение самых сильных конфликтов с собой, но скорее начинают переживать себя как, главным образом, расщепленные на разум и тело. Обычно они ощущают более тесное отождествление с «разумом».

Именно определенным последствиям этого основного способа, которыми собственное бытие человека может организоваться внутри себя, в основном будут посвящены остальные главы данной книги. Это расщепление будет рассмотрено как попытка справиться с основополагающей подспудной неуверенностью. В некоторых случаях могут существовать средства, позволяющие с ним эффективно жить, или даже попытки его преодолеть; но также весьма вероятно сохранение этих тревог, что в некоторой степени является защитой против них, и это может обеспечить начальную позицию для линии развития, кончающуюся психозом. Последняя возможность всегда имеет место, если индивидуум начинает

отождествлять себя исключительно с той своей частью, которую ощущает невоплощенной. В данной главе я сперва противопоставлю схематически и в более общих выражениях воплощенное и невоплощенное «я»; затем, в последующих главах, я оставлю в стороне все варианты такого положения, которые не приводят человека к психиатру в качестве пациента, и подробно прослежу те последствия этого положения, которые имеют результатом тяжелый раскол бытия индивидуума как целого и поэтому могут привести к психозу.

Воплощенное и невоплощенное «я»

Каждый человек, даже самая невоплощенная личность, переживает самого себя как сложным образом связанного со своим телом. При обычных обстоятельствах, в той степени, в какой человек ощущает свое тело живым, реальным и субстанциональным, он ощущает себя живым, реальным и субстанциональным. Большинство людей чувствуют, что они начались тогда, когда началось их тело, и что они закончатся тогда, когда их тело умрет. Мы могли бы сказать, что подобная личность переживает себя как воплощенную.

Однако об этом нет необходимости говорить. В отличие от этих «обычных» людей, ощущающих в моменты стресса частичное отделение от тела, существуют индивидуумы, которые живут, не будучи погруженными в свои тела, а скорее обнаруживают себя, как всегда и обнаруживали, неким образом отстраненными от тела. О подобном человеке можно было бы сказать, что «он» так и не стал олицетворенным и может говорить о себе как о более или менее невоплощенном.

Здесь мы имеем основополагающее различие в жизненных позициях «я». Если воплощение и невоплощение всегда были бы завершены в обоих направлениях, у нас было бы два разных образа человеческого бытия. Большинство людей может считать первых нормальными и здоровыми, а последних — ненормальными и патологичными. В данном исследовании подобная оценка совершенно неуместна. С определенных точек зрения можно считать воплощение желательным. Вполне вероятно предположить с другой точки зрения, что индивидуум должен пытаться выпутать себя из тела и тем самым достичь желаемого состояния невоплощенной духовности*.

То, что мы имеем, представляет собой два основных экзистенциальных положения. Различие в положениях не мешает любому основополагающему вопросу — добро и зло, жизнь и смерть, индивидуальность, реальность и нереальность — возникать как в одном контексте, так и в другом, но в корне различные контексты, в которых они встречаются, определяют основные направления образа жизни. Две эти крайние возможности требует изучения с точки зрения способа, которым индивидуум, чье положение приближается к той или иной возможности, будет переживать связь с другими личностями и с миром.

Воплощенная личность ощущает, что состоит из плоти, крови и костей, что она биологически жизнеспособна и реальна: такой человек осознает себя субстанциональным. В такой же степени, в какой он основательно находится «в» своем теле, он ощущает личную непрерывность во времени. Он будет переживать себя как подверженного опасностям, угрожающим его телу, — опасностям нападения, уродства, болезни и смерти. Он впутан в плотские желания, удовольствия и расстройства тела. Таким образом, у индивидуума в качестве отправной точки есть переживание своего тела как основания, на котором он может быть личностью вместе с другими людьми.

Однако, хотя его бытие не расщеплено на «разум» и тело, он, тем не менее, может быть разделен множеством способов. В некоторых отношениях его положение даже более рисковано, чем положение индивидуума, каким-то образом отделенного от тела, поскольку первому индивидууму недостает того ощущения неосквернености телесным злом, которое порой встречается у частично воплощенных личностей.

*Например, Бультманн в своей книге «Первохристианство» [10] дает превосходное описание гностического идеала разъединения души (реального «я») и тела. Спасение понималось как полный отрыв от уничтожения души и тела. Он цитирует следующий гностический текст: «Тело есть темница, живая смерть, ощущающий труп, могила, коею носишь на себе, вороватый друг, коий ненавидит тебя в любви к тебе и завидует тебе в

ненависти к тебе…»

Для изучения вопроса о расколе разума и тела с психопатологической точки зрения см. работы Клиффорда Скотта [42] и Уинникотта [48].

Например, один человек с шизофреническим расстройством, дважды долгое время лечившийся в психиатрической больнице, рассказал мне о своих реакциях при нападении на него ночью в темном переулке, когда он еще был совершенно здоров. Он шел по переулку, а навстречу ему шагали двое мужчин. Когда они поравнялись с ним, один из них внезапно ударил его дубинкой. Удар был не очень точный и оглушил его лишь на мгновение. Он зашатался, но достаточно быстро пришел в себя, чтобы повернуться и атаковать бандитов, хотя и был невооружен; после короткой схватки они убежали.

Интересно же здесь то, как этот человек переживал этот инцидент. Когда его ударили, первой реакцией было удивление. Затем, пока он все еще был отчасти оглушен, он подумал о том, насколько бессмысленно этим людям на него нападать: у него с собой не было денег, они ничего не могли с него получить. «Они могли бы лишь избить меня, но не могли причинить никакого настоящего вреда». То есть любой ущерб, нанесенный телу, не мог по-настоящему, реально ему Повредить. Конечно, существует смысл, при котором подобная установка могла бы являться вершиной мудрости, когда, к примеру, Сократ утверждает, что доброму человеку нельзя причинить никакого вреда. В данном же случае «он» и его «тело» были разъединены. В такой ситуации он боялся гораздо меньше обычного человека, поскольку, с его точки зрения, он не мог потерять ничего, по существу принадлежавшего ему. Но, с другой стороны, его жизнь была полна тревог, не возникающих у обычных людей. Воплощенный индивидуум, целиком впутанный в желания, потребности и поступки своего тела, подвержен чувству вины и тревоги, сопутствующему подобным желаниям, потребностям и поступкам. Он подвержен как телесным расстройствам, так и плотским наслаждениям. Собственное тело не является убежищем от уничтожающего самопорицания. В воплощенности как таковой нет гарантии против чувства безнадежности или бессмысленности. За пределами своего тела ему по-прежнему приходится узнавать, кто он такой. Его тело можно переживать как больное, отравленное, умирающее. Короче, телесное «я» не является нерушимым оплотом, спасающим от разъединения онтологическими сомнениями и неопределенностями: само по себе оно не является защитой от психоза. И наоборот, раскол в переживании собственного бытия на невоплощенную и воплощенную части есть не больший указатель на латентный психоз, чем полная воплощенность — на гарантию душевного здоровья.

Однако, хотя из этого никоим образом не следует, что индивидуум, подлинно основанный на своем теле, является иначе объединенной, цельной личностью, это означает, что у него есть отправная точка, неотъемлемая по крайней мере в этом отношении. Подобная отправная точка будет предпосылкой иерархии возможностей, отличной от иерархии, открытой для личности, переживающей себя с точки зрения дуализма «я» и тела.

Невоплощенное «я»

При таком положении индивидуум переживает свое «я» как более или менее отделенное или отстраненное от тела. Тело ощущается скорее как объект среди других объектов в этом мире, а не как ядро собственного бытия индивидуума. Вместо того чтобы быть ядром истинного «я», тело ощущается как ядро ложного «я», на которое отстраненное, развоплощенное, «внутреннее», истинное «я» взирает с

нежностью, изумлением или ненавистью в зависимости от

случая.

Подобное отделение «я» от тела препятствует прямому участию невоплощенного «я» в любом аспекте жизни этого мира, который опосредован исключительно благодаря телесному восприятию, чувствам и действиям (средствам выразительности, жестам, словам, поступкам и т. п.). Невоплощенное «я», являющееся сторонним наблюдателем всего, что делает тело, ни во что прямо не вовлекается. Его функциями становятся наблюдение, контроль и критика того, что тело переживает и делает, и об этих операциях обычно говорят как о чисто

«ментальных».

Невоплощенное «я» становится гиперсознанием. Оно пытается постулировать свои собственные имаго. Оно развивает с самим собой и с телом взаимоотношения, которые могут стать весьма сложными.

Но, в то время как было проведено уже множество исследований по психопатологии воплощенной личности, сравнительно мало написано о личности, бытие которой вот так, коренным образом, расщеплено. Конечно, были исследованы временные состояния разъединения «я» и тела, но обычно такие разъединения рассматриваются как возникающие из изначального положения, в котором «я» было воплощено, потом под воздействием стресса на время отделилось и возвратилось в изначальное воплощенное положение, когда кризис прошел.

«Пограничный» случай — Дэвид

Я дам простой отчет о Дэвиде с минимальными комментариями, поскольку хочу, чтобы читателю стало совершенно ясно, что подобные люди и подобные проблемы существуют в действительности, а не являются моей выдумкой. Этот случай также может служить основой для более общего обсуждения, проводимого ниже.

Когда я увидел Дэвида, ему было восемнадцать. Он был единственным ребенком в семье, и его мать умерла, когда ему было десять лет. С тех пор он жил с отцом. После средней школы он поступил в университет на философский факультет. Его отец не видел смысла в консультациях сына у психиатра, так как, на его взгляд, ходить на прием к психиатру ему было незачем. Однако у руководителя группы юноша вызывал беспокойство, поскольку, по-видимому, галлюцинировал и вел себя иногда довольно странно. Например, он посещал лекции в плаще, накинутом на плечи; он носил трость; его манера поведения была исключительно нарочитой; его речь в основном состояла из цитат.

Описание его отцом было весьма скудным. Он всегда был совершенно нормальным, и отец считал, что его теперешняя эксцентричность объяснялась просто юностью. Он всегда был очень хорошим ребенком, который делал все, что ему велели, и никогда не доставлял никаких хлопот. Мать была к нему сильно привязана. Они были неразлучны. Он был «очень мужественен», когда она умерла, и во всем помогал отцу. Он вел хозяйство, готовил еду, покупал большинство продуктов. Он «принял» место матери или «перенял» его до такой степени, что проявил ее способности в вышивании, вязании и в украшении дома. Отец хвалил его за это и отзывался о сыне очень одобрительно.

Юноша был самым что ни на есть фантастическим с виду персонажем — этакий юный Киркегор в исполнении Денни Кея. Волосы были слишком длинные, воротничок слишком высокий, брюки слишком короткие, ботинки слишком большие, а вдобавок подержанный сценический плащ и трость! Он был не просто эксцентричен — я не мог избавиться от впечатления, что этот молодой человек играет в эксцентричность. Все это производило эффект

манерности и надуманности. Но зачем кому-то понадобился подобный эффект?

На самом деле он был уже опытным актером, поскольку играл ту или иную роль по крайней мере со времени смерти матери. До этого, по его словам, он «просто был таким, каким его хотела видеть она». О ее смерти он сказал так:

«Насколько помню, я был довольно-таки обрадован. Вероятно, я ощущал некоторую грусть. — Во всяком случае, мне бы хотелось так думать». До смерти матери он был просто тем, чем хотела его видеть мать. После ее смерти быть самим собой для него стало не легче. Он рос, полностью принимая как само собой разумеющееся, что то, что он называл своим «я», и его «личность» являются двумя совершенно разными вещами. Он никогда всерьез не представлял себе другой возможности и равным образом принимал как само собой разумеющееся, что все остальные устроены сходным образом. Его взгляд на человеческую природу в целом, основанный на собственном переживании самого себя, заключался в том, что каждый является актером. Важно осознать, что это устойчивое убеждение или предположение в отношении людей руководило всей его жизнью. Такое мировоззрение

сделало для него очень легким быть кем угодно по желанию матери, поскольку все его поступки просто составляли часть той или иной роли, которую он играл. Если говорить о том, что они принадлежали его «я», то они принадлежали лишь ложному «я», тому «я», которое играло в соответствии с ее волей, а не с его.

Его «я» никогда прямо в его поступках не проявлялось. По-видимому, суть в том, что он вышел из детства, с одной стороны, со своим собственным «я», а с другой стороны, с тем, «какого хотела от него мать», с «личностью». Он начал с этого и сделал своей целью и идеалом совершить как можно более полное разъединение своего собственного «я» (которое знал только он) и того, что видели в нем другие люди. В дальнейшем он был вынужден придерживаться такого курса из-за того, что вопреки себе всегда ощущал себя робким, застенчивым и легко ранимым. Вечно играя какую-то роль, он обнаружил, что может в какой-то мере преодолеть свою робость, застенчивость и ранимость. Он обрел уверенность в том соображении, что, чего бы он ни делал, он не является самим собой. Таким образом, он использовал ту же самую форму защиты, которая уже упоминалась: в попытке ослабить тревогу он усугублял условия, ее вызвавшие.

Важным пунктом, который он всегда держал в уме, было то, что он играет роль. Обычно у себя в голове он играл роль кого-то другого, но иногда он играл роль самого себя (своего собственного «я»), то есть он не был просто И спонтанно самим собой, но играл себя. Его идеал — «никогда не выдать себя». Как следствие этого, он практиковал по отношению к другим самые что ни на есть уклончивые двусмысленности в ролях, которые играл. Однако по отношению к самому себе его идеалом являлась как можно большая искренность и честность.

Вся организация его бытия основывалась на разъединении внутреннего «я» и внешней «личности». Нужно отметить, что такое положение дел существовало в течение нескольких лет, но его «личность», то есть образ поведения с другими, не казалась необычной.

Видимая кажимость не могла раскрыть того факта, что его «личность» была не истинным самовыражением, но в основном набором олицетворений. Роль, которую, по его мнению, он играл главным образом в школьные годы, была ролью необычайно развитого ребенка с острым умом, но несколько равнодушного. Однако он говорил, что, когда ему исполнилось пятнадцать лет, он осознал, что это действующее лицо становится непопулярным, поскольку «оно имело злой язык». Соответственно он решил видоизменить эту роль в более приятного персонажа и сделал это «с хорошими результатами».

Однако его попытки поддержать такую организацию своего бытия подвергались угрозам с двух сторон. Первая угроза очень серьезно его не волновала. Она заключалась в риске спонтанности. Как актер, он всегда хотел быть отстранен от роли, которую играл. Тем самым он ощущал себя хозяином ситуации, при полном контроле сознанием своих выразительных средств и поступков, точно рассчитывая их воздействие на других. Быть спонтанным — значит просто быть глупым. Это означало отдавать себя во власть другим людям.

В детстве он всегда очень любил разыгрывать разные роли перед зеркалом. Теперь он продолжал играть роли перед зеркалом, но при этом позволял себе погружаться в роль, которую играл (становиться спонтанным). Как он чувствовал, здесь таилась его гибель. Роли, которые он разыгрывал перед зеркалом, всегда были женскими. Он одевался в сохранившиеся от матери платья. Он репетировал женские роли из великих трагедий. Но потом он обнаружил, что уже не может не играть роль женщины. Он поймал себя на том, что вынужден ходить по-женски, говорить по-женски, даже видеть и думать так, как могла бы видеть и думать женщина. Таково было его нынешнее положение, и этим он объяснял свой фантастический наряд. Поскольку, до его словам, он обнаружил, что вынужден одеваться и действовать в теперешней манере, чтобы приостановить процесс поглощения себя женской ролью. Не только его поступкам, но даже его собственному «я» угрожала потеря столь лелеемого контроля и господства над своим бытием. Почему он был вынужден играть эту роль, которую ненавидел и над которой, как он знал, все смеялись, он понять не мог. Но

такая «шизофреническая» роль была единственным убежищем, которое он знал, от полного поглощения женщиной, находившейся внутри него и, как казалось, всегда стремившейся выйти наружу.

Таков тип личности, которую мы будем обсуждать на последующих страницах. Очевидно, что нельзя будет понять тип личности, самым «типичным» представителем которой является Дэвид, без более подробного рассмотрения такого вида шизоидной организации. В случае Дэвида нам пришлось бы описать подробно природу его собственного «я», отношение этого «я» к «личности», важность для Дэвида быть «застенчивым» и «ранимым», смысл его обдуманных и нарочитых олицетворений и путь, которым женская чуждая «личность» начинает вторгаться в его «личность» — явно автономно и бесконтрольно — и угрожать существованию даже его собственного «я».

Основная трещина проходит между тем, что Дэвид называл своим собственным «я», и тем, что он называл своей «личностью». Эта дихотомия встречается снова и снова. То, что индивидуум по-разному определяет как «собственное», «внутреннее», «истинное», настоящее «я», переживается как отделенное от всей деятельности, наблюдаемой другими, — того, что Дэвид называл своей «личностью». Для удобства такую «личность» можно назвать ложным «я» или системой ложного «я» индивидуума. Причина, по которой я предлагаю говорить о системе ложного «я», состоит в том, что «личность», ложное «я», маска, «фасад», личина или персона, которые могут носить подобные индивидуумы, состоят из смеси всевозможных частичных «я», ни одно из которых не развито столь полно, чтобы обладать своей собственной всесторонней «личностью». Близкое знакомство с подобной личностью открывает, что ее наблюдаемое поведение может объединять полностью обдуманные олицетворения наряду

различными вынужденными поступками. Очевидно, можно стать свидетелем не единственного ложного «я», но огром-ного количества лишь частично разработанных фрагментов того, что могло бы составить личность, если бы любой из них получил полную власть. Поэтому, кажется, лучше называть общность подобных элементов системой ложного «я» или системой ложных «я».

При такой шизоидной организации «я» обычно более или менее невоплощено. Оно переживается как ментальная сущность. Оно находится в состоянии, названном Кирке-гором «заколоченностью». Поступки индивидуума не ощущаются выражениями его «я». Его поступки — все то, что Дэвид называл своей «личностью» и что я предложил называть системой ложного «я», — становятся отделенными и частично автономными. Нет ощущения, что «я» участвует в делах ложного «я» или ложных «я», а их поступки ощущаются как все более ложные и тщетные. «Я», с другой стороны, заколачивается от всего на свете и считает себя истинным «я», а персону — ложным. Индивидуум жалуется на тщету, на недостаток спонтанности, но, возможно, он взращивает этот недостаток спонтанности и, таким образом, усугубляет свое ощущение тщетности. Он говорит, что он нереален и находится вне реальности, что он не совсем жив. Экзистенциально он совершенно прав. «Я» предельно знает само себя и наблюдает за ложным «я», как правило, весьма критично. С другой стороны, характерной чертой организации ложного «я», или персоны, является то, что в одном она обычно несовершенна, а именно в рефлективном знании. Но «я» может чувствовать себя в опасности со стороны всеобщего распространения системы ложного «я» или со стороны какой-то ее части (ср. ужас Дэвида от олицетворения женщин).

Индивидуум в таком положении неизменно до ужаса «застенчив» (см. главу 7) в том смысле, в каком это слово употребляется для обозначения прямо противоположного, а именно ощущения наблюдения себя другим*.

Такие изменения во взаимоотношениях между различ-

ными аспектами отношений личности к себе самой постоянно связаны с ее межличностными взаимоотношениями. Они сложны и никогда не бывают одними и теми же у

разных личностей.

Взаимоотношения индивидуума с «я» становятся псев-домежличностными, и «я» обращается с ложными «я», словно они являются другими людьми, которых оно депер-сонализирует. К примеру, Дэвид сослался на роль, которую играл и которая, как он обнаружил, вызывала неприязнь, сказав: «Оно имело злой язык». Теперь «я» изнутри смотрит на сказанные и сделанные ложные вещи и презирает говорящего и делающего, словно это кто-то другой. Во всем этом видится попытка создать взаимоотношения с личностями и вещами внутри индивидуума вообще без обращения за помощью к внешнему миру личностей и вещей. Индивидуум конструирует внутри себя микрокосм. Но, конечно же, этот аутистский, частный, интраиндиви-дуальный «мир» не является подходящим заменителем единственного мира, который реально существует. Если бы такой проект был осуществим, не было бы нужды в психозах.

Подобный шизоидный индивидуум в одном отношении пытается стать всемогущим, заключив внутри собственного бытия, без обращения к творческим взаимоотношениям с другими, образы взаимоотношений, требующие эффективного присутствия других людей и внешнего мира. Он хотел бы оказаться — нереальным, невозможным образом — для самого себя всеми личностями и вещами- Воображаемыми выгодами являются безопасность истинного «я», изолированность, а следовательно, свобода от других, самодостаточность и контроль.

*То есть состояния поставленного к стенке, а не находящегося за ней. В английском игра слов иная: слово «selfconscious» означает как «застенчивый», так и «осознающий самого себя». (Примеч. перев.)

Действительные же невыгодные стороны, которые можно здесь упомянуть, состоят в том, что такой проект невозможен и, будучи ложной надеждой, ведет к постоянному отчаянию; во-вторых, постоянное, преследующее ощущение тщетности равным образом является неизбежным результатом, поскольку сокрытое, заколоченное «я», при отрицании соучастия (разве что, как в случае Дэвида, при появлении в качестве еще одной персоны) с квазиавтономной деятельностью систем ложных «я», живет только «ментально». Более того, такое заколоченное «я», будучи изолированным, не способно обогащаться внешним опытом, и поэтому весь внутренний мир стремится все к большему и большему обнищанию, пока индивидуум не начинает ощущать себя просто вакуумом. Ощущение способности сделать что угодно и чувство владения всем существует тогда бок о бок с чувством бессилия и пустоты. Индивидуум, который мог одно время преимущественно «снаружи» ощущать протекающую там жизнь, которую он любил презирать как мелкую и банальную по сравнению с богатством, имеющимся у него здесь, внутри него самого, теперь жаждет вновь получить внутреннюю жизнь и получить жизнь внутри самого себя, настолько ужасна его внутренняя мертвенность.

Определяющей чертой шизоидного индивидуума такого типа, которую мы должны понять, является природа его тревог. Мы уже обрисовали некоторые из форм таких тревог под терминами «поглощение», «разрывание» и ужас потерять внутреннюю автономию и свободу, то есть быть превращенным из человека с субъективностью в вещь, механизм, камень — окаменеть.

Однако нам придется исследовать, как такие тревоги возникают при развитии шизоидной организации.

Когда «я» частично покидает тело и его действия, участвуя исключительно в ментальной деятельностью, оно переживает само себя как некую сущность, вероятно локализованную где-то в теле. Мы предположили, что такой уход отчасти является попыткой сохранить свое бытие, поскольку любые взаимоотношения с другими переживаются как угроза индивидуальности «я». Оно чувствует себя в безопасности, только когда скрыто и изолировано. Конечно, подобное «я» может изолироваться в любое время, неважно, присутствуют рядом другие люди или нет.

Но это не срабатывает.

Никто не ощущает себя более «ранимым», более открытым взгляду другой личности,

чем шизоидный индивидуум. Если он не очень остро ощущает видимость другими (не «застенчив»), то он временно избегает своих тревог, становясь явным с помощью того или иного из двух методов. Либо он превращает другую личность в вещь и деперсо-нализирует или объективирует собственные чувства по отношению к этой вещи, либо проявляет безразличие. Деперсонализация личности и (или) позиция безразличия тесно связаны, но не абсолютно тождественны. Деперсонализиро-ванной личностью можно воспользоваться, манипулировать и играть. Как мы утверждали выше (в главе 1), существенной чертой вещи в противоположность личности является то, что вещь не обладает собственной субъективностью и, следовательно, не может иметь соответственных интенций. При позиции безразличия с личностью или вещью обращаются бессердечно и небрежно, будто они абсолютно не волнуют, в конечном счете будто они не существуют. Личность без субъективности все еще может быть важна. Вещь все еще может волновать. Безразличие отрицает у личностей и вещей их значимость. Мы помним, что окаменение было одним из методов Персея при убийстве врагов. С помощью глаз в голове Медузы он превращал их в камень. Окаменение — один из способов убийства. Конечно, ощущение, что другая личность обращается с тобой или рассматривает тебя не как личность, а как вещь, само по себе не должно пугать, если человек достаточно уверен в собственном существовании. Таким образом, быть вещью в чьих-то глазах не представляет для «нормальной» личности катастрофической опасности, но для шизоидного индивидуума любая пара глаз есть глаза в голове Медузы, которые, по его ощущениям, обладают способностью убить или умертвить в нем нечто живое. Поэтому он пытается предвосхитить собственное окаменение, превращая в камень других. Делая это, он ощущает, что может достичь определенной степени безопасности.

Вообще говоря, шизоидный индивидуум не воздвигает оборонительных сооружений против потери части своего тела. Все его попытки сосредоточены скорее на сохранении своего «я». Это, как мы уже указывали, рискованное занятие: он подвержен боязни собственного исчезновения в «ничто», в том, что Вильям Блейк назвал «хаотичным небытием». Его автономии угрожает поглощение. Ему приходится охранять себя от потери субъективности и ощущения собственной жизни. Поскольку он ощущает себя пустым, полная, субстанциональная и живая реальность других является покушением на его права; она всегда способна выйти из-под контроля и стать взрывоопасной, угрожающей полностью сокрушить и уничтожить его «я», как газ уничтожает вакуум или поток воды заполняет пустую запруду. Шизоидный индивидуум боится живых, диалектических взаимоотношений с реальными, живыми людьми. Он может связывать себя лишь с деперсонализированными личностями, с фантомами собственных фантазий (имаго), вероятно, с вещами, вероятно, с животными.

Поэтому мы предполагаем, что описанное нами шизоидное состояние может быть понято как попытка сохранить некое ненадежно структурированное бытие. Позднее мы выдвинем предположение, что изначальная структурализа-ция бытия на основные элементы происходит в раннем детстве. При нормальном протекании она оказывается настолько стабильной в своих основных элементах (например, непрерывности времени, различении «я» и «не-я», фантазии и реальности), что впредь все это может считаться само собой разумеющимся: на таком стабильном основании может существовать значительное количество гибкости в том, что мы называем «характером» личности. С другой стороны, в структуре шизоидного характера наблюдаются ненадежность при закладывании фундамента и уравновешивающая ее жесткость надстройки.

Если все бытие индивидуума нельзя защитить, индивидуум оттягивает свои оборонительные линии до тех пор, пока не оказывается в главной цитадели. Он готов отдать все, чем он является, за исключением своего «я». Но трагический парадокс заключается в том, что чем сильнее защищается «я» таким образом, тем сильнее оно разрушается. Явное конечное разрушение и исчезновение таких «я» при шизофрении завершается не посредством внешних атак врага (настоящего или предполагаемого), не снаружи, а из-за

опустошения, вызванного самими внутренними оборонительными маневрами.

5. ВНУТРЕННЕЕ «Я» В ШИЗОИДНОМ СОСТОЯНИИ

Можно воздержаться от страданий сего мира: ты волен это сделать и это соответствует твоей природе, но, вероятно, именно такое воздержание является единственным страданием, которого ты способен избежать.

ФРАНЦ КАФКА

При описываемом здесь шизоидном состоянии существует постоянное разъединение «я» и тела. То, что индивидуум считает своим истинным «я», переживается как более или менее развоплощенное, а телесные переживания и действия, в свою очередь, ощущаются частью системы ложного «я».

Теперь необходимо рассмотреть два элемента в таком расщеплении более подробно, а также взаимоотношения человека с другими. Сперва мы рассмотрим ментальное, или невоплощенное, «я».

Хорошо известно, что состояние временного отделения «я» от тела переживают и нормальные люди. В основном можно сказать, что это является реакцией, доступной большинству людей, обнаруживающих себя заключенными в некое пугающее переживание, из которого не существует пути физического побега. Узники концентрационных лагерей пытались ощущать себя таким образом, поскольку лагерь не предполагает никакого возможного пути оттуда — как в пространственном смысле, так и в конце определенного промежутка времени. Единственным путем оттуда являлся психический уход в собственное «я» и выход из тела.

Данное разъединение характерным образом связано с такими мыслями, как «Это похоже на сон», «Это кажется нереальным», «Не могу поверить, что это правда», «Кажется, меня ничто не трогает», «Ничего не могу понять», «Это происходит не со мной», то есть с чувством отстраненности и дереализации. Тело может продолжать действовать внешне нормальным образом, но внутренне ощущается, что оно действует само по себе, автоматически.

Однако, несмотря на сновиденческую природу или нереальность переживания и автоматическую природу действий, «я» в то же самое время далеко не «спит»; на самом деле оно чрезвычайно бдительно и может думать и наблюдать с исключительной ясностью.

Временное отстранение «я» от тела может быть представлено сновидениями.

Одна девятнадцатилетняя девушка, у которой приближался день бракосочетания — брака, которого она начинала страшиться по всевозможным причинам, — видела во сне, что она сидит на заднем сиденье автомобиля, который едет сам по себе. Эта девушка, в сущности, не являлась шизоидной личностью, но отреагировала шизоидной защитой на

конкретную ситуацию,

Р. видел сон незадолго до начала лечения. Он стоял на подножке автобуса. Водителя в автобусе не было. Р. спрыгнул, а автобус разбился. Искушает посчитать сон, который он видел через четыре месяца после прохождения курса психотерапии, мерой какого-то изменения в желательном направлении. «Я бегу за автобусом. Внезапно я оказываюсь на подножке автобуса, но в то же самое время бегу за ним. Я пытаюсь присоединиться к самому себе в автобусе, но не могу догнать автобус. Это меня напугало».

Можно было бы привести множество примеров такого обычного переживания временного разъединения. Порой оно вызывается преднамеренно; чаще же это происходит без контроля индивидуума. Но у рассматриваемых здесь пациентов расщепление не является просто временной реакцией на специфическую ситуацию повышенной опасности, которая прекращается, когда опасность миновала. Наоборот, оно представляет собой основополагающую жизненную ориентацию, и если проследить историю жизни такого человека, то обычно можно обнаружить, что оно возникает, по сути, в первые месяцы жизни,

когда его действие уже проявляется. «Нормальный» индивидуум в ситуации, когда все угрожает его бытию и нет реального ощущения возможности побега, при попытках выбраться из нее развивает шизоидное состояние — если не физически, то на худой конец ментально. Он становится ментальным наблюдателем, смотрящим — отстраненно и бесстрастно, — что делает его тело или что делается с его телом. Если таково положение вещей у «нормального» человека, по крайней мере можно предположить, что индивидуум, чьим постоянным образом бытия-в-мире является подобное расщепление, живет в том, что представляется ему — а то и нам — миром, со всех сторон угрожающим его бытию, миром, из которого нет выхода. Для таких людей именно в этом суть дела. Для них мир является тюрьмой без решеток, концлагерем без колючей проволоки.

У параноика есть особые преследователи. Кто-то действует против него; Существует заговор с целью похитить его мозг. В стене его спальни спрятана некая машина, испускающая излучение, размягчающее мозг, или пропускающая через него во время сна электрические заряды. Личность, которую я описываю, ощущает на данной фазе, что ее преследует самое реальность. Мир — такой, какой он есть, другие люди — такие, какие они есть, представляют собой опасность.

Тогда «я» стремится развоплотиться, чтобы переступить пределы этого мира и, таким образом, оказаться в безопасности. Но «я» обязано двигаться за границы любого переживания и деятельности. Оно становится вакуумом. Все находится вовне, снаружи; здесь, внутри, нет ничего. Более того, постоянная боязнь всего сущего, страх быть погубленным скорее усиливается, а не уменьшается потребностью удерживать сей мир на дистанции. Однако, в то же самое время, «я» может стремиться больше, чем к чему-либо другому, к участию в делах этого мира. Таким образом, величайшее стремление ощущается как величайшая слабость, а уступать такой слабости — значит ощущать величайший ужас, поскольку при соучастии индивидуум боится того, что его вакуум будет сведен на нет, что он будет поглощен или как-то еще потеряет свою индивидуальность, которая равняется утверждению запредельности, трансцендентности «я», даже если за этим пределом находится

пустота.

Отстраненность «я» означает, что «я» никогда не проявляется непосредственно в эмоциях и действиях индивидуума, и к тому же оно ничего не переживает прямо или спонтанно. Взаимоотношения «я» с другим всегда дистан-цированы. Прямые, непосредственные взаимоотношения между индивидуумом, другим и миром, даже в таких основополагающих отношениях, как восприятие и действие, становятся бессмысленными, тщетными и ложными. Схематично можно представить иное положение дел как прямо противоположное.

Предметы, воспринимаемые «я», переживаются как реальные. Мысли и чувства, посредником которых является «я», жизненны и ощущаются как значимые. Действия, в которые вовлечено «я», ощущаются как подлинные.

Если индивидуум передает все взаимоотношения между собой и другим системе внутри своего бытия, которая не является «им», мир переживается как нереальный и все, принадлежащее этой системе, ощущается ложным, тщетным

и бессмысленным.

Каждый человек в определенной степени, в то или иное время подвержен подобным ощущениям суетности, бессмысленности и бесцельности всего сущего. Но в шизоидных индивидуумах такие настроения проявляются особо. Подобные настроения проистекают из того факта, что двери восприятия и (или) врата деяний находятся не во власти «я», а управляются ложным «я». Нереальность восприятия, ложность и бессмысленность любой деятельности являются обязательными следствиями восприятия и деятельности, находящихся во власти ложного «я» — системы, частично обособленной от истинного «я», которое поэтому исключается из непосредственного участия в отношениях индивидуума с другими личностями и миром. Так что в собственном бытии индивидуума переживается

некая псевдодуальность. Вместо индивидуальной встречи с миром посредством неотъемлемой самости он отрицает часть собственного бытия наряду с отрицанием прямой привязанности к вещам и людям в мире. Схематично это можно изобразить следующим образом:

Вместо ситуации

(«я»/тело) <-> другой существует ситуация

«я» <-> (тело-другой).

Поэтому «я» не позволяется установить непосредственные взаимоотношения с реальными вещами и реальными людьми. Когда подобное происходит у пациентов, становишься свидетелем борьбы за сохранение «я» ощущения собственной реальности, жизненности и индивидуальности. На первом рисунке показан доброкачественный круг. Реальность мира и «я» взаимно усиливаются благодаря непосредственным взаимоотношениям между «я» и другим. На рис. 2 представлен порочный круг. Любой элемент на этой схеме переживается как все более и более нереальный и мертвый. Любовь устраняется, и ее место занимает ужас. В итоге появляется переживание того, что все останавливается. Ничто не движется; нет ничего живого; все мертво, включая «я». Из-за своей обособленности «я» устраняется от полнокровного переживания реальности и жизни. То, что можно было назвать творческими взаимоотношениями с другим, при которых существует взаимное обогащение «я» и другого (доброкачественный круг), невозможно, а взаимодействие заменяется тем, что на вид работает какое-то время достаточно гладко, но не имеет в себе «жизни» (бесплодные взаимоотношения). Существует взаимодействие «квазивещь-вещь», а не взаимоотношение «Я — Ты». Такое взаимодействие является умертвляющим процессом.

Внутреннее «я» стремится жить с помощью определенных (явных) компенсирующих выгод. Подобное «я» лелеет определенные идеалы. То, что было отчетливо видно в школьнике Дэвиде, является внутренней честностью. В то время как любые обмены с другим могут стать чреваты притворством, двусмысленностью и лицемерием, индивидуум стремится достичь взаимоотношений с самим собой, которые до щепетильности являются откровенными, искренними и честными. Все что угодно может скрываться от других, но ничего не должно быть утаено от самого себя. При этом «я» предпринимает попытку стать «взаимоотношением, связывающим себя с собой»*, исключая все и вся. Здесь мы имеем зерна вторичного расщепления внутри «я». Бытие индивидуума становится расщелиной между истинным и ложным «я», истинное и ложное «я», как уже указывалось, теряют свою реальность, но к тому же они оба, в свою очередь, разбиваются на подсистемы внутри себя. Таким образом, во взаимоотношениях «я» с самим собой можно обнаружить вторичную дуальность, развивающуюся посредством того, что внутреннее «я» расщепляется для установления с самим собой садо-мазохистских взаимоотношений. Когда происходит подобное, внутреннее «я», являющееся, как мы предположили, в первую очередь средством привя-зывания к ненадежному ощущению индивидуальности, теряет даже то, с чего должна была начинаться индивидуальность. (Клинические иллюстрации см., в частности, в случае Розы — с. 159.)

Подмена взаимодействия с другим приводит в итоге к тому, что индивидуум начинает жить в пугающем мире, где ужас не ослабляется любовью. Индивидуум боится мира, он опасается, что любое столкновение будет тотальным, разрывающим, проникающим, раскалывающим и поглощающим. Он боится хоть в чем-то дать себе «волю», выйти из себя, потерять себя в каком угодно переживании и т. п., поскольку тогда будет исчерпан, истощен, опустошен, ограблен, иссушен.

*Эго фраза Киркегора из книги «Болезнь к смерти», использована здесь с абсолютно иными коннотадиями.

Поэтому изолирование «я» является следствием потребности находиться под контролем. Человек предпочитает скорее красть, чем быть отданным. Он предпочитает скорее отдавать, чем иметь что-либо, по его ощущениям, украденное у него, то есть ему

приходится контролировать все входящее в него и все покидающее его. Подобная система защиты, по нашему предположению, разрабатывается для того, чтобы скомпенсировать изначальный недостаток онтологической уверенности. Индивидууму, уверенному в собственном бытии, не требуется прибегать к подобным мерам. Однако попытки удержать трансцендентное «я» вдали от опасности и установить дистанционное управление непосредственным переживанием и действием приводит к нежелательным последствиям, которые могут намного перевесить явные цели, которые должны были быть достигнуты.

Поскольку «я» при установлении изолированности и обособленности не посвящает себя творческим взаимоотношениям с другим и занято фантазиями, размышлениями, воспоминаниями и т. п. (имаго), которые нельзя прямо наблюдать или прямо выражать другим (в некотором смысле), возможно все что угодно. Какие бы успехи или неудачи ни случались с системой ложного «я», «я» способно оставаться незадействованным и неопределимым. В фантазиях «я» может быть кем угодно, где угодно, делать что угодно и владеть всем. Таким образом, оно всесильно и совершенно свободно — но только в фантазиях. Если оно хоть раз посвятит себя какому-то реальному проекту, оно испытает муки унижения — необязательно из-за неудачи, но просто потому, что ему придется подвергнуть себя необходимости и случайности. Оно всесильно и свободно лишь в фантазиях. Чем больше позволено такого фантастического всесилия и свободы, тем более слабым, беспомощным и скованным оно становится в действительности. Иллюзия всесилия и свободы может удерживаться только внутри магического круга его собственной заколоченности в фантазиях. А для того чтобы такое положение не рассеялось из-за минимального вторжения реальности, фантазию и реальность необходимо держать порознь друг от друга.

действие, значимое Рис. 1

восприятие, нереальное

действие, тщетное Рис. 2

Очень хорошо описывает такое расщепление Сартр в своей книге «Психология воображения» [36]:

«…Мы можем различать в нас самих два разных „я“:

мнимое „я“ с его склонностями и желаниями — и реальное „я“. Существуют мнимые садисты и мазохисты — люди неистового воображения. В каждый момент наше мнимое „я“ раскалывается на мелкие осколки и исчезает при контакте с реальностью, уступая место реальному „я“. Ибо реальное и мнимое не могут сосуществовать по самой своей природе. Суть состоит в двух типах объектов, чувств и поступков, которые совершенно не сводимы одни к другим.

Следовательно, можно подумать, что индивидуумов нужно разбить на две большие категории в соответствии с тем, какую жизнь они предпочитают вести — мнимую или реальную. Но необходимо понять, что означает какое-либо предпочтение для мнимого. Суть вовсе не в предпочтении одного вида объектов другому. Например, мы не должны считать, что шизофреники и патологические мечтатели пытаются главным образом заместить нереальным, более соблазнительным и ярким содержанием реальное содержание жизни и стремятся забыть о нереальном характере своих образов, реагируя на них так, будто они являются действительно существующими объектами. Предпочтение мнимого означает не только предпочтение роскоши, красоты и мнимого богатства существующей посредственности несмотря на их нереальную природу. Это означает к тому же выбор „мнимых“ чувств и поступков ради их мнимой природы. Выбирается не просто тот или иной образ, но мнимое состояние вместе со всем, что оно подразумевает; это побег не просто от содержания реального (бедности, неразделенной любви, неудачи собственного предприятия и т. п.), но от формы самой по себе реальности, характера ее присутствия, своеобразного ответа, которого она требует от нас, приспособления наших поступков к объекту, неистощимости восприятия, независимости, самого пути, каким должны развиваться наши чувства».

Такой раскол между фантазией и реальностью является центральным для понятия аутизма у Минковского.

Но личность, которая не действует в реальности, а действует только в фантазиях, сама становится нереальной. Действительный «мир» для такой личности становится иссушенным и обедненным. «Реальность» физического мира и других личностей перестает использоваться в качестве пиши для творческих упражнений в воображении и, следовательно, начинает сама по себе обладать все меньшей и меньшей значимостью. Фантазия, не будучи либо в некоторой степени укоренена в реальности, либо обогащаема инъекциями «реальности», становится все более и более пустой и быстро улетучивающейся. То «я», чья связь с реальностью уже незначительна, становится все менее и менее реальным «я», а все более и более фантастическим по мере все большего и большего вовлечения в фантастические взаимоотношения с собственными фантомами (имаго).

Без открытой двусторонней цепи между фантазией и реальностью в фантазии, становится возможным все что угодно. Разрушение в фантазии продолжается без желания заняться компенсирующим исправлением, поскольку чувство вины, намекающее на сохранение и внесение поправок, теряет свою настоятельность. Разрушение в фантазии может неуправляемо свирепствовать таким образом, что мир и «я» — в фантазии — превратятся в прах. При шизофреническом состоянии мир стоит в руинах, а «я» (очевидно) мертво. По-видимому, никакого количества искренней деятельности не хватит, чтобы привнести жизнь обратно.

Таким образом, происходящее оказывает прямо противоположное желаемому воздействие. Реальные жабы вторгаются в воображаемые сады*, и призраки бродят по реальным улицам. Так, несколько по-иному, индивидуальность «я» вновь ставится под угрозу.

*Марианна Мур. «Собрание стихов»

Не совсем правильно говорить, что «я» связано только с самим собой. Необходимо ослабить это утверждение в одном отношении и усилить в другом. Мы уже ослабили данное утверждение, прояснив то, что мы говорим о прямых и непосредственных взаимоотношениях. Становятся важны именно такие прямые и непосредственные взаимоотношения с другим, и даже с теми сторонами собственного бытия личности, находящимися за пределами анклава «я».

К примеру, один пациент, внешне ведший сравнительно «нормальную» жизнь, но разработавший такой внутренний раскол, изначально пожаловался на тот факт, что никогда не мог заниматься любовью со своей женой, а только с собственным образом жены. То есть его тело имело физическую связь с ее телом, но его ментальное «я» в процессе этого могло лишь взирать на то, чем его тело занимается, и (или) воображать себя занимающимся любовью со своей женой как объектом воображения. Он объяснил виной за подверженность такому поведению то, что искал совета психиатра*.

Вот пример того, что я имею в виду, говоря, что фантазия и реальность держатся порознь друг от друга. «Я» избегает прямой связи с реальными людьми, а связывает себя с собой и с объектами, которые само постулирует. «Я» может связывать себя непосредственно с объектом, который является объектом его собственного воображения или воспоминаний, но не с реальной личностью. Конечно, это не всегда очевидно, даже для самого индивидуума, а еще меньше для какого-либо другого. Жена описанного выше пациента не знала, что он чувствует то, что «он» никогда не занимался любовью прямо с ней; он занимался любовью лишь с имаго, которое оказалось достаточно хорошо совпадающим с ней в действительности, поскольку никто, кроме него, не понимал этой разницы.

Одна из черт такой увертки состоит в том, что «я» способно наслаждаться ощущением свободы, которую оно боится потерять, если предастся реальности. Это приложимо как к восприятию, так и к действию. Данный пациент, как бы он ни был одинок в моменты величайшей физической близости, в любом случае, по своим ощущением, находился в безопасности: его разум оставался свободным, хотя такая свобода становилась чем-то, на что

он чувствовал себя обреченным.

*Замечания о чувстве вины, испытываемом Питером (глава 8), относятся к такой форме шизоидной вины, которая, по-моему, не была еще достаточно распознана.

Эквивалентный вопрос встает в отношении действия. Поступки индивидуума могут показаться, с точки зрения другой личности, недвусмысленными и заинтересованными, но он сам обнаруживает, что «он» совершает поступки, которые «он» не ощущает как выполняемые «реально». Так, описанный выше пациент сказал, что, хотя Кинзи мог говорить, что занимается любовью от двух до четырех раз в неделю уже в течение десяти лет, «он» понимал, что тот никогда не занимался любовью «реально». Переход от заявления такого типа к заявлению, сделанному психически больным миллионером, сказавшим, что у него «реально» нет денег, решительный, но тонкий. Как мы увидим в главе 10, переход, по-видимому, состоит в столь полной потере ощущения реальности в отчете Кинзи, что индивидуум выражает «экзистенциальную» истину о себе с такой же обыденностью, с которой мы описываем факты, которые можно единодушно обосновать в разделяемом с другими мире.

Данный пациент мог бы быть, например, психически ненормальным, если бы вместо того, чтобы говорить, что никогда не занимался любовью со своей женой «реально», настаивал бы на том, что жена, с которой он занимался любовью, не являлась его «реальной» женой. В некотором смысле это было бы совершенно верно: это было бы экзистенциально верно, поскольку в данном экзистенциальном смысле его «реальная» жена была скорее объектом его собственного воображения (фантомом или имаго), а не другим человеком, находящимся вместе с ним в постели.

Невоплощенное «я» шизоидного индивидуума не может реально на ком-нибудь жениться. Оно существует в постоянной изоляции. И однако, конечно же, такая изолированность и внутренняя незаинтересованность не существуют без самообмана.

Есть нечто окончательное и определенное в том акте, на который подобные личности смотрят с подозрением. Действие является тупиком вероятности. Он закупоривает свободу. Если его нельзя в конечном счете избежать, каждый поступок должен обладать настолько двусмысленной природой, чтобы «я» никогда не могло попасться в его ловушку.

Гегель говорит о действии так [2]:

«Действие есть нечто просто определенное, всеобщее, постигаемое в абстракции; действие есть убийство, кража или благодеяние, подвиг и т. д., и о нем можно сказать, что оно есть. Оно есть „это“, и его бытие есть не только знак, но сама суть дела. Оно есть „это“, и индивидуальный человек есть то, что есть оно; в простоте „этого“ бытия индивидуальный человек есть сущее для других, всеобщая сущность, и перестает быть только мнимой сущностью. Хотя он в этом установлен не как дух, но так как речь должна идти о его бытии как бытии и, с одной стороны, двойное бытие внешнего облика и действия противостоят друг другу, а то и другое должно быть его действительностью, то следует, напротив, в качестве его подлинного бытия утверждать только действие — не его лицо, которое должно было выражать то, что человек думает относительно своих действий, или то, что думали о том, что он только мог бы делать. Равным образом, так как, с другой стороны, противопоставляют друг другу его произведение и его внутреннюю возможность, способность или намерение, то лишь произведение следует считать его истинной действительностью, хотя бы он сам на этот счет обманывался и, возвратившись в себя из своих действий, мнил, будто в этом внутреннем он есть некоторое „иное“, чем на самом деле. Индивидуальность, которая вверяет себя предметной стихии, переходя в произведение, тем самым обрекает себя, конечно, на изменения и извращения. Но характер действия именно тем и определяется, будет ли оно действительным бытием, которое устоит, или оно будет только мнимым произведением, которое, будучи внутренне ничтожным, пропадает. Предметность не меняет самого действия, а только показывает, что оно есть, то есть есть ли оно, или не есть ли оно ничто».

Легко можно понять, почему шизоидный индивидуум так ненавидит действие, как это

охарактеризовано Гегелем.

Действие есть «просто определенное, всеобщее…». Но его «я» хочет быть сложным, неопределенным и уникальным. О действии «можно сказать, что оно есть». Но индивидуум никогда не должен быть тем, что можно о нем сказать. Он всегда должен оставаться непостижимым, уклончивым, трансцендентным. Действие «есть „это“, а индивидуальный человек есть то, что есть оно». Но индивидуум должен любой ценой никогда не быть тем, что есть действие. Если бы он стал тем; что есть действие, он оказался бы беспомощным и отданным во власть любому прохожему. «В простоте „этого“ бытия индивидуальный человек есть сущее для других», но это опять-таки именно то, чего он больше всего боится и чего стремится избежать, используя ложное «я» так, чтобы «он» никогда не был тем, чем он действительно является с другими. «Он», его «я» есть бесконечные возможности, способности или намерения. Действие всегда является действием ложного «я». Поступок или действие никогда не является его истинной реальностью. Он постоянно желает не вверять себя «предметной стихии» — следовательно, действие всегда является (или, по крайней мере, он так считает) мнимым произведением, и он, пока может, активно взращивает это «внутреннее» отрицание всего, что он делает, в попытке заявить, что все делаемое им «ничтожно», так чтобы в мире, в действительности, в «предметной стихии» ничего из «него» не существовало и не было оставлено ни следов, ни отпечатков пальцев «я». Таким образом, «я» выводит себя из «предметной стихии» в отношении как восприятия, так и действия. Не может быть спонтанного действия, так как не может быть спонтанного восприятия. А поскольку вверяемость себя действию избегается, восприятие ощущается как акт вверяемости, ставящий под угрозу свободу не быть ничем, чем обладает «я».

Покуда «я» «не вверяет себя предметной стихии», оно вольно мечтать и воображать все что угодно. Без ссылки на предметную стихию оно будет всем сущим для самого себя — оно обладает безусловной свободой, мощью и творческой способностью. Но его свобода и всесилие проявляются в вакууме, а его творческая способность есть лишь возможность создавать фантомы. Внутренние честность, свобода, всесилие и творческая способность, которые лелеет в качестве идеалов внутреннее «я», сводятся поэтому на нет сосуществующим мучительным ощущением собственной двойственности, недостатка какой-либо реальной свободы, крайних бессилия и бесплодности.

Здесь, конечно, я в первую очередь заинтересован проследить переход от шизоидного состояния к психозу, а не описывать присущие ему возможности, которые могут увести в других направлениях, но необходимо держать в уме, что вырождение и распад являются лишь одним итогом изначальной шизоидной организации. Совершенно ясно, что могут быть достигнуты и переживаться подлинные варианты свободы, мощи и творческой способности.

Многие шизоидные писатели и художники, сравнительно изолированные от других, преуспевают в установлении творческих взаимоотношений с вещами в этом мире, которые делаются для воплощения образов их фантазии. Но сейчас наш рассказ не о них. По ходу этого исследования я сосредотачивался только на одной линии развития, и обобщения, которые я делаю, намерены покрыть лишь эту ограниченную площадь.

Хотя «я» стоит на позиции свободы и всесилия, его отказ от вверяемости себя «предметной стихии» делает его бессильным: у него нет свободы в «реальности». Более того, даже в собственном анклаве, в своем обособлении оно постоянно подвержено (как оно чувствует) угрозе разрывающей и поглощающей «реальности», и в то время как оно занято самим собой и собственными объектами, оно по-прежнему очень остро осознает себя объектом в глазах других. Таким образом, парадоксальные затруднения шизоидного индивидуума усиливаются из-за особой природы шизоидной системы защиты, описанной нами.

Индивидуум, вероятно, всегда обладает выбором — подтверждать свою позицию обособления или попытаться участвовать в жизни. Однако шизоидная защита против «реальности» обладает тем серьезным недостатком, что она стремится увековечить и усилить изначальное угрожающее свойство реальности. Участие «я» в жизни возможно, но

только перед лицом сильной тревоги. Франц Кафка очень хорошо это знал, когда сказал, что только через свою тревогу он мог бы участвовать в жизни и по этой причине не лишился бы ее. Для шизоидного индивидуума прямое участие «в» жизни ощущается как постоянный риск быть уничтоженным жизнью, поскольку изолирование «я», как мы сказали, является попыткой сохранить себя при отсутствии твердого чувства автономии и целостности.

Поэтому «я» шизоида должно пониматься как попытка достичь вторичной безопасности от первичных угроз, встречающихся ему при его изначальной онтологической неуверенности. Одним из аспектов этой изначальной онтологической неуверенности, не так уж несвязанным с «я», является непрочность субъективного ощущения индивидуумом собственной жизненности и ощущение других, угрожающих этому эмпирическому чувству. Эта проблема будет более полно рассмотрена в главе «Самосознание».

При отсутствии спонтанных естественных и творческих взаимоотношений с миром, лишенных тревоги, внутреннее «я» развивает всеобщее ощущение внутреннего обнищания, выражаемое в жалобах на пустоту, мертвенность, холод, сухость, бессилие, одиночество и никчемность внутренней жизни. Например, один пациент жаловался на обнищание жизни воображения и эмоций. Он объяснил, что считает это следствием собственного решения отгородиться от реальности. В итоге, как он это выразил, он не получал никакой подпитки от реальности для обогащения собственного воображения.

Другой пациент колебался между моментами, когда он ощущал, будто его распирает от сил, и моментами, когда ощущал, что он безжизнен и внутри у него ничего нет. Однако даже его «маниакальное» ощущение себя заключалось в том, что он является сосудом с воздухом, находящимся под огромным давлением, но, по сути, не чем иным, как горячим воздухом, и с этой мыслью пришло к нему ощущение выпускание газа. Шизоидный индивидуум часто говорит о себе такими словами, которые феноменологически оправдываемы при разговоре о вакууме, которым ощущает себя «я».

Если пациент противопоставляет собственную внутреннюю пустоту, никчемность, холод, одиночество и сухость изобилию, ценности, теплоте и общению, которые он еще может считать где-то существующими (вера, которая зачастую вырастает до фантастически идеализированных пропорций, не скорректированных никаким непосредственным опытом), начинается сумбур конфликтующих эмоций от отчаянной тоски и стремления к тому, чем другие обладают, а он нет, до неистовой зависти и ненависти ко всему, что является их, а не его, или желания разрушить в мире всю доброту, свежесть и богатство. Такие чувства, в свою очередь, могут компенсироваться контрустановками на пренебрежение, презрение, отвращение или безразличие.

Такая пустота, такое ощущение внутренней нехватки богатства, субстанциальности и ценности, если они перевешивают его иллюзорное всесилие, являются мощным побудителем к установлению «контакта» с реальностью. Душа, или «я», вот так опустошенная и иссушенная, стремится к оплодотворению и оживлению, но стремится не просто к взаимоотношениям между разделенными бытиями, но к полному слиянию с другим.

Джеймс рассказывал о том, как, идя однажды летним вечером по парку и наблюдая за парами влюбленных, он внезапно начал ощущать колоссальное единение с целым миром, с небом, деревьями, цветами и травой — а также с влюбленными. Он в панике прибежал домой и погрузился в книги. Он сказал сам себе, что не имеет права на такое переживание, но, более того, его напугала угроза потери индивидуальности, вовлеченной в подобное слияние «я» с целым миром. Он не знал никакого состояния между радикальной изоляцией в самопогружении и полном растворении во всем сущем. Он боялся оказаться растворенным в Природе, поглощенным ею при необратимой потере своего «я». Однако то, что больше всего его страшило, больше всего к себе и притягивало. Бренная красота, как сказал Джерард Мэнли Хопкинс, опасна. Если бы подобные индивидуумы смогли принять его совет встретиться с ней, то, не говоря уж об остальном, все стало бы гораздо. проще. Но именно этого они не могут сделать.

Изобилие там притягивает в противоположность пустоте здесь. Однако соучастие без

потери бытия кажется невозможным, а к тому же недостаточным, так что индивидуум должен быть привязан к своей изоляции — к своей отделенности без спонтанной, прямой связи, — поскольку, поступая так, он привязан к своей индивидуальности. Он стремится к полному союзу. Но самого этого стремления он боится, поскольку это будет означать конец его «я». Он не желает взаимоотношений с обоюдным обогащением и обменом между двумя бытиями, «конгениальными» друг другу. Он не представляет себе диалектических взаимоотношений*.

Может же произойти так, что переживание потери собственной изолированной самости будет терпимым при определенных ограниченных ситуациях без чересчур больших тревог. Можно потерять себя, слушая музыку или при квазимистических переживаниях, когда «я» ощущает, что слито с неким «не-я», которое можно назвать «Богом», но необязательно. Однако стремление к побегу от скуки собственного общества сталкивается главным образом с двумя непреодолимыми препятствиями — с тревогой и с чувством вины из-за возникновения такого стремления. Уже было упомянуто в различных контекстах о тревоге, сопутствующей потере индивидуальности при поглощении. Конечно же, один из способов получить от кого-то желаемое, сохраняя контроль за процессом приобретения, это кража.

Именно на этой дилемме основываются шизоидные фантазии о воровстве и обворовывании. Если ты украл желаемое у другого, то контролируешь ситуацию; ты не находишься во власти подаренного. Но любая интенция мгновенно ощущается как обоюдоострая. Желание украсть порождает фобии быть обворованным. Фантазия, что получил все ценное, чем обладаешь, украв это, сопровождается контрфантазией, что все пенное, что имеют другие, было украдено у тебя (см. случай Розы в главе 9), и что все, что имеешь, будет в конце концов отобрано — не только то, что имеешь, но и то, чем являешься, собственное «я». Следовательно, обычные шизофреники жалуются на то, что «я» было украдено и на необходимость защиты от этой постоянной опасности.

*Платон постулирует, что дружба может существовать только между «конгениальными» бытиями. Однако обсуждение возможности дружбы в «Лисиде» упирается в дилемму: если два бытия ни в чем не «нуждаются», зачем им нуждаться в чем-то со стороны? Именно в этом центральном вопросе — самодостаточен ли он или в чем-то «нуждается»? — шизоидная личность вероятней всего терпит крах.

Окончательная печать на самозаключение «я» накладывается чувством собственной вины. У шизоидного индивидуума вина обладает тем же самым парадоксальным свойством, что встречалось в его всесилии и бессилии, его свободе и его рабстве, бытии его «я» кем-то в фантазии и ничем в реальности. По-видимому, существуют различные источники чувства вины внутри бытия индивидуума. В бытии, расколотом на разные «я», нужно понять, какое «я» ощущает вину по поводу чего. Другими словами, у шизоидного индивидуума нет и не может быть непротиворечивого, единого ощущения вины. В основном можно предположить, что одно ощущение вины проистекает из ложного «я», а другой источник находится во внутреннем «я». Однако, если мы назовем любую вину, которой способна обладать система ложного «я», ложной виной, нужно быть осторожным и избегать рассматривания внутреннего «я» как источника «подлинной», или истинной, вины.

Здесь я просто хочу подготовить почву для обсуждения этой проблемы в большом объеме на основе клинического материала (см. с. 138).

Если есть что-то, во что шизоидный индивидуум, похоже, верит, так это в собственную разрушительность. Он не способен поверить, что может заполнить собственную пустоту, не сведя то, что есть, на нет. Он считает собственную любовь и любовь других такой же разрушительной, как и ненависть. Любовь по отношению к нему пугает его «я»;

но его любовь равным образом опасна для кого угодно. Его изолирование происходит не целиком ради собственного «я». Оно также связано с заботой о других. Одна пациентка-шизофреничка не позволяла никому до нее дотрагиваться не потому, что ей причинят боль, а потому, что она могла бы убить их электрическим током. И это просто психоти-ческое выражение того, что шизоидный индивидуум ощущает ежедневно. Он

говорит: «Было бы нечестно по отношению к кому-либо, кого я мог бы, полюбить, любить этого человека». Тогда он может лишь уничтожить «у себя В уме» образ кого угодно (или чего угодно), кого (или что) с риском полюбить, из желания охранить другого человека (или вещь) в реальности от уничтожения. Тогда если нечего хотеть, нечему завидовать, то нечего любить, но существует ничто, сводимое на нет им самим. В качестве последнего средства он приступает к убиению своего «я», а это не так просто, как перерезать горло. Он бросается в вихрь небытия для того, чтобы избежать бытия, но к тому же сохранить бытие от самого себя.

6. СИСТЕМА ЛОЖНОГО «Я»*

Внутреннее «я» занимается фантазиями и наблюдением. Оно наблюдает за процессами восприятия и действиями. Переживание не сталкивается непосредственно с этим «я» (или, во всяком случае, такова интенция), и поступки индивидуума не являются его самовыражением. Прямые взаимоотношения с миром являются сферой деятельности системы ложного «я». Теперь мы должны изучить характерные черты этой системы.

Необходимо уяснить, что данное ниже описание системы ложного «я» стремится быть особо связанным с обсуждаемой проблемой конкретного шизоидного образа бытия в мире. Каждый человек лично включает в себя то, что (неважно, до какой степени и так ли это вообще) он «верен своей истинной природе». В клинической практике, например, истеричная или гипоманиакальная личность обладает своими собственными способами не быть самое собой. Описываемая здесь система ложного «я» существует как дополнение внутреннего «я», занимающегося утверждением своей индивидуальности и свободы с помощью трансцендентирова-ния, невоплощения, и, таким образом, его никогда нельзя ухватить, поймать, указать точно. Его цель — стать чистым субъектом без какой-либо объективной экзистенции. Таким образом, за исключением определенных безопасных моментов, индивидуум стремится рассматривать цельность своей объективной экзистенции как выражение ложного «я». Конечно, как уже указывалось и как более подробно будет продемонстрировано дальше, устанавливаемой сочетанием иидивидуальности-для-других и индивидуальности-для-себя, если он не существует объективно так же, как и субъективно, но имеет только субъективную индивидуальность, индивидуальность-для-себя, он не может быть реальным.

*Ложное «я» является одним из способов не быть самим собой. Ниже перечислены несколько наиболее важных исследований в экзистенциалистской традиции, относящихся к понимаю ложного «я» как одного из способов неподлинной жизни: Киркегор. «Болезнь к смерти»; Хайдеггер. «Бытие и время»; обсуждение Сартром «дурной веры» в книге «Бытие и ничто»; Бинсвангер. «Два вида неудавшегося бытия» и «Случай Эллен Вест»; Ролан Кюн. «Феноменология маски».

В психоаналитической традиции существуют следующие работы, посвященные данной теме: Дойч. «Некоторые формы эмоциональных расстройств и их отношение к шизофрении»; Фэрберн. «Психоаналитические исследования личности»; Гантрип. «Исследование Фэрберном теории шизоидных реакций»; Уинникотт. «Собрание статей»; Вольберг. «„Пограничный“ пациент»; работа Вольфа в книге «Шизофрения в психоаналитической врачебной практике».

«Человек без маски» в самом деле встречается весьма редко. Можно даже засомневаться в возможности существования подобного человека. Каждый в какой-то мере носит маску, и существует множество вещей, в которых мы не раскрываем себя полностью. В «обычной» жизни, по-види-мому, едва ли может быть иначе.

Однако ложное «я» шизоидного индивидуума отличается в некоторых важных отношениях от маски, носимой «нормальной» личностью, и к тому же от ложного фасада, устанавливаемого истериком. Мы избежим путаницы, если кратко разграничим эти три формы ложного «я».

У «нормального» человека большая часть его действий может быть фактически машинальной. Однако такие области фактически машинального поведения не обязательно вторгаются в каждый аспект всего, что он делает, они не абсолютно мешают появлению спонтанного выражения, и они не столь полно «идут наперекор естественной склонности», чтобы индивидуум активно стремился отвергнуть их как чуждые тела, укоренившиеся в его характере. Более того, они не предполагают своей собственной принудительной автономии, так чтобы индивидуум ощущал, что они «живые» или скорее убивают его, а не он живет ими. В любом случае вопрос не встает с такой болезненной силой, чтобы человек должен был атаковать и разрушать эту инородную реальность внутри себя, будто она обладает почти отдельным (личным) существованием. Однако в противоположность этому такие черты, отсутствующие в «нормальной», присутствуют во многом в шизоидной системе ложного «я».

Истерик, как правило, отделяет себя от многого, что он делает. Лучшее описание такого метода уклонения в действии, которое я знаю, содержится в главе о «дурной вере» в книге Сартра «Бытие и ничто», где он дае1 блестящий феноменологический отчет о способах притво-ряться самому себе, что тебя нет «в» том, что делаешь, — это форма уклонения от полного личного вовлечения в собственные действия, которую истеричный характер создает в качестве всего образа жизни. Конечно же, понятие «дурной веры» у Сартра гораздо шире, чем это.

Истерик стремится достичь удовольствия через свои действия, значимость которых он отрицает. Действия истерика дают ему «выгоду» при получении наслаждения от либидозных и (или) агрессивных желаний, направленных на других людей, в значимости которых признаться себе он не может. Отсюда проистекает прекрасное безразличие, непреднамеренное обособление от вовлеченности в то, что он говорит или делает. Видно, что такое положение весьма отлично от раскола в бытии шизоидного индивидуума. Его ложное «я» не служит средством для осуществления «я» или доставления ему удовольствия. У шизоидного индивидуума «я» может оставаться голодным и алчущим в самом примитивном смысле слова, в то время как ложное «я» может быть явно генитально приспособленным. Однако действия ложного «я» не «доставляют удовольствия» внутреннему «я».

Истерик притворяется, что определенные действия, доставляющие большое удовольствие, лишь притворство, или ничего не значат, или не обладают особым смыслом, или что он просто делает то-то и то-то, поскольку его вынуждают, тогда как втайне его собственные желания были осуществлены благодаря и посредством этих самых действий. Ложное «я» шизоидной личности принуждено угождать воле других, оно отчасти автономно и не находится под контролем, оно ощущается как чуждое; нереальность, бессмысленность, бесцельность, пронизывающие его восприятие, мысли, чувства и действия, всеобщая мертвенность не просто являются продуктами вторичной защиты, но представляют собой прямые следствия основополагающей динамической структуры бытия индивидуума.

Например, один пациент вспоминал, что в школе обожал математику, но презирал литературу. В школе ставили «Двенадцатую ночь», и мальчики должны были написать сочинение на эту тему. В то время он ощущал, что ненавидит пьесу, но написал о ней прекрасное сочинение, вообразив, чего ожидают от него учителя, и рабски придерживаясь этого. Его сочинение получило награду. «В нем ни единое слово не являлось выражением того, что я чувствовал. Оно было тем, чего, по моим ощущениям, от меня ожидали». Или так он думал в то время. В сущности, как он признался себе позднее, он действительно наслаждался пьесой и действительно ощущал то, что описал в сочинении. Но не смел признаться себе в такой возможности, поскольку это бы ввергло его в неистовый конфликт со всеми ценностями, которые ему прививали, и полностью разрушило его собственное представление о себе самом. Однако это невротический, а не шизоидный случай. Этот пациент продолжал другими способами делать то, чего втайне хотел, в то же время убеждая себя, что делает лишь то, чего хотят другие люди. Таким способом он преуспел в доведении

до конца своих желаний, хотя все время имел затруднения с признанием себе в этом. Поэтому невротик может притворяться, что обладает системой ложного «я», поверхностно напоминающей шизоидную, но при ближайшем рассмотрении мы видим, что, в сущности, обстоятельства сильно отличаются.

Истерик зачастую начинает с притворства, что его нет в его действиях, в то же время реально актуализируя себя посредством них. Если его пугает такое прозрение перед лицом чересчур сильного чувства вины, его действия затормаживаются, к примеру, он развивает «истерический» паралич, препятствующий выполниться вызывающим вину

действиям.

В частности, явные примеры шизоидных ложных «я» можно увидеть в случаях Джеймса (с. 147), Дэвида (с. 65) и Питера (см. главу 8).

В любой личности система ложного «я» всегда очень сложна и содержит в себе множество противоречий. Мы попытаемся в данной главе сделать утверждения, которые приложимы в целом, но, поступая так, мы должны выстроить картину, рассматривая поочередно один компонент этой системы за другим.

Джеймс, как вы помните, сказал, что он не является личностью в своем праве. В своем поведении он позволял себе становиться «вещью» для других людей. Он ощущал, что его мать никогда не признавала его существования. Полагаю, можно заявить, что вполне можно признать существование другой личности в магазине «Вулворт», но совершенно очевидно, что он не это имел в виду. Он ощущал, что она никогда не признавала его свободы и права иметь собственную субъективную жизнь, из которой появлялись бы действия как выражение его собственного автономного и неотъемлемого бытия. Он же, наоборот, являлся просто ее куклой. «Я был просто символом ее реальности». И в итоге он развил свою субъективность внутренне, не смея предоставить ее какому-либо объективному выражению. В его случае такой отказ был не полным, поскольку он мог выражать свое истинное «я» очень ясно и убедительно словами. Он это знал: «Я могу только издавать звуки». Однако едва ли было что-то еще, что делал «он», ибо все его остальные поступки руководились не его волей, но чужой, образовавшейся внутри его собственного бытия; это было отражение инородной реальности воли его матери, действующей теперь из источника внутри его бытия. Конечно, другим впервые всегда является мать, то есть «относящимся по-матерински». Действия такого ложного «я» не обязательно являются имитацией и копией другого, хотя его действия во многом могут становиться олицетворением или карикатурой других личностей. Компонент, который мы хотим выделить в данный момент, — это изначальное угождение намерениям другой личности или ее ожиданиям или тому, что ощущается как намерения или ожидания другой личности. Это обычно ответственно за излишек в человеке «хорошего», за то, что он никогда не делает то, чего ему не велят, никогда не создает «неприятностей», никогда не утверждает и даже не выказывает собственной контрволи. Однако все хорошее делается не из какого-то позитивного желания со стороны индивидуума делать то, что, по словам других, хорошо, а из негативного приспособленчества к стандарту, являющемуся стандартом другого, а не его собственным, и побуждается боязнью того, что может произойти, если он в действительности станет самим собой. Поэтому такое угождение отчасти является выказыванием истинных возможностей человека, но это также и метод сокрытия и сохранения собственных истинных возможностей, которые, однако, рискуют никогда не быть переведенными в актуальность, раз они всецело сосредоточены во внутреннем «я», для которого все возможно в воображении, но ничего не возможно в действительности.

Мы сказали, что ложное «я» возникает при угождении намерениям или ожиданиям другого или тому, что воображается как намерения или ожидания другого. Это не обязательно означает, что ложное «я» до абсурдного хорошее. Оно может быть абсурдно плохим. Существенная черта компонента угождения в ложном «я» выражена в заявлении Джеймса о том, что он являлся «реакцией на то, что другие люди говорят о нем». Она состоит в действиях согласно определению другими людьми того, кем он является, вместо

перевода в действие собственного определения того, кем или чем он хочет быть. Она состоит в становлении тем, кем другая личность хочет или ожидает, чтобы ты стал, будучи собственным «я» лишь в воображении или в играх перед зеркалом. Поэтому, приспосабливаясь к тому, что он воспринимает или воображает как вещь в глазах другой личности, ложное «я» становится этой вещью. Такая вещь может быть фальшивым грешником точно так же, как и фальшивым святым. Однако у шизоидной личности все ее бытие приспосабливается и угождает совсем не так. Основополагающий раскол в ее бытии проходит по линии расщепления между внешней угодливостью и внутренним отходом от угодливости.

Яго притворялся тем, кем он не был, и на самом деле трагедия «Отелло» в целом о том, что означает «казаться одним, а быть другим». Но мы не находим ни в этой пьесе, ни где-то в другом месте у Шекспира решения дилеммы кажимости и бытия, проживаемых тем типом личности, на котором мы здесь сосредоточились. Герои Шекспира «кажутся» для того, чтобы достичь собственных целей. Шизоидный же индивидуум «кажется» потому, что он боится не показаться достигающим того, что в его воображении является целью, которую для него кто-то другой держит в уме. Только в негативном смысле он достигает собственной цели, поскольку такая внешняя угодливость в большой мере есть попытка сохранить себя от полного уничтожения. Но он может «рассердить самого себя», нападая на собственную угодливость (см. ниже с. 102).

Наблюдаемое поведение, являющееся выражением ложного «я», зачастую совершенно нормально. Мы видим образцового ребенка, идеального супруга, трудолюбивого служащего. Однако фасад обычно становится более или менее стереотипным, а в стереотипах развиваются причудливые черты. Опять-таки существует множество черт характера, которые можно проследить лишь поодиночке.

Одним из аспектов угодливости ложного «я», который наиболее явствен, является страх, подразумеваемый такой угодливостью. Страх здесь очевиден, ибо почему еще будет действовать кто-либо в соответствии не со своими намерениями, а с чужими? Также обязательно присутствует ненависть, ибо какой еще существует адекватный предмет для ненависти, как не то, что угрожает собственному «я»? Однако тревога, которой подвержено «я», препятствует возможности прямого раскрытия его ненависти, за исключением, как мы увидим дальше, случаев психоза. В самом деле, называемое психозом порой является просто снятием завесы с ложного «я», которая служила для установления внешней нормальности поведения, которому, возможно, много лет назад не удалось стать отражением состояния дел в тайном «я». Тут «я» изольет обвинения в гонениях на того человека, которому годами угождало ложное «я».

Индивидуум заявит, что этот человек (мать, отец, муж, жена) пытались его убить; или что он или она пытались украсть его «душу» или разум. Что он (она) есть тиран, мучитель, палач, детоубийца и т. п. Для наших целей гораздо важнее распознать тот смысл, при котором такие «заблуждения» истинны, а не рассматривать их как абсурдные.

Однако подобная ненависть проявляется еще одним образом, который вполне совместим с душевным здоровьем. У ложного «я» существует склонность предполагать все больше и больше характеристик личности или личностей, на которых основывается его угодливость. Подобное предположение относительно черт характера другой личности может стать ответственно за почти полное олицетворение другого. Ненависть к олицетворению становится очевидна, когда олицетворение начинает превращаться в карикатуру.

Олицетворение другого ложным «я» не совсем то же самое, что и его угождение воле другого, поскольку оно может быть прямо противоположно воле другого. Олицетворение может быть обдуманным, как в случае ролей, разыгранных Дэвидом. Но, что было и в случае Дэвида, олицетворение может быть вынужденным. Индивидуум может не осознавать той степени, до которой его действия являются олицетворением кого-то другого. Олицетворение может взять относительно постоянную и непрерывную природу, а может быть временным. В конце концов, разыгрываемая личность может взять больше от образа фантазии, чем от

действительного человека, точно так же, как угождение может быть угождением образу фантазии гораздо больше, чем реальному человеку.

Олицетворение является формой отождествления, при которой часть индивидуума предполагает свою тождественность личности, которой он не является. При олицетворении не обязательно подразумевается весь исполнитель роли. Обычно это неполное отождествление, ограниченное восприятием характерных черт поведения другой личности:

жестов, манер, выразительных средств — в основном, облика и поступков. Олицетворение может быть одним из компонентов в гораздо более полном отождествлении с другим, но одной из его функций, по-видимому, является предотвращение более широкого отождествления с другим (откуда и проистекает более полная потеря собственной индивидуальности).

Если сослаться опять на Дэвида, то его поступки с начала жизни были почти полными угождением и приспособлением к действительным желаниям и ожиданиям родителей, то есть он был совершенный, образцовый ребенок,

никогда не создававший неприятностей. Я стал считать подобное описание ранних истоков поведения особо зловещим, когда родители не ощущают в нем ничего неладного, а, наоборот, рассказывают об этом с очевидной гордостью.

Вслед за смертью матери, когда ему было десять лет, он начал выказывать обширное отождествление с ней: он одевался перед зеркалом в ее платья и поддерживал в доме отца такой же порядок, как и она, вплоть до штопанья его носков, вязания, шитья, вышивания, подбора штор и обивки для стульев. Хотя это совершенно очевидно для стороннего наблюдателя, ни пациенту, ни его отцу не было ясно, до какой степени он стал своей матерью. К тому же понятно, что, поступая так, юноша угождал воле отца, которая никогда не выражалась прямо и о существовании которой отцу было совершенно неизвестно. Ложное «я» этого школьника стало уже очень сложной системой, когда ему исполнилось четырнадцать лет. Ему было неизвестно о степени отождествления с матерью, но было известно о вынужденной склонности действовать по-женски и затруднениях при стряхивании с себя роли леди Макбет.

Дня сохранения себя от впадения в ту или иную женскую персону он стал обдуманно взращивать другие. Хотя он очень старался выдержать олицетворение нормального школьника, которого бы любили люди (что является простым идеалом угождающего ложного «я»), его ложное «я» теперь было целой системой персон; некоторых «возможных» с общественной точки зрения, других нет, одних вынужденных, других обдуманно разработанных. Но сверх всего этого для олицетворения характера устойчивая тенденция вызывать затруднения при его выдерживании без вторжения некоего тревожащего элемента.

В общем, в изначальный образ полной нормальности и приспособленности вкрадывается определенная странность, определенная вынужденная чрезмерность в неожиданных направлениях, что превращает его в карикатуру и вызывает у других определенное беспокойство и неловкость, даже

ненависть.

Например, в каких-то отношениях Джеймс «пошел в» отца. Тот имел обыкновение спрашивать у людей за столом, достаточно ли им положили, и заставлять их брать еще, даже когда они ясно говорили, что им достаточно. Джеймс в этом отношении «пошел в» отца: он всегда вежливо спрашивал об этом у гостей за столом. Сперва это казалось не более чем великодушной заботой о других. Но его допросы затем стали назойливы и вышли за все допустимые рамки, так что он всем надоедал и вызывал всеобщее смущение. Здесь он принял на себя то, что, по его ощущениям, было агрессивным подтекстом действий отца, проявлял этот подтекст, преувеличив его при своем переложении, ко всеобщему раздражению и насмешкам. В сущности, он вызывал у других чувства, которые испытывал к своему отцу, но был не способен высказать их прямо ему в лицо. Вместо этого он создал то, что было равнозначно сатирическому комментарию своего отца, посредством вынужденной карикатуры на него.

У большей части эксцентричности и странности шизоидного поведения именно такая основа. Индивидуум начинает с рабского приспособленчества и угодливости, а заканчивает посредством этого же самого приспособленчества и угодливости, выражая собственную негативную волю и

ненависть.

Угождение воле других у системы ложного «я» достигает своей крайней степени при автоматическом повиновении, эхопраксии, эхолалии и flexibilitas cerea кататоника. Здесь повиновение, подражание и копирование доводятся до такой чрезмерности, что демонстрируемая гротескная пародия становится скрытым обвинением, выдвигаемым манипулирующему врачу. Гебефреник часто высмеивает и передразнивает людей, которых он ненавидит и боится, так как предпочитает такой единственно доступный способ нападения на них. Это может стать одной из тайных шуток пациента.

Наиболее ненавистные стороны личности, являющейся объектом отождествления, выдвигаются вперед, подверженные насмешке, презрению или ненависти посредством олицетворения. Отождествление Дэвида с матерью превратилось в вынужденное олицетворение порочной королевы.

Внутреннее, тайное «я» ненавидит характерные черты ложного «я». Оно также боится их, поскольку принятие чуждой индивидуальности всегда переживается как угроза своей собственной. Оно боится поглощения расширенным отождествлением. В какой-то степени система ложного «я», по-видимому, действует аналогично ретикулоэндотелиальной системе, огораживающей и обволакивающей вторгающиеся опасные инородные вещества и, таким образом, не дающей этим чуждым захватчикам распространяться по телу. Но если подобное является защитной функцией, она должна оцениваться как неудачная. Внутреннее «я» не более истинно, чем внешнее. Внутреннее, тайное «я» Дэвида превратилось в контролирующее и манипулирующее средство, которое использовало ложное «я» во многом как куклу, которой он, по своим ощущениям, являлся для матери. То есть тень матери легла как на его внутреннее «я», так и на внешнее.

Поучительный аспект этой проблемы иллюстрирует случай, произошедший с двадцатилетней девушкой, которая жаловалась на свою «застенчивость» по причине безобразного лица. На кожу она накладывала слой белой пудры, а на губы — ярко-красную помаду, придавая лицу если уж не безобразный облик, то по крайней мере пугающе неприятный, клоунский, маскоподобный, что решительно не шло на пользу чертам ее лица. В уме она делала это, чтобы скрыть, насколько безобразна она под толстым слоем косметики. При дальнейшем исследовании стало очевидно, что установка девушки по отношению к своему лицу содержала ядро центрального вопроса ее жизни — ее взаимоотношений с матерью.

Она имела пристрастие тщательно рассматривать свое лицо в зеркале. Однажды ей на ум пришло, как ненавистно она выглядит. В течение многих лет в глубине ее разума таилась мысль, что у нее лицо матери. Слово «ненавистно» чревато двусмысленностью. Она ненавидела лицо, которое видела в зеркале (материнское). Она к тому же видела, насколько наполнено ненавистью к ней лицо, которое смотрело на нее из зеркала; она, смотрящая в зеркало, отождествлялась с матерью. В этом отношении она была своей матерью, видящей ненависть на лице дочери, то есть глазами матери она видела ненависть к матери на лице в зеркале и смотрела с ненавистью на материнскую ненависть

к себе.

Ее взаимоотношения с матерью заключались в излишней

опеке со стороны матери и излишней зависимости и угодливости с ее стороны. В реальности она не могла вынести ненависти к матери, да и не могла позволить себе допустить существование ненависти к себе у матери. Все, что не могло найти прямого выражения и открытого признания, сконденсировалось в ее теперешнем симптоме. Главный подтекст, по-видимому, состоял в том, что она видела, что ее истинное лицо ненавистно (или ненавидяще). Она ненавидела его за сходство с материнским. Она боялась увиденного.

Покрывая лицо косметикой, она как маскировала собственную ненависть, так и совершала суррогатное нападение на материнское лицо. Сходный принцип действовал всю ее остальную жизнь. В ней нормальные для ребенка послушание и вежливость не только превратились в пассивную покорность любому желанию матери, но и стали полным стиранием ее самой и продолжали становиться пародией на все, что ее мать могла сознательно желать от дочери. Она превратила угодливость в средство нападения и показывала всем такую травестию своего истинного «я», которая была как гротескной карикатурой на ее мать, так и передразниванием «безобразного» варианта собственного

послушания.

Таким образом, ненависть к другой личности сосредотачивается на ее чертах, которые индивидуум выстроил в собственном бытии, и в то же самое время, однако, временное или длительное принятие личности другого является способом не быть самим собой, который, как кажется, предлагает безопасность. Под мантией личности кого-то другого человек может действовать гораздо более умело, гладко, «надежно» — используя выражение г-жи Д.,-и индивидуум может предпочесть скорее заплатить цену подверженности преследующему ощущению тщетности, обязательно сопутствующему небытию самим собой, чем рисковать откровенным переживанием беспомощного испуга и смущения, что станут неизбежным началом бытия самим собой. Система ложного «я» стремится стать все более и более мертвой. Некоторые люди ощущают себя так, будто они превратили свою жизнь в робота, который сделал себя (явно) необходимым.

Кроме более или менее постоянной «личности», показываемой системой ложного «я», возможна, как уже упоминалось, жертва бесконечным временным отождествлениям меньшего размера. Индивидуум внезапно обнаруживает, что приобрел манеры, жесты, обороты речи, интонацию голоса, которые не являются «его», но принадлежат кому-то другому. Зачастую это манеры, которые он, в частности, сознательно не любит. Временное использование небольших фрагментов поведения других людей не является исключительно шизоидной проблемой, но это происходит с характерной настойчивостью и принудительностью на основе шизоидной системы ложного «я». Все поведение некоторых шизофреников едва ли является чем-то иным, как не мешаниной странностей других людей, сделанных еще более странными несоответствием обстановки, в которой они воспроизводятся. Следующий пример рассказывает о совершенно «нормальной» личности.

Одна студентка по фамилии Макаллум развила весьма двусмысленные чувства к преподавателю по фамилии Адаме. Однажды она, к своему ужасу, обнаружила, что подписалась фамилией «Макадаме». «От отвращения я могла бы отрубить себе руку».

Подобные осколки других, по-видимому, внедряются в поведение индивидуума, как куски шрапнели — в тело. Устанавливая явно удачные и гладкие взаимоотношения с внешним миром, индивидуум вечно перебирает эти инородные обломки, которые (как он это переживает) необъяснимым образом вытеснены из него. Такие поведенческие осколки очень часто наполняют субъекта отвращением и ужасом, как и в случае этой студентки, они ненавистны и подвергаются нападениям. «Я могла бы отрубить себе руку». Но конечно же, такой разрушительный импульс, в сущности, направлен против ее собственной руки. Такой небольшой «интроецированный» осколок действия или его час-типу нельзя атаковать без насилия над собственным бытием субъекта. (Джин стерла собственные черты лица, нападая на свою мать-в-ее-лице.)

Если все поведение индивидуума начинает принудительно отчуждаться от тайного «я» так, что полностью отдается принудительной мимикрии, олицетворению, пародированию и подобньм временным инородньм организациям поведения, то он может попытаться лишить себя всего своего поведения. Такова одна из форм кататонического ухода. Происходит так, будто человек пытается вылечить общее заражение кожи, сбрасывая собственную кожу. Поскольку это невозможно, шизофреник может взять и сорвать, если можно так выразиться, свою поведенческую кожу.

7. САМОСОЗНАНИЕ*

Самосознание, как обычно употребляется этот термин, подразумевает две вещи: осознание себя самим собой и осознание себя как объекта наблюдения кого-то другого.

Две эти формы осознания «я» — как объекта в собственных глазах и как объекта в глазах другого — тесно связаны друг с другом. У шизоидного индивидуума обе они преувеличены и обе предполагают в чем-то принудительную природу. Шизоидный индивидуум часто мучим принудительной природой своего осознания собственных процессов и к тому же в равной мере принудительной природой ощущения своего тела как объекта в мире других. Повышенное ощущение того, что ты всегда видим, или, во всяком случае, всегда потенциально видим, можно в принципе отнести к телу, но озабоченность тем, что тебя могут видеть, может слиться с идеей проницаемости ментального «я» и его ранимости, когда индивидуум чувствует, что можно заглянуть сквозь него в его «разум» или «душу». О подобных чувствах «зеркального стекла» обычно говорится с точки зрения метафоры или сравнения, но при психотических условиях пристальный взгляд другого может переживаться как действительное проникновение в сердцевину внутреннего «я».

*См. прим. к с. 71.

Повышение, или усиление, осознания собственного бытия — как объекта собственного знания, так и знания других — практически универсально для подростков и сопровождается робостью, покраснением и общим смущением. Легко привлечь какой-нибудь вариант «чувства вины», ответственный за подобную неловкость. Но предположение, скажем, что индивидуум застенчив, «потому что» у него есть тайны, в которых нужно повиниться (например, мастурбация), не уведет нас далеко. Большинство подростков мастурбируют и обычно боятся, что это как-то проявится на их лицах. Но почему, если «вина» является ключом к данному феномену, она обладает такими особыми последствиями, а не другими, поскольку существует множество способов ощутить вину, и повышенное ощущение себя как смущенного или смехотворного объекта в глазах других — не единственный способ. «Вина» сама по себе помочь нам здесь не способна. Множество людей с глубоким и сокрушающим чувством вины не ощущают себя ненадлежаще застенчивыми. Более того, например, можно соврать и почувствовать вину за это, не будучи напуганным, что эта ложь проявится на лице или ты ослепнешь. На самом деле, для ребенка важное достижение — обрести уверенность в том, что у взрослых нет способов узнать, что он делает, если они его не видят; что они могут не более чем догадываться, о чем он думает, если он им этого не говорит;

что поступки, которых никто не видит, и мысли, которые он «держал при себе», никоим образом недоступны другим, если только он сам «не выдаст секрет». Ребенок, который не может хранить тайну или не может врать из-за сохранения подобных примитивных, магических страхов, не установил еще в полной мере автономию и индивидуальность. Без сомнения, в большинстве случаев можно найти множество доводов против вранья, но неспособность сделать это не является самым лучшим.

Застенчивый человек чувствует, что он является предметом интереса других людей больше, чем он, в сущности, заслуживает. Подобный человек, идя по улице, приближается к очереди в кинотеатр. Ему придется «собрать всю волю в кулак», чтобы пройти мимо; предпочтительно же он перейдет на другую сторону улицы. Тяжелое испытание — зайти в ресторан и самому сесть за столик. Во время танцев он подождет, пока не затанцуют две или три пары, а уж потом осмелится выйти сам и т. д.

Достаточно любопытно, что люди, страдающие от сильной тревоги во время выступлений перед публикой, в основном не обязательно «застенчивы», а люди, которые обычно крайне застенчивы, могут оставить свою вынужденную озабоченность, когда выступают перед другими, — можно было бы предположить, при первом рассмотрении, что саму эту проблему им было бы весьма трудно разрешить.

Дополнительные черты подобной застенчивости могут, по-видимому, вновь указать на чувство вины как ключ к пониманию этого затруднения. Взгляд, который, по ожиданиям

индивидуума, другие люди направляют на него, практически всегда воображается как критически неблагоприятный. Он боится, что будет выглядеть дураком, или он боится, что другие люди подумают, что он выставляется. Когда пациент высказывает подобные фантазии, легко предположить, что у него есть тайное, непризнаваемое желание выставиться, стать центром внимания, превзойти остальных, заставить других выглядеть рядом с собой дураками, и что такое желание наполнено чувством вины и тревогой и поэтому не может испытываться как таковое. Так что ситуации, вызывающие фантазии об этом желании как удовлетворенном, теряют всю привлекательность. Индивидуум тогда станет скрытым эксгибиционистом, тело которого бессознательно приравнивается к его пенису. Поэтому всякий раз, когда его тело на виду, невротическая вина, связанная с потенциальным средством получения удовлетворения, подвергает его своего рода страху кастрации, который «представляется» феноменологически как «застенчивость».

Рассматривая застенчивость с подобных точек зрения, мы уклоняемся от главного вопроса, встающего перед индивидуумом, чье основополагающее экзистенциальное положение соответствует онтологической неуверенности и чья шизоидная природа есть отчасти прямое выражение — и причина — онтологической неуверенности, а отчасти попытка ее преодолеть; или, выражая последнее замечание со слегка иной точки зрения, отчасти попытка защитить себя от угроз своему бытию, являющихся следствиями его неудачи при достижении надежного ощущения собственной индивидуальности.

Самосознание в онтологически неуверенной личности играет двойную роль.

1. Осознание себя и знание, что другие люди осознают его, являются средствами уверить самого себя, что он существует, а также существуют и они. Кафка ясно демонстрирует это в рассказе «Разговор с просителем». Проситель начинает с экзистенциального положения онтологической неуверенности, он заявляет: «Не было ни одного случая, когда бы я убедился изнутри, что жив». Поэтому потребность обрести убежденность в своей жизненности и реальности вещей является основополагающим вопросом его экзистенции. Его поиск подобной убежденности проходит через ощущение самого себя объектом в реальном мире; но, поскольку его мир нереален, он должен стать объектом в мире кого-то другого, ибо предметы другим людям кажутся реальными и даже спокойными и прекрасными. По крайней мере, «…должно быть так, ибо я часто слышу, как люди говорят о них, будто они именно таковы». Отсюда проистекает его признание: «…не сердитесь, если я скажу вам, что цель моей жизни — заставить людей посмотреть на меня» (разрядка моя.-Р. Д. Л.).

Дополнительным фактором является прерывность во временном «я». Когда существует неуверенность индивидуальности во времени, существует склонность полагаться на пространственные средства установления личности самого себя. Вероятно, это отчасти ответственно за превосходящую часто все другое важность для человека быть увиденным. Однако порой ее может замещать склонность полагаться на осознание себя во времени. Особенно это так, когда время переживается как последовательность мгновений. Потеря отрезка в линеарной последовательности мгновений из-за невнимания к временному «я» может ощущаться как катастрофа. Дули [13] дает различные примеры такого временного самоосознания, проистекающего отчасти из «борьбы человека со страхом уничтожения» и его попытки сохранить свою цельность «несмотря на угрозы поглощения, сокрушения или потери… индивидуальности…». Один из ее пациентов сказал: «Я забылся прошлой ночью на „Ледяном карнавале“. Я был настолько поглощен его зрелищем, что забыл, сколько времени, кто я и где нахожусь. Когда же я внезапно осознал, что не думал о себе, я до смерти напугался. Появилось ощущение нереальности. Я никогда не должен забываться ни на единую минуту. Я слежу за часами и занимаюсь делом, а иначе я не буду знать, кто я такой».

2. В мире, полном опасностей, быть потенциально видимым объектом — значит постоянно подвергаться опасности. Самосознание тогда может стать полным дурных предчувствий осознанием себя как потенциально подверженного опасности из-за простой видимости другими. Очевидная защита против подобной опасности — так или иначе

сделаться невидимым.

В действительности этот вопрос всегда сложен. Проситель Кафки делает целью своей жизни заставить людей посмотреть на него, поскольку тем самым он ослабит состояние деперсонализации, дереализации и внутренней мертвенности. Ему нужно, чтобы другие люди переживали его как реальную живую личность, поскольку он никогда не был убежден изнутри себя, что жив. Однако это подразумевает веру в доброкачественность способности понимания у другого человека, которая не всегда имеет место. Если ему становится известно о чем-то, оно становится нереальным, хотя он «всегда чувствовал, что они некогда были реальны, но теперь улетучились». Не нужно удивляться, обнаружив, что подобная личность в какой-то мере обладает недоверием к осознанию себя другими людьми. Например, что, если они, в конце концов, обладали о нем таким же «непрочным знанием», как и он о них? Мог ли он полагаться больше на их осознание, чем на свое собственное, в поисках убежденности в том, что жив? В сущности, очень часто равновесие смещается так, что индивидуум видит величайший риск в том, чтобы стать объектом осознания другой личности. Миф о Пересе и голове Медузы, «дурной глаз», заблуждение о лучах смерти и тому подобное, как я считаю, относятся к данному страху.

На самом деле, рассмотренный с биологической точки зрения, сам факт того, что животное видимо, подвергает его риску быть атакованным своими врагами, а у всех животных есть враги. Поэтому в собственной видимости заложен основополагающий биологический риск; в собственной невидимости — основополагающая биологическая защита. Мы все используем некую форму маскировки. Ниже следует описание, данное пациенткой, использовавшей своего рода магическую маскировку, чтобы помочь себе в борьбе с тревогой, когда ей было двенадцать лет.

«Мне было около двенадцати, и мне приходилось идти в лавку отца через большой парк — это был долгий и скучный путь. К тому же, полагаю, я очень боялась. Я не любила этот парк, особенно когда темнело. Я начала играть в одну игру, чтобы скоротать время. Знаете же, как ребенком считают камни или становятся на стыки плит тротуара — короче, я напала на такой способ проведения времени. Меня поразило, что, если я достаточно долго смотрела на окружающую обстановку, я сливалась с ней, словно тут никого нет и я исчезла. Словно заставляешь себя почувствовать, что не знаешь, кто ты такая и где ты. Так сказать, слиться с обстановкой. Потом боишься этого, потому что это начинает происходить без какого-либо подстрекательства. Я просто шла по дороге и чувствовала, что сливаюсь с ландшафтом. Потом я пугалась и снова и снова повторяла свое имя, чтобы, так сказать, возвратить себя к жизни».

Возможно, здесь кроется биологический аналог многих тревог, связанных с тем, что человек нарочит, неординарен, отличен от других или привлекает к себе внимание, когда защиты, используемые против подобных опасностей, зачастую состоят в попытках соединиться с человеческим ландшафтом, сделать как можно более трудным для кого-либо увидеть, чем человек отличается от всех остальных. Например, Оберндорф предположил, что деперсонализация есть защитное средство аналогичное игре, где играющий притворяется мертвым или непонимающим. Мы рассмотрим такие защиты более подробно в случае с Питером (глава 8).

Быть как все остальные, быть кем-то, отличным от себя, играть некую роль, быть инкогнито, анонимом, быть никем (психотически, притворяться, что не имеешь тела) — это защиты, которые при определенных шизоидных и шизофренических условиях доводятся до конца с большой тщательностью.

Описанная выше пациентка испугалась, когда слилась с ландшафтом. Тогда она, по ее словам, «снова и снова повторяла свое имя, чтобы. Так сказать, возвратить себя к жизни». Здесь поднимается важный вопрос. По-моему, будет правильной догадкой предположить, что конкретная форма защиты против тревоги у этой девочки могла возникнуть только на шатком онтологическом основании. Надежно заложенное ощущение индивидуальности не так легко и не с такой готовностью можно утратить, как эта двенадцатилетняя девочка была

способна терять свое в игре. Вероятно, эта самая онтологическая неуверенность, по крайней мере отчасти, вызвала ее тревогу в первый раз, а потом она воспользовалась источником слабости как путем побега. Уже было показано, как такой принцип действовал в случаях Джеймса, Дэвида, г-жи Д. и других. Сливаясь с ландшафтом, она теряла свою автономную индивидуальность, в сущности, теряла себя, и одному лишь ее «я» угрожало одиночество в сгущающихся сумерках в пустынном парке.

Более общее выражение этого принципа заключается в том, что, когда риск состоит в потере бытия, защитным средством является впадение в состояние небытия, однако с постоянной внутренней оговоркой, что впадение в небытие — всего лишь игра, простое притворство.

Тиллих пишет [46]: «Невроз есть способ избегания небытия путем избегания бытия». Беда заключается в том, что индивидуум может обнаружить, что притворство было притворным и что некоторым более реальным способом, чем он полагал, он действительно впал в то самое состояние небытия, которого так боялся, при котором он лишается ощущения автономии, реальности, жизни индивидуальности и в котором он может не найти точки опоры для возвращения «в» жизнь вроде простого повторения своего имени. В сущности, игра этой девочки вышла Из-под контроля именно так. Когда пациентка составляла свое жизнеописание, из которого взята приведенная выше цитата, она оставалась тяжело деперсонализированной уже в течение ряда лет.

В этой области все парадоксально. В главе 5 мы заявляли, что «я» как боится реальной жизненности, так и стремится к ней. Оно боится стать живым и реальным, поскольку страшится, что при этом тотчас же увеличится риск уничтожения. В этом парадоксе подразумевается «застенчивость».

Наша девочка сливалась с ландшафтом. Кто-то, чересчур легко сливающийся с другими людьми (мы описали способы, которыми это происходит, в предыдущей главе), пугается тем самым потерять свою индивидуальность и использует осознание своего «я» как средство для того, чтобы остаться отстраненным и обособленным. На застенчивость начинают полагаться для того, чтобы помочь поддержать непрочную онтологическую уверенность индивидуума. Такое настойчивое утверждение осознания, особенно осознания «я», разветвляется во многих направлениях. Например, в то время как истерик, по-видимому, лишь рад стать способным забыть и «подавить» аспекты своего бытия, шизоидный индивидуум стремится сделать осознание себя как можно более обширным и напряженным.

Однако уже было отмечено, насколько наполнено враждебностью саморазглядывание, которому подвергает себя шизоид. Шизоидный индивидуум (и это еще более прило-жимо к шизофренику) не греется на солнце исполненного любви к себе эгоизма. Саморазглядывание совершенно неправильно считается одной из форм нарциссизма. В этом смысле ни шизоид, ни шизофреник не являются нарцис-систами. Как выражает это одна шизофреничка (см. ниже с. 217), ее обжигает яркий свет черного солнца. Шизоидный индивидуум существует под черным солнцем, дурным глазом собственного пристального разглядывания. Яркий свет его осознания убивает спонтанность, свежесть, он разрушает любую радость. Под ним все увядает. И все-таки он остается, хотя и глубоко н е будучи нарписсистом, принудительно озабочен непрерывным наблюдением за своими ментальными и (или) телесными процессами. На языке Федерна, он cathects свое эго-как-объект посредством mortido.

Сходное утверждение было сделано с различных точек зрения, когда ранее говорилось, что шизоидный индивидуум деперсонализирует взаимоотношения с самим собой. Он так сказать, превращает живую спонтанность своего бытия в нечто мертвое и безжизненное, инспектируя ее. Этим он занимаатся также и по отношению к другим и боится, что они сделают это по отношению к нему (окаменение).

Теперь мы в состоянии предположить, что в то время как он боится не быть мертвым и безжизненным — как утверждалось, он страшится реальной жизненности, — он также боится не продолжать осознавать самого себя. Осознание своего «я» все еще является гарантией, заверением его продолжающегося существования, хотя ему, возможно,

приходится переживать смерть-в-жизни. Осознание объекта уменьшает его потенциальную опасность. Тогда сознание представляет собой своего рода радар, сканирующее устройство. Объект может ощущаться находящимся под контролем. Как и луч смерти, сознание обладает двумя основными свойствами — способностью превращать в камень (превращать себя или другого в вещи) и способностью пронизывать. Таким образом, если именно с такой точки зрения переживается взгляд других, существуют постоянные страх и негодование по поводу превращения тебя в чью-то вещь, пронизывания кем-то и ощущение нахождения во власти и под контролем кого-то другого. Значит, свобода состоит в недоступности.

Индивидуум может попытаться предвосхитить эти опасности, превратив в камень другого. К сожалению, поскольку нельзя быть увиденным камнем, человек становится (так как другие были успешно сведены в его собственных глазах до положения вещей) единственной личностью, которая видит себя. Теперь процесс движется в обратном направлении с кульминацией в стремлении избавиться от омертвления и невыносимой самоосознанности, так что перспектива стать пассивной вещью, пронизываемой и контролируемой другим, может оказаться желанной. В подобных колебаниях не существует положения покоя, поскольку у индивидуума нет выбора между возможньми альтернативами.

Вынужденная озабоченность тем, чтобы быть увиденным или просто видимым, предполагает, что мы, должно быть, имеем дело с подспудной фантазией не быть увиденным или быть невидимым. Если, как мы поняли, видимость сама по себе может быть как преследующей, так и заверяющей, что человек все еще жив, то невидимость равным образом будет иметь двойной смысл.

«Застенчивая» личность поймана некоей дилеммой. Человек может нуждаться в том, чтобы быть увиденным и распознанным, для того чтобы установить ощущение реальности и индивидуальности. Однако, в то же самое время, другой представляет собой угрозу его индивидуальности и реальности. Обнаруживаются крайне слабые попытки, направленные на решение этой дилеммы с точки зрения тайного внутреннего «я» и поведенческой системы ложного «я», описанной выше. Джеймс, к примеру, чувствует, что «другие люди снабжают его существованием». Сам по себе он чувствует себя пустотой и никем: «Я не могу чувствовать себя реальным, если рядом никого нет…» Тем не менее он не может чувствовать себя непринужденно с другим человеком, поскольку ощущает себя «в опасности» вместе с другими, так же как и сам с собой.

Поэтому он вынужден искать общества, но никогда не позволит себе «быть самим собой» в присутствии других. Он избегает общественной тревоги, никогда реально не бывая с другими. Он никогда точно не говорит то, что имеет в виду, и не имеет в виду то, что говорит. Роль, которую он играет, — это всегда не совсем он сам. Он позаботится засмеяться, когда думает, что анекдот не смешной, и будет выглядеть скучным, когда позабавлен. Он заводит дружбу с людьми, которые ему в действительности не нравятся, и весьма холоден с теми, с кем он бы «действительно» хотел подружиться. Поэтому в действительности никто его не знает и не понимает. Он может безопасно быть самим собой только в изоляции, хотя и с ощущением пустоты и нереальности. С другими он играет в обдуманную игру притворства и двусмысленности. Его общественное «я» ощущается как ложное и поверхностное. Больше всего он стремится к возможности «момента распознания», но если бы такое случайно произошло и он «обнаружился», он оказался бы в замешательстве и панике.

Чем больше он хранит свое истинное «я» спрятанным, сокрытым, невидимым и чем больше он представляет другим ложный фасад, тем более вынужденным становится такое ложное представление самого себя. Он кажется крайним нарциссистом и эксгибиционистом. Фактически же он ненавидит самого себя и боится открыться другим. Вместо этого он вынужден показывать другим то, что считает чужими украшениями; одевается он нарочито, а говорит громко и настойчиво. Он постоянно привлекает к себе внимание и в то же время о т — влекает внимание от своего «я». Его поведение принудительно. Все его мысли заняты тем, чтобы быть увиденным. Его стремление — быть узнанным. Но это к тому же и больше

всего ужасает.

Тут «я» стало невидимой трансцендентной сущностью, известной только себе. Действующее тело больше не является выражением «я». Такое «я» не актуализировано в теле и через тело. Оно отлично от него и отделено. Подразумеваемый смысл поступков г-жи Р. был таков: «Я являюсь лишь тем, чем считают меня другие люди». Джеймс играл на противоположной возможности: «Я не то, что кто-либо видит». Поэтому его явный эксгибиционизм был способом уклонения от раскрытия людьми того, кем он себя реально ощущает.

Взрослый не способен использовать как видимость, так и невидимость в качестве надежных защитных средств от другого, поскольку каждый способ не только имеет свои опасности, но и предлагает свою форму безопасности. Насколько запутанны поставленные вопросы, можно оценить, рассмотрев сложность даже простейших ситуаций раннего детства.

Для детей вполне привычно играть в «вижу-не вижу». Эта игра имеет несколько вариантов. В нее можно играть одному; перед зеркалом или в сговоре со взрослыми.

В подстрочном примечании к своему знаменитому описанию игры маленького мальчика с катушкой на нитке Фрейд [3] приводит один из вариантов этой игры. Стоит вспомнить весь отрывок, хотя я хочу обратить внимание лишь на примечание.

«Ребенок был не слишком развит интеллектуально, он говорил в свои полтора года только несколько понятных слов и произносил, кроме того, много полных значения звуков, которые были понятны окружающим. Он хорошо понимал родителей и единственную прислугу, и его хвалили за его „приличный“ характер. Он не беспокоил родителей по ночам, честно соблюдал запрещение трогать некоторые вещи и ходить куда нельзя и прежде всего никогда не плакал, когда мать оставляла его на целые часы, хотя он и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила своего ребенка, но и без всякой посторонней помощи ухаживала за ним и нянчила его. Этот славный ребенок обнаружил беспокойную привычку забрасывать все маленькие предметы, которые к нему попадали, далеко от себя — в угол комнаты, под кровать и проч., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло. немалую работу. При этом он произносил с выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжительное „о-о-о-о!“, которое, по единогласному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, но означало „прочь“ (Port). Я наконец заметил, что это игра и что ребенок все свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь. Однажды я сделал наблюдение, которое укрепило это мое предположение. У ребенка была деревянная катушка, обвитая ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить ее за собой по полу, то есть пытаться играть с ней как с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, держа за нитку, за сетку своей кроватки, так что катушка исчезала за ней, и произносил при этом свое многозначительное „о-о-о-о!“, затем снова вытаскивал катушку за нитку из-за кровати и встречал ее появление радостным „тут“ (Da). Это была законченная игра, исчезновение и появление, из которой по большей части можно было наблюдать только первый акт, который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось со вторым актом».

К своему описанию этой игры Фрейд добавляет вот такое существенное примечание:

«Это толкование было потом вполне подтверждено дальнейшим наблюдением. Когда однажды мать отсутствовала несколько часов, она была по своем возвращении встречена известием „Беби о-о-о“, которое вначале осталось непонятым. Скоро обнаружилось, что ребенок во время этого долгого одиночества нашел для себя средство исчезать. Он открыл свое изображение в стоячем зеркале, спускавшемся почти до полу, и затем 'приседал на корточки, так что изображение в зеркале уходило „прочь“».

Таким образом, этот маленький мальчик не только играл в исчезновение своей матери, но играл также и в свое исчезновение. Фрейд предполагает, что обе игры должны пониматься как попытки справиться с тревогой из-за опасной ситуации путем повторения ее снова и снова в игре.

Если это так, страх стать невидимым, исчезнуть тесно связан со страхом исчезновения

матери. По-видимому, потеря матери в определенном возрасте страшит индивидуума потерей своего «я». Однако мать — не просто вещь, которую ребенок видит, но личность, которая видит ребенка. Поэтому мы предполагаем, что необходимым компонентом в развитии «я» является переживание себя как личности под любящим оком матери. Обычный ребенок почти постоянно живет под взором старших. Но быть видимым — просто один из бесчисленных способов, которым полному бытию ребенка уделяется внимание. О нем заботятся, упоминая его, лаская, укачивая, обнимая, подбрасывая в воздух, купая, — его телом управляют так, как не будет больше никогда в жизни. Некоторые матери могут распознать и ответить на «ментальные» процессы ребенка, но не могут соответственно воспринять его конкретную телесную актуальность, и наоборот. Возможно, что со стороны матери неумение отвечать на тот или иной аспект бытия ребенка будет иметь важные последствия.

Дальнейшее рассмотрение того, чего этот мальчик достиг своей игрой, намекает на то, что он стал способен, как допустил Фрейд, делать самого себя исчезнувшим, будучи не способным видеть свое отражение в зеркале. Так сказать, если он не видел себя там, то он сам «ушел прочь»; таким образом, он делал некое шизоидное предположение с помощью зеркала, посредством которого существовало два «его» — один т а м, а другой здесь. Так сказать, преодолевая или пытаясь преодолеть потерю или отсутствие реального другого, в чьих глазах он жил, двигался и обладал бытием, он становится еще одной личностью для самого себя, которая могла бы смотреть на него из зеркала.

Впрочем, хотя «личность», которую о н видел в зеркале, не была ни его собственным «я», ни другой личностью, а лишь отражением его собственной личности, когда он не мог больше видеть тот, другой, отраженный образ своей собственной личности в зеркале, он сам исчезал, вероятно, потому что ощущал, что он исчезал, когда больше не мог ощущать, что находится под внимательным взглядом или в присутствии матери. Возникает ли угроза от реального другого из-за непредвиденного обстоятельства, что другой может в любое время уйти, умереть или не ответить взаимностью; представляет ли другой более непосредственно угрозу в форме разрывания или проникновения — шизоидная личность ищет по образу бытия мальчика для себя зеркала, чтоб превратить свое «я», квазидуальность со всеобщим единством, в два «я», то есть в действительную дуальность. У этого маленького мальчика с двумя «я» его собственное действительное «я» вне зеркала было тем, которое можно было вообразить и с превеликой легкостью отождествить с матерью. Такое отождествление «я» с фантазией личности, которая его видит, может решительно содействовать характерным чертам наблюдающего «я». Как утверждалось выше, такое наблюдающее «я» часто убивает и иссушает все, что находится под его взором. У индивидуума теперь есть преследующий его наблюдатель в самой сердцевине его бытия. Возможно, что ребенок становится одержим чуждым и разрушительным присутствием наблюдателя, который превратился в плохого в его отсутствие, заняв место наблюдающего «я» — самого мальчика вне зеркала. Если такое происходит, он сохраняет осознание самого себя как объекта в глазах другого, наблюдая за собой как за другим: он отдает другому свои глаза для того, чтобы он мог продолжать быть увиденным;

тогда он становится объектом в своих собственных глазах. Но часть его самого, смотрящая в него и видящая его, развила преследовательские черты, которыми, по его ощущениям, обладает реальная личность вне его.

У игры с зеркалом могут быть своеобразные варианты. Болезнь у одного человека началась совершенно явно, когда он взглянул в зеркало и увидел там кого-то другого (по сути, свое собственное отражение)-«его». «Он» должен был стать его преследователем в параноидальном психозе. «Он» был подстрекателем заговора с целью его убить (то есть пациента), а он (пациент) должен был «стрелять в „него“» (в свое отчужденное «я»).

В игре маленький мальчик, находясь в положении личности, воспринимающей его, то есть матери, в некотором смысле убивал себя магическим образом: он убивал зеркальное изображение самого себя. У нас будет позднее повод вернуться к такому своеобразному

положению дел при исследовании шизофрении. То, что он заставлял самого себя исчезать и вновь возвращаться, должно было иметь значение, сходное со значением другой его игры, — заставлять мать (символически) исчезать и вновь появляться. Однако в таком варианте игра имеет смысл, только если мы сможем поверить, что для него возникает опасная ситуация не только тогда, когда он не способен видеть мать, но также и тогда, когда он не ощущает, что она видит его. На такой стадии esse = percipi не только в отношении других, но также и в отношении «я».

Одна из моих дочерей в два с половиной года играла в похожую игру. Я должен был закрывать глаза ладонями по команде «Не видишь нас». Затем по команде «Видишь меня» я внезапно убирал руки и выражал удивление и радость, видя ее. Я также должен был смотреть на нее и притворяться, что ее не вижу. Меня заставляли играть в эту игру и другие дети. Вопрос не в том, что я шалю, якобы их не видя. Вся суть, по-видимому, лежит в переживании ребенком самого себя как временно невидимого.

Игры бы не было, если ребенок не видел бы меня. Нужно к тому же отметить, что в этой игре не происходит никакого действительного физического разделения. В этой игре ни взрослый, ни ребенок не должны прятаться или действительно исчезать. Это магический вариант игры в прятки.

Ребенок, который плачет, когда его мать исчезает из комнаты, напуган исчезновением своего собственного бытия, поскольку для него к тому же percipi = esse. Лишь в присутствии матери он способен полно жить, двигаться и обладать своим бытием. Почему дети хотят, чтобы ночью горел свет или родители сидели рядом с ними, пока они не уснут? Возможно, один из аспектов таких потребностей заключается в том, что ребенок пугается, если не может больше видеть самого себя или ощущать, что его видит кто-то другой; или слышать других и быть слышимым другими. Засыпание, феноменологически, состоит в потере собственного осознания своего бытия, а также и мира. Это само по себе может пугать, так что ребенку нужно ощущать себя видимым и слышимым другой личностью до тех пор, пока он не потеряет собственное осознание своего бытия в процессе засыпания. Во сне «внутренний» свет, освещающий собственное бытие, выключен. Оставленный включенным свет не только дает уверенность, что если ребенок проснется, то в темноте не будет никаких ужасов, но дает магическую уверенность в том, что во время сна он будет охраняться добрым присутствием (родителей, добрых волшебниц, ангелов). Вероятно, даже хуже возможного присутствия в темноте чего-то злого страх того, что в темноте нет ничего и никого. Поэтому неосознавание самого себя может равняться небытию. Шизоидный индивидуум уверяет себя, что он существует, всегда осознавая самого себя. Однако его преследуют его собственные проницаемость, незащищенность, и прозрачность.

В потребности быть воспринимаемым существует, конечно же, не только визуальная составляющая. Она распространяется на общую потребность обладать собственным присутствием, одобренным или подтвержденным другим, потребность в признании собственной полной экзистенции; по сути, потребность быть любимым. Таким образом, люди, которые не могут поддержать изнутри себя ощущение собственной индивидуальности или, как проситель Кафки, не обладают внутренним убеждением, что они живы, могут чувствовать, что они реальные живые личности, лишь тогда, когда переживаются как таковые другими, как было в случае с г-жой Р., которая страшилась деперсонализации, когда не могла быть узнанной или вообразить себя узнанной кем-то и получающей отклик от кого-то, кто ее достаточно хорошо знал, поскольку узнавание ими и их ответ были весьма значимы. Ее потребность быть увиденной основывалась на равенстве: «Я — личность, которую другие люди знают и признают, что я существую». Ей требовалось материальное заверение, состоящее в присутствии другого человека, который ее знал и в чьем присутствии ее собственная неуверенность в том, кто она такая, могла быть временно уменьшена.

8. СЛУЧАЙ ПИТЕРА

Я не люблю слово «психологическое». Нет такой вещи, как «психологическое». Давайте скажем, что можно улучшить биографию человека.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР

На примере нижеследующего случая можно увидеть, как переживаются многие проблемы, которые обсуждались в последних двух главах.

Питер был крупным мужчиной двадцати пяти лет и представлял собой эталон здоровья. Он пришел ко мне на прием с жалобой на то, что от него постоянно исходит какой-то неприятный запах. Он мог его отчетливо ощущать, но не был уверен, могут ли этот запах учуять другие. Он полагал, что запах исходит особенно от нижней части его тела и области гениталий. На свежем воздухе он напоминал запах горения, но обычно это был запах чего-то прокисшего, протухшего, старого и разлагающегося. Питер сравнивал его с запахом копоти, металла и плесени, характерным для вокзального зала ожиданий, или с запахом сломанных «клозетов» в районе трущоб, где он рос. Он не мог избавиться от этого запаха, хотя и несколько раз в день принимал ванну.

Следующую информацию о его жизни дал его дядя но отцу.

Его родители не были счастливы, но держались друг за друга. Они поженились за десять лет до его рождения. Они были неразлучны. Сын, единственный ребенок, не внес изменений в их жизнь. Он спал в одной комнате с родителями с рождения и до окончания школы. Открыто родители никогда не были недобры по отношению к нему, а он, как казалось, все время был с ними, и однако они просто относились к нему так, словно его не существовало.

Мать, продолжал его дядя, не могла дать ему любви, поскольку сама ее никогда не имела. Кормили его искусственно, и он хорошо набирал в весе, но его никогда не ласкали и с ним никогда не играли. В младенчестве он постоянно плакал. Однако мать открыто не отвергала его и не пренебрегала им. Его надлежащим образом кормили и одевали. Он прожил детство и отрочество, не выказывая каких-либо заметных странностей. Однако мать, сказал дядя, едва ли вообще его замечала. Она была симпатичной женщиной и всегда обожала наряжаться и любоваться собой. Его отцу нравилось наблюдать за этим, покупать, когда было возможно, ей новые наряды, и он был очень горд, что у него такая привлекательная жена.

Дядя считал, что, хотя отец по-своему просто обожал мальчика, казалось, что-то не давало ему проявить любовь к сыну. Он стремился быть грубоватым и придирчивым, временами бил его без особого повода и принижал его такими замечаниями, как: «Никудышный человек», «Ты просто здоровенный мешок с мукой». Дядя считал это весьма печальным фактом, поскольку, когда Питер хорошо успевал в школе, а позднее получил работу в одной конторе, что являлось важным событием для этой очень бедной семьи, отец действительно «ужасно гордился этим мальчишкой»; «для него было ужасным ударом», когда позднее сын, как казалось, просто не захотел ничего в жизни добиваться.

Питер был одиноким ребенком, и он всегда был очень добрым. Когда ему было девять, девочка его возраста, жившая по соседству, ослепла во время воздушного налета, при котором погибли ее родители. В течение нескольких лет он проводил большую часть времени с этой девочкой, выказывая неисчерпаемое терпение и сердечность, он учил ее, как передвигаться по району, водил ее в кино и помногу с ней разговаривал. Позднее зрение у этой девочки частично восстановилось. Она сказала его дяде, что обязана жизнью этому девятилетнему мальчику, поскольку тот был единственным человеком, у которого действительно было время на нее, когда она была слепа, беспомощна и не имела друзей, когда не было никого, кто мог бы или хотел бы прийти в дом ее погибших родителей.

В последние школьные годы дядя проявил к нему особый интерес, и по подсказке дяди и с его помощью Питер поступил на работу в адвокатскую контору. Через несколько месяцев юноша из-за отсутствия интереса покинул контору, но, опять-таки при посредничестве дяди, получил работу в пароходной компании. Он служил в этой фирме до тех пор, пока его не

призвали в армию. В армии по своему собственному желанию он присматривал за сторожевыми собаками, а после демобилизации, прослужив два года без единого происшествия, он «разбил отцу сердце», в буквальном смысле «отправившись псу под хвост», когда устроился на работу в собачий питомник. Однако через год он оттуда ушел, пять месяцев выполнял различную неквалифицированную работу, а затем просто ничего не делал в течение семи месяцев. И вот тогда-то он отправился к врачу общей практики с жалобами на запах. Фактически никакого запаха не было, так что этот врач послал его к психиатру.

Пациент описал свою жизнь следующим образом.

Его собственные ощущения относительно своего рождения состояли в том, что ни отец, ни мать его рождения не хотели, а на самом деле никогда не могли ему этого простить. По его ощущениям, мать возмущало его появление на свет, поскольку он испортил ей фигуру, причинил боль и нанес травму во время родов. Он утверждал, что в его детские годы она частенько упрекала его в этом. По его ощущениям, отца он возмущал просто самим фактом своего существования: «Он никогда не предоставлял мне в мире какого-либо места…» Он к тому же думал, что отец, вероятно, его ненавидит за травму, нанесенную матери при родах, которая отвращает ее от половых сношений. По его ощущениям, он вошел в жизнь как вор и преступник.

Можно вспомнить заявление его дяди о том, что роди-юли были поглощены главным образом самими собой, а к нему относились так, словно его не существовало. Связь между пренебрежением и самосознанием хорошо проявляется в записи нашего разговора во время второго приема:

ПИТЕР:…Как себя помню, я вроде как осознавал самого себя… своего рода самосознание — в некотором отношении, понимаете ли, совершенно ясное.

Я: Ясное?

ПИТЕР: В общем, да, ясное. Просто быть… просто осознавать самого себя.

Я: Быть?

ПИТЕР: О, полагаю, вообще просто быть. Он (его отец) обычно говорил, что с самого дня рождения я был бельмом на глазу.

Я: Бельмом?

ПИТЕР: Да, еще одним моим прозвищем было «Никудышный человек», а еще — «Здоровенный мешок с мукой».

Я: Ты ощущаешь вину за то, что ты есть?

ПИТЕР: В общем, да, в действительности я не знаю..-полагаю, в первую очередь за то, что я есть в этом мире.

Он сказал, что в детстве не был одинок, хотя очень много времени находился сам с собой, но «быть одиноким не значит быть одному».

У него было, вероятно, «экранное» воспоминание четырех-пятилетнего возраста о том, как мать говорит ему, застав его играющим с Пенисом, что, если он будет этим заниматься, тот не вырастет; когда ему было семь или восемь, было несколько эпизодов сексуальной природы с одной девочкой его же возраста, но до четырнадцати лет он не начинал мастурбировать. Все это имело для него большое значение и увеличивало его самосознание. Единственными ранними воспоминаниями являлись эти сексуальные инциденты. Они пересказывались без какой-либо теплоты. Это было за много месяцев до того, как он — совершенно случайно — упомянул ту слепую девочку Джин.

В средней школе его ощущения относительно самого себя стали выкристаллизовываться. Насколько сейчас возможно их реконструировать, в нем росло ощущение того, что все ставят его в ложное положение. Он чувствовал, что обязан учителю и родителям стать кем-то и сделать из себя что-то, тогда как он все время ощущал, что это, с одной стороны, невозможно, а с другой — нечестно. Он чувствовал, что должен отдавать все свое время и все свои силы, выплачивая долг отцу, матери, дяде или учителю. Впрочем, про себя он был убежден, что он — никто, пустое место, что все попытки стать кем-то являются

обманом и притворством. Например, учитель хотел, чтобы он «говорил надлежащим образом» и носил «одежду среднего класса», пытаясь заставить его быть тем, чем он не был. Учитель заставлял его, тайного мастурбатора, вести уроки по закону Божьему для других детей и выставлял его в качестве образца. Когда люди говорили, какой он хороший, раз способен так хорошо читать Библию, он сардонически усмехался про себя. «Это просто показывало, какой я хороший актер». Однако он сам, кроме ощущения, что он не тот человек, которого играет, не знал, кем он хочет быть. Наряду с ощущением своей никчемности в нем росло убеждение, что он — кто-то избранный, посланный Богом с особой миссией, но кто или что… он сказать не мог. Между тем его глубоко возмущало то, что, по его ощущениям, являлось попыткой всех и каждого превратить его в святого, который «более или менее делал бы им честь». Поэтому в конторе он работал без всякой радости. Он начинал все больше и больше всех и вся ненавидеть, а в особенности женщин. Он осознавал, что ненавидит других, но ему не приходило в голову, что он их боится. С чего бы, если «они не могли удержать меня от тех мыслей, которые мне нравились»? Конечно же, это подразумевает, что «они» обладали некоторой силой, чтобы вынудить его делать то, что «они» хотят, но пока он внешне угождал «их» желаниям, он избегал состояния тревоги, которое, как мы должны предположить, привело бы его к приспособлению к другим и едва ли когда-нибудь открыло им его самого.

Именно во второй конторе он впервые пережил приступы тревоги. К тому времени центральный вопрос выкристаллизовался для него следующим образом: быть искренним или быть лицемером, был подлинным или играть роль. Лично он знал, что он — лицемер, врун, обманщик и притворщик, и вопрос состоял в том, как долго он сможет дурачить людей, прежде чем его разоблачат. В школе он считал, что в большой степени способен выйти сухим из воды. Но чем больше он прятал то, что рассматривал как свои реальные чувства, и делал и думал то, что приходилось скрывать и таить от любого другого, тем более он начинал пристально изучать лица людей для того, чтобы попытаться выяснить, что они думали или знали о нем. В конторе то, что он считал своими «реальными чувствами», было главным образом садистскими сексуальными фантазиями о своих сослуживицах, особенно об одной, которая, по его мнению, выглядела достаточно порядочной, но которая, в его воображении, вероятно, была лицемеркой, как и он сам. Он обычно мастурбировал в туалете конторы, вызывая эти фантазии, и однажды, как раньше произошло в случае с его матерью, сразу после того, как он это сделал, он вышел и столкнулся с той самой женщиной, которую насиловал в воображении. Она смотрела прямо на него, так что казалось: она смотрит сквозь него в его тайное «я» и видит там, что он с ней сделал. Его охватила паника. Теперь он уже не мог самонадеянно верить, что может скрывать свои поступки и мысли от других людей. В частности, по его словам, он уже не мог чувствовать уверенность, что лицо его не «выдаст». В то же самое время он начал бояться, а не предаст ли его запах спермы.

Он находился в таком состоянии, когда был призван в армию. Однако он отслужил, внешне не показывая признаков своего внутреннего страдания. На самом деле он, по-видимому, добился внешнего проявления нормальности и определенной доли освобождения от тревоги. Его ощущение достижения этого было очень интересным и важным. Его кажущаяся нормальность являлась следствием обдуманного усиления раскола между «внутренним», истинным «я» и более привлекательным ложным «я», проведенного весьма расчетливо. Он выражался в сновидении, которое повторялось в то время. Он сидит в быстро движущейся машине;

он выпрыгивает, ушибается, но не серьезно, а машина разбивается. Таким образом, он довел до логического, но бедственного завершения игру, в которую какое-то время играл сам с собой. Он в конце концов сделал выбор настолько решительно, насколько его понимал: он отделил себя как от самого себя, так и от других людей. Непосредственный эффект должен был уменьшить его тревогу и позволить ему казаться нормальным. Но это не все, что он сделал, и последствия были не однозначными.

Его ощущение бессмысленности, отсутствия направления, тщетности возросли, как и

его убеждение, что он «реально» никто. Он ощутил, что дальше притворяться бессмысленно. Он сформулировал это для самого себя такими словами: «Я — никто, так что я ничего не буду делать». Теперь он подумывал не только отделить себя от своего ложного «я», но разрушить все, чем, как казалось, он был. «Я получил, — как он сказал, — определенное сардоническое удовлетворение, став даже меньше того, чем я, по моему мнению, был, или того, чем по их мнению, я должен быть…»

Он все время ощущал, что находится, по его собственным словам (которые случайно совпадают со словами Хайдег-гера), «на краю бытия», лишь одной ногой стоя в жизни и не имея права даже на это. Он ощущал, что реально он не живой и что в любом случае он не имеет никакой ценности и вряд ли имеет право притворяться, что живет. Он воображал себя вне всего этого, однако некоторое время лелеял скромную надежду. У женщин все еще могла быть тайна. Если бы его смогла полюбить женщина, он бы почувствовал, что способен преодолеть свое ощущение никчемности. Но этот возможный путь был для него закрыт убеждением, что любая женщина, имеющая с ним что-то общее, могла быть лишь такой же пустой, как и он, и что все, что он был способен получить от женщин — брал ли он это или они давали ему, — могло быть лишь таким же никчемным, как и то вещество, из которого был сделан он сам. Поэтому у любой женщины, которая не была опустошена так же, как он, никогда не было с ним ничего общего, а меньше всего в сексуальном смысле. Все его Действительные сексуальные взаимоотношения с женщинами были совершенно беспорядочными, и посредством них он никогда не был способен прорваться сквозь свою «заколо-ченность». С одной девушкой, которую он считал «чистой», он поддерживал незначительные платонические взаимоотношения в течение нескольких лет. Но он был не способен Трансформировать свои взаимоотношения с этой девушкой в нечто большее. Вероятно, он согласился бы с Киркегором, прочитай он его, что, если бы у него была вера, он был женился на своей Регине.

Приходится спросить, почему ему потребовалось так много времени, чтобы начать рассказывать об этой дружбе, которая, без сомнения, являлась одним из самых существенных событий в его жизни и, вполне возможно, не дала ему стать шизофреником в юношеские годы. Весьма характерно для Питера (и людей такого типа), что события в своей жизни именно такого рода он стремился тщательнее всего скрыть от других, в то время как его ничто не сдерживало, когда он говорил о беспорядочных сексуальных Ц эпизодах в детстве, о мастурбации и о садистских сексуальных фантазиях во взрослом возрасте.

Обсуждение

Насколько я мог сделать вывод, Питер никогда не был «дома» ни в своем теле, ни в этом мире. Он чувствовал себя неуклюжим, неловким, нарочитым. Можно вспомнить сообщение его дяди о нарцссистке-матери, которая не ласкала его и с ним не играла. Даже его физическое присутствие в мире едва ли признавалось. «К нему относились так, словно его не существовало». Что касается его самого, он не только чувствовал себя неуклюжим и неловким, он просто ощущал вину «в первую очередь за то, что он вообще есть в этом мире».

По-видимому, мать смотрела только на себя. Она была слепа к нему. Его не видели. Не чистая случайность, что он стал таким хорошим товарищем, скорее «матерью», слепой девочке, которая не могла его видеть. Существовало множество граней этой дружбы, но один ее важный аспект заключался в том, что он ощущал себя вместе с девочкой в безопасности, поскольку он ее видел, а она его нет;

более того — она отчаянно в нем нуждалась: он был ее глазами; и, конечно же, он мог позволить жалеть ее так, как он не мог жалеть мать. Эта девочка, сторожевые собаки, собаки в питомнике были единственными живыми существами, по отношению к которым он мог проявить и от которых он мог получить спонтанную любовь.

Почти со всеми людьми он пускал в ход систему ложного «я», основанную на угождении их желаниям и притязаниям в отношении него. Пока он продолжал этим заниматься, он начинал все больше и больше ненавидеть других и самого себя. Пока его

ощущение того, что собственно принадлежало его истинному «я», все больше и больше сужалось, это «я» начинало чувствовать себя все более и более ранимым, а он становился все более и более напуган тем, что другие люди смогут проникнуть сквозь его фальшивую личность в святая святых — его тайные фантазии и мысли.

Он был способен продолжать, внешне нормальным образом, обдуманно использовать два метода, которые он назвал «разобщение» и «отцепление». Под разобщением он подразумевал увеличение экзистенциальной дистанции между своим «я» и миром. Под отцеплением он понимал разрыв любых взаимоотношений между своим истинным «я» и своим отвергнутым ложным «я». По существу, эти методы должны были предотвращать разоблачения и имели множество вариантов. Например, когда он находил дома или среди знакомых, он чувствовал себя неловко, пока не подбирал себе какую-нибудь роль, которая не являлась им самим и которую он ощущал как подходящую личину. Затем он мог, по его словам, «отцепить» свое «я» от своих поступков и действовать спокойно, безо всяких тревог. Однако по различным причинам это не являлось удовлетворительным разрешением его затруднений. Если он последовательно был не способен в течение длительного промежутка времени вкладывать в поступки свое «я», он ощущал с возрастающей силой ложность своей жизни, отсутствие желания что-либо делать, неизменное чувство скуки. Более того, защита не была «рассчитана на дураков», поскольку время от времени охрана засыпала и он ощущал взгляд или замечание, проникавшее в сердцевину его «я».

Его ощущение нахождения «в опасности» из-за взгляда других стало более навязчивым, и его не так легко было нейтрализовать с помощью приема непозволения им видеть его «я». Временами он чувствовал — и имел трудности в устранении этого впечатления, — что они видели насквозь его притворство.

Его озабоченность собственной видимостью, как я считаю, была попыткой возмещения подспудного чувства, что он — никто (не имеет тела). Существовало первичное несоответствие в реальности его собственного переживания самого себя как воплощенного, и именно отсюда проистекала его озабоченность своим телом-для-других, то есть телом видимым, слышимым, обоняемым и осязаемым другим человеком. Неважно, насколько мучительно было для него такое осознание «я», оно неизбежно возникало из того факта, что переживания его собственного тела были настолько отцеплены от его «я», что он нуждался в осознании себя как реального объекта для других, чтобы уверить себя таким обходным путем в том, что он обладает материальным существованием.

Кроме того, его заблуждение относительно исходящего от него запаха также становилось труднее поколебать.

Однако он обнаружил еще один способ подлаживания к своим особым тревогам, который имел прямо противоположные выгоды и невыгоды. Он мог, по его ощущениям, быть самим собой с другими, если они ничего о нем ве знали. Однако это являлось требованием, которое необходимо было точно выполнять. Это означало, что ему пришлось отправиться в другую часть страны, где он быд, «чужим». Он ездил с места на место, никогда не останавливаясь на достаточно долгий срок, чтобы его не узнали, каждый раз под другим именем. При таких условиях он мог быть (почти) счастлив — в течение какого-то времени. Он был «свободен» и мог стать «спонтанным». Он мог даже иметь сексуальные отношения с девушками. Он не был «застенчивым», и у него не было «идей отношения». Они больше не возникали, поскольку внутреннее отщепление его «я» от тела было уже необязательно. Он мог бы стать воплощенной личностью, если бы действительно был инкогнито. Однако, если его узнавали, ему приходилось возвращаться в развоплощенное состояние.

Фантазия об анониме, или инкогнито, или чужестранце чужом краю, реализованная им, обычна у людей с идеями отношения. Они ощущают, что, если бы они смогли убежать от своих коллег или покинуть город и начать все заново, все было бы в порядке. Они зачастую решают переходить с работы на работу или переезжать с места на место. В течение короткого времени такая защита действует, но она может существовать, лишь пока они

анонимны: очень трудно не быть «обнаруженным». И они обязаны становиться подозрительными и осторожными, как лазутчики на вражеской территории, из-за того что другие якобы пытаются «подловить их» и «заставить их раскрыться»*.

Питер, например, не решался даже в чужом городе пойти в парикмахерскую. Его тревога по поводу парикмахерской не была в первую очередь выражением страха кастрации, во всяком случае в привычном смысле данного термина. Скорее он беспокоился, что придется отвечать на вопросы о самом себе, которые может задать парикмахер, какими бы «невинными» они ни оказались, например: «Вы любите футбол?», «Что вы думаете о том парне, который выиграл семьдесят пять тысяч фунтов стерлингов?» и т. п. В кресле парикмахера он был пойман: для него это была кошмарная ситуация, при которой, снимая с его головы волосы, с него снимут и анонимность, когда ему придется скомпрометировать себя, на мгновение влипнув во что-нибудь определенное. «В то время как люди обычно говорят, чю они приехали из того или иного места, или работают гам-то или там-то, или знают того-то и того-то, я пытаюсь, насколько возможно, не дать знать, откуда я, чем занимаюсь

и кого знаю…»

Сходным образом он был не способен записаться в одну публичную библиотеку, чтобы иметь один билет на свое собственное имя. Вместо этого он брал книги в различных библиотеках по всему городу, и в каждом читательском билете стояло вымышленное имя и подложный адрес. Если он считал, что библиотекарь начинает его «распознавать», он больше в эту библиотеку не возвращался.

*Я не предполагаю, что все идеи отношения должны пониматься именно так.

Хотя такую защиту трудно держать, поскольку она в самом деле требует столько же усилий, умения и бдительности, сколько необходимо лазутчику на вражеской территории, пока Питер мог чувствовать, что он не «обнаружен» и не «распознан», этот метод избавлял его от необходимости в постоянных «отцплениях» и «разобщениях». Но он требовал постоянной настороженности, поскольку Питер никогда не мог выйти из опасной зоны. Однако на этой стадии его ситуация, хотя и трудная, не была отчаянной. Конечно, она сделалась критической, поскольку шизоидная система защиты, которая являлась его «модусом вивенди», попыткой найти какой-нибудь подходящий способ жизни в мире, стала интенциональным проектом самоуничтожения. Именно тогда, когда это произошло, его далеко не крепкое душевное здоровье прошло критическую точку и начался психоз.

Истинная и ложная вина

Теперь мы должны более пристально рассмотреть чувство вины, которому был подвержен Питер, и его последствия. Мы помним, что он не только чувствовал себя неуклюжим и неловким, но просто ощущал вину «в первую очередь за то, что он есть в этом мире». На таком уровне его чувство вины не было привязано к чему-то, что он думал или делал; он ощущал, что у него нет права занимать пространство. Не только это — у него было глубоко укоренившееся убеждение, что вещество, из которого он сделан, гнилое. Его фантазии об анальном половом акте и производстве детей, сделанных из испражнений, являлись выражениями этого убеждения. Подробности таких фантазий нас сейчас не интересуют, разве что постольку, поскольку они содействуют апперцепции его «я» как сделанного из навоза и помета. Если его отец называл его «здоровенным мешком с мукой», то он сам пошел гораздо дальше. Будучи убежденным, что он — никчемный мешок с дерьмом, он чувствовал вину за то, что казался другим чем-то ценным.

Он чувствовал себя дурным из-за мастурбации. Однако затруднения с его чувством вины, по-моему, объясняются с помощью любопытной подробности: когда он бросил мастурбировать, его ощущение никчемности усилилось, а когда он начал ничего не делать и быть никем, его запах стал невыносимым. Как он позднее сказал о своем запахе, «это более или менее мое уважение к себе; это действительно форма самоотвращения». Он, так сказать, столь сильно вонял у себя в ноздрях, что едва мог

это вынести.

В сущности, у него было два полностью антитетических и противоположных источника вины: один побуждал его к жизни, другой — к смерти. Один был созидательным, другой — разрушительным. Чувства, которые они вызывали, были различны, но оба мучительны. Если он делал что-то, являвшееся выражением самоутверждения, бытия ценной и достойной личности, ему думалось: «Это обман и, притворство; ты никчемен». Однако, если он настаивал и отказывался одобрить этот ложный совет совести, он не чувствовал себя столь опустошенным, нереальным или мертвым, и он не пахнул столь скверно. С другой стороны, если он решительно пытался быть ничем, он по-прежнему чувствовал себя притворщиком и обманщиком; он по-прежнему испытывал чувство тревоги; и он так же принудительно осознавал свое тело, как объект восприятия других людей.

Наихудшим итогом всех попыток быть ничем стала мертвенность, объявшая все его существование. Эта мертвенность пропитывала переживание его «отцепленного „я“», переживание его тела и восприятие «разобщенного» мира. Все начало останавливаться. Мир стал терять ту реальность, которую он имел для него, и ему было трудно вообразить, что у него есть какое-то существование-для-других. Хуже того, он начал чувствовать себя «мертвым». Из его последующего описания этого чувства можно увидеть, что оно включало в себя потерю ощущения реальности и жизненности тела. Сердцевиной этого чувства было отсутствие переживания своего тела как реального объекта-для-других. Он начинал существовать лишь для самого себя (невыносимо) и прекращал ощущать, что обладает каким-то существованием в глазах мира.

Кажется вероятным, что во всем этом он боролся с первичным разрывом в двумерном переживании самого себя, которого обращение родителей или, точнее, неумение обращаться, его лишило. Его вынужденная озабоченность (которую он ощущал как крайне неприятную) своей осязаемостью, обоняемостью и т. п. для других — это отчаянная попытка сохранить то самое измерение живого тела:

оно обладает бытием-для-других. Но ему приходилось «накачивать» ощущение этого измерения для своего тела вторичными, искусственными и принудительными способами. Это измерение его переживания не было установлено в первичном смысле, исходя из изначальной ситуации в детстве, и разрыв был заполнен не каким-то более поздним развитием чувства любви и уважения к нему как к личности, а ощущением, что практически всякая любовь есть замаскированное преследование, поскольку она нацелена превратить его в вещь для другого — в перо на шляпе его школьного учителя, как он это выразил.

Однако, хотя данный пациент имел трудности в школе и на работе, хотя он ощущал, что в школе был притворщиком и обманщиком, а в конторе испытывал панику, намного более детально он сам начал обдуманно культивировать этот раскол в своем бытии, так что его состояние стало угрожающим. Он говорил, что пытался «разобщиться со всем», и это было правдой; а к этому он добавил свой метод «отпепления». С помощью него он пытался разрубить узы, связывающие вместе различные аспекты его бытия. В частности, он пытался не быть «в» своем действии или выражении — не быть тем, что он делает. Видно, что здесь он играл на переходном положении телесных действий и выразительных средств между человеком и миром. Теперь он попытался сказать: «То во мне, что может быть объектом-для-других, не есть я».

Тело явно занимает двусмысленное переходное положение между «мной» и миром. С одной стороны, оно является сердцевиной и центром моего мира, а с другой — оно есть объект в мире других. Питер пытался отцепить себя от всего в себе, что могло быть воспринято кем-нибудь еще. Вдобавок к попытке отвергнуть всю констелляцию установок, притязаний, действий и т. п., которая увеличилась при угождении миру и которую он теперь старался отцепить от своего внутреннего «я», он стал стремиться свести все свое бытие к небытию: он начал, как только мог систематично, становиться ничем. К убеждению, что он — никто, что он — ничто, добавилось такое ощущение честности этого факта: быть ничем. Он чувствовал, что, если он был никем, ему и следует стать никем. Анонимное бытие является одним из способов магического перевода этого убеждения на язык факта. Когда он

бросил работу, он разъезжал по стране, постоянно находясь в движении. Место его проживания — нигде. Он ехал откуда угодно куда угодно; у него не было прошлого, не было будущего. У него не было имущества, не было друзей. Будучи ничем, не зная никого, не известный никому, он создавал условия, облегчавшие ему веру в то, что он никто.

Грех Онана при проливании своего семени на землю состоял в том, что тем самым он расточал свою производительную силу и творческую способность. Вина Питера, как он позднее это выразил, заключалась не просто в том, что он мастурбировал и фантазировал на садистские темы, но в том, что не имел смелости делать с другими то, что делал с ними в фантазиях. И когда он попытался (до некоторой степени успешно) обуздать, если уж не совсем подавить, свои фантазии, его вина стала состоять не в том, что у него были такие фантазии, а в том, что он их подавляет. Когда он начал превращать себя в ничто, его вина была не только в том, что у него не было права делать все то, что мог делать обычный человек, а в том, что у пего не было смелости делать это снова и снова вопреки и назло своей совести, которая стремилась сказать ему, что все сделанное в этой жизни среди людей неправильно. Его вина заключалась в одобрении собственным решением ощущения, что у него нет права на жизнь, и в закрытии себе доступа к возможностям этой жизни.

То есть он ощущал вину не столько за свои вожделения, побуждения или порывы сами по себе, но потому, что у него не было смелости стать реальной личностью, делая реальные вещи с реальными людьми в реальности. Он ощущал вину не просто за свои желания, но за то, что они остались лишь желаниями. Его чувство опустошенности проистекало из того факта, что желания выполнялись только в фантазиях, а не в реальности. Мастурбация являлась действием, в котором par excellence он замещал бесплодными взаимоотношениями с фантомами фантазии творческие взаимоотношения с реальными людьми. Вместо возможной вины, которая могла бы возникнуть из реального желания реальной личности, он ощущал вину за то, что его желания были лишь фантастическими.

Вина есть зов Бытия для себя в безмолвии, говорит Хайдеггер. Аутентичной виной Питера можно назвать вину за то, что он капитулировал перед неаутентичной в и н о и, и за то, что сделал целью своей жизни не быть самим собой.

Однако у данного пациента наблюдалось к тому же разделение его внутреннего «я», упомянутое выше. С первых дней детства его преследовало ощущение бытия никем, и теперь он неумолимо был склонен создать условия, под- твердившие бы это чувство. Но в то же самое время он ощущал себя кем-то очень особым, посланным Богом на эту землю с особой миссией и целью. Такое пустое всесилие и ощущение посланничества пугали его, и он отвергал их как «своего рода безумное чувство». Он ощущал, что, если станет потворствовать этому чувству, это проложит путь, по выражению Эмпсона, «к сумасшедшему дому и всему, что там». Однако суровое наказание было взыскано с него за потворство альтернативному чувству. Поскольку он пытался быть никем, не живя в своем теле и посредством него, его тело, в некотором смысле, стало мертвым.

Поэтому, когда он бросил притворяться, оно заставило обратить на себя внимание как нечто прокисшее, протухшее и разлагающееся — в сущности, не живое, мертвое. Он отделил себя от тела психическим барьером, и как его невоплощенное «я», так и его «отцепленное» тело развили некую форму экзистенциальной гангрены.

Одно из его последних замечаний выражает суть вопроса в двух словах:

«В некотором смысле я был мертв. Я отрезал себя от других людей и закрылся в себе. И я мог видеть, что в некотором смысле становишься мертвым, когда это делаешь. Нужно жить в мире вместе с другими людьми. Если же нет, внутри что-то умирает. Это звучит глупо. Я по-настоящему не понимаю этого, но нечто похожее, видимо, происходит. Это странно».

9. РАЗВИТИЕ ПСИХОЗОВ

Все распадается и в стороны летит,
И в мире сем анархия царит.

ВИЛЬЯМ БАТЛЕР ЕЙТС

Мы уже рассмотрели, особенно в случаях Дэвида и Питера, шизоидные проявления, которые находятся в рискованной близости от откровенного психоза. В данной главе мы будем исследовать некоторые из путей пересечения пограничной линии и достижения состояния психоза. Здесь, конечно же, не всегда можно провести четкую границу между душевным здоровьем и болезнью, между здоровым шизоидным индивидуумом и психически больным. Порой психоз начинается столь драматично и внезапно, а его проявления бывают столь недвусмысленны, что не возникает вопросов или сомнений относительно диагноза. Однако во многих случаях не существует подобной резкой и явной качественной перемены, а имеет место лишь переход, растягивающийся на годы, и неясно, когда пройдена критическая точка.

Для того чтобы понять природу перехода от душевного здоровья к болезни, когда пунктом отправления является определенная форма шизоидного экзистенциального положения, описанного на предыдущих страницах, необходимо рассмотреть психотические возможности, возникающие из этого определенного экзистенциального контекста. Мы утверждали, что при таком положении «я» для того, чтобы развить и удержать свою индивидуальность и автономию, и для того, чтобы оказаться в безопасности от постоянных угроз со стороны мира, отрезает себя от прямой связи с другими и предпринимает попытку стать своим собственным объектом, в сущности, стать связанным непосредственно только с самим собой. Его кардинальными функциями становятся фантазия и наблюдение.

Постольку, поскольку это происходит успешно, одно непременное последствие заключается в том, что у «я» возникают трудности с поддержанием любого sentiment da reel по той самой причине, что оно не устанавливает «связи» с реальностью, оно никогда по-настоящему не «встречается» с реальностью. Как выражает это Минковский, существует потеря «витального контакта» с миром. Вместо этого взаимоотношения с другими и с миром, как мы видели, передаются системе ложного «я», чье восприятие, чувства, мысли и действия обладают сравнительно низким «коэффициентом» реальности.

Индивидуум при таком положении может казаться сравнительно нормальным, но он устанавливает внешнее подобие нормальности все более и более ненормальными и отчаянными средствами. Его «я» занимается фантазиями в частном мире «ментальных» вещей, то есть своих собственных объектов, и наблюдает за ложным «я», которое в одиночку занимается жизнью в «разделяемом с другими миром». Поскольку прямое общение с другими в этом реальном, разделяемом мире переключено на систему ложного «я», только через эту среду может общаться «я» с внешним, разделяемым миром. Отсюда проистекает то, что вначале задумывалось как охрана или барьер для предотвращения разрушительного удара по «я», но может стать стенами тюрьмы, из которой «я» не может убежать.

Таким образом, защита от мира неудачна даже в своих первичных функциях: предотвращение преследовательских ударов (разрывания) и сохранение «я» в живых путем избегания схватывания и манипулирования им как вещью другим. Тревога прокрадывается назад еще сильнее, чем когда бы то ни было. Нереальность восприятия и ложность целей системы ложного «я» распространяются на ощущение мертвенности разделяемого с другими мира как целого, на тело, фактически на все сущее, и проникает даже в истинное «я». Все становится слитым с небытием. Само внутреннее я становится полностью нереальным или «сфантазированным», расщепленным и мертвым, и оно уже не способно поддержать то непрочное ощущение собственной индивидуальности, с которого оно начало. Это чувство усиливается из-за использования тех самых возможностей, что являются самыми угрожающими в качестве средств защиты, например избегание отождествления для сохранения индивидуальности (поскольку, как мы указывали выше, индивидуальность достигается и поддерживается двумерно, она требует признания самое себя как другими, так и простого признания собой) или обдуманное культивирование состояния смерти-в-жизни как защиты от жизненных мучений.

Усилия, предпринимаемые с целью как дальнейшего ухода «я», так и возвращения «я», начинают складываться в одном и том же направлении психоза. С одной стороны, шизоидный индивидуум может отчаянно попытаться быть самим собой, вновь обрести и сберечь свое бытие. Однако очень трудно отделить желание быть от желания не быть, поскольку все делаемое шизоидной личностью по своей природе запутанно и двусмысленно. Можно ли сказать однозначно о Питере, стремился ли он разрушить себя или все-таки себя сохранить? Ответа нельзя получить, если мы думаем о составляющих ситуации «или-или» как взаимоисключающих. Защита Питера от жизни в большой мере была созданием некоей формы смерти внутри жизни, которая, как казалось, предоставляла внутри себя некоторое освобождение от тревоги, по крайней мере на время. Для того чтобы выжить, ему приходилось прикидываться мертвым. Питер мог либо «быть самим собой», когда он анонимен или инкогнито, то есть когда он неизвестен другим, либо мог позволить себе быть известным для других, если не являлся самим собой. Такую двусмысленность нельзя поддерживать неограниченно долго, поскольку ощущение индивидуальности требует существования другого, которому человек известен, и сочетание признания человека этой другой личностью с самопризнанием. Невозможно неограниченно долго сохранять душевное здоровье, если пытаться стать человеком, разобщенным со всеми остальными и отцепленным даже от большой части собственного бытия.

Подобный образ бытия-для-других предполагал бы способность установить реальность посредством, в сущности, аутистической индивидуальности. Он предполагал бы, что в конечном счете возможно быть человеком без диалектических взаимоотношений с другими. По-видимому, главная цель такого маневрирования — сохранение внутренней индивидуальности от воображаемого разрушения из внешних источников путем уничтожения любого прямого доступа снаружи к этому внутреннему «я». Но без определения «я» другим, без вовлечения в «предметную» стихию и без жизни в диалектическом взаимоотношении с другими «я» не способно сохранить ту непрочную индивидуальность или жизненность, которой ono уже может обладать.

Изменения, которым подвергается внутреннее «я», частично уже были описаны. Их можно перечислить следующим образом:

1) оно становится «сфантазированным» или «улетучившимся» и, следовательно, теряет какую-либо твердо закрепленную индивидуальность;

2) оно становится нереальным;

3) оно становится обедненным, пустым, мертвым и расколотым;

4) оно становится все больше и больше наполнено ненавистью, страхом и завистью.

Вот четыре аспекта одного процесса, увиденные с разных точек зрения.

Джеймс довел этот процесс до границ душевного здоровья, а на самом деле, вероятно, и за эти границы. Этот молодой двадцативосьмилетний человек, что часто оказывается сутью дела, обдуманно культивировал раскол между тем, что он считал своим истинным «я», и системой ложного «я».

В его разуме едва ли хоть один взгляд на что-либо, хоть одна мысль или действие не были ложными и нереальными. Видение, мышление, чувства, поступки были чисто «машинальными» и «нереальными», поскольку они являлись просто способом, которым «они» видели вещи, думали, чувствовали или действовали. Когда он шел утром на электричку и встречал кого-то, ему приходилось идти нога в ногу с другим человеком, говорить и смеяться, как все говорят и смеются. «Если я открывал дверь поезда и пропускал кого-то вперед себя, это была не тактичность — это просто способ действий такой же, как у всех остальных». Однако его попытки казаться похожим на всех остальных сопровождались таким возмущением другими и таким презрением к себе, что его действительное поведение являлось причудливым продуктом конфликта между сокрытием и раскрытием своих «истинных» чувств.

Он пытался утвердить свою индивидуальность эксцентричными идеями. Он был пацифистом, теософом, астрологом, спиритуалистом, оккультистом и вегетарианцем.

По-видимому, тот факт, что он мог разделять с другими на худой конец свои странные идеи, был, вероятно, самым важным и единственным фактором в сохранении им душевного здоровья. Ибо в этих ограниченных областях он порой был способен быть вместе с другими, с кем он разделял свои идеи и странные переживания. Подобные идеи и переживания способствуют изоляции человека от его собратьев в нашей нынешней западной культуре и, если они в то же самое время не служат втягиванию его в небольшую группу сходных «эксцентриков», его изоляция чревата переходом к психотическому отчуждению. Например, его «схема тела» простиралась за пределы рождения и смерти и размывала обычные ограничения времени и пространства. У него были всевозможные «мистические» переживания, при которых он чувствовал себя соединенным с Абсолютом, с Единой Реальностью. Законы, по которым, как он тайно «знал», управлялся этот мир, были всецело магическими. Хотя он и был по профессии химиком, «истинно» он верил не в законы химии и вообще науки, а в алхимию, черную и белую магию и астрологию. Его «я», только частично реализованное во взаимоотношениях с людьми, разделявшими его взгляды, становились все более и более захваченным миром магии, частью которого оно само являлось. Объекты фантазии или воображения подчиняются магическим законам, они имеют магические, а не реальные взаимоотношения. Когда «я» все больше и больше участвует в фантастических взаимоотношениях и все меньше и меньше — в прямых реальных, оно теряет при этом свою собственную реальность. Оно становится, как и объекты, с которыми связано, магическим фантомом. Под этим подразумевается, что для подобного «я» все что угодно становится возможным, безоговорочным, тогда как в реальности любое желание должно быть рано или поздно обусловленным и конечным. Если же это не так, «я» может быть кем угодно, где угодно и жить в какое угодно время. В случае с Джеймсом мы подбираемся к сути. «В воображении» росло и набиралось фантастических сил (оккультных, магических и мистических) убеждение — характерно смутное и неопределенное, но тем не менее вносящее вклад в идею, — что он не просто Джеймс из данного времени и пространства, сын таких-то родителей, но кто-то очень особый, имеющий чрезвычайную миссию, вероятно перевоплощение Будды или Христа.

Истинное «я», более не привязанное к бренному телу, становится, так сказать, «сфантазированным», улетучившимся и превратившимся в переменчивый фантом собственного воображения индивидуума. Кроме того, изолированное защитными средствами от опасностей снаружи, ощущаемых как угроза его индивидуальности, «я» теряет ту непрочную индивидуальность, которую оно уже имеет. Более того, уход от реальности приводит в итоге к собственного обеднению «я». Его всесилие основывается на бессилии. Его свобода действует в вакууме. Его деятельность лишена жизни. Оно становится иссушенным и мертвым.

В мире своих снов Джеймс переживал самого себя еще более одиноким в некоем опустошенном мире, чем наяву. Вот несколько фрагментов его сновидений:

1) Я обнаружил себя в какой-то деревушке. Я осознал, что она брошена: в ней стоят одни развалины, нет ни следа жизни…

2) …Я стоял посреди некоей бесплодной равнины. Она была абсолютно плоская. В окоеме не было видно никаких проявлений жизни. Трава едва пробивалась. Ноги у меня увязли в грязи…

3) …Я находился в уединенном месте среди камней и песков. Я из-за чего-то туда убежал. Теперь я пытался вернуться куда-то, но не знал, в какую сторону идти…

Трагическая ирония состоит в том, что даже в самом конце тревоги не избежать, тогда как любая тревога становится еще более мучительной из-за вливания во все переживания — и наяву, и во сне — постоянного ощущения небытия и мертвенности.

«Реальным» может быть «я» только в связи с реальными людьми и вещами. Но оно боится, что будет поглощено или проглочено при любых взаимоотношениях. Если «я» начинает играть лишь с объектами фантазии, пока ложное «я» устраивает дела с миром, во всех элементах переживания происходят всевозможные глубокие феноменологические

изменения.

Таким образом, мы уже достигли той точки, где «я», будучи трансцендентным, пустым, всесильным и по-своему свободным, начинает становиться всем, кем угодно, в фантазии и никем в реальности.

Такое «я» связано в первую очередь с объектами своих собственных фантазий. Будучи тем самым «я»-в-фантазии, оно становится фактически улетучившимся. В ужасе от вверяемости себя предметной стихии, оно стремится сохранить свою индивидуальность. Но, уже не привязанное к факту, к обусловленному и определенному, оно оказывается в опасности потерять то, что превыше всего стремилось сберечь. Теряя обусловленное, оно теряет индивидуальность; теряя реальность, оно теряет возможность действенно пользоваться в мире свободой выбора. Убегая от угрозы убийства, оно становится мертвым. Индивидуум теперь уже не может переживать мир так, как переживают его другие люди, хотя может по-прежнему знать, каков он для других, если уж не для него. Но непосредственное ощущение реальности этого мира нельзя поддержать с помощью системы ложного «я». Более того, система ложного «я» не может подвергнуть реальность испытанию, поскольку проверка реальности требует собственного ума, который может выбирать наилучшие из альтернатив и т. п., и именно недостаток собственного ума делает ложное «я» ложным.

Когда переживание из внешнего мира просачивается к внутреннему «я», это «я» не может больше ни переживать, ни давать выражение своим собственным желаниям социально приемлемым образом.

Социальная приемлемость становится чистым трюком, методом. Собственный взгляд на вещи, смысл, который они имеют для человека, его чувства, их выражение теперь, вероятно, становятся по крайней мере странными и эксцентричными, а то и причудливыми и безумными. Такое «я» становится все более и более запечатанным внутри своей собственной системы, тогда как адаптация и в конечном итоге приспособление к изменяющимся переживаниям проводятся ложным «я». Система ложного «я» явно весьма гибка: она работает с новыми людьми и приспосабливается к изменяющейся обстановке. Но «я» не идет нога в ногу с изменениями в реальном мире. Объекты его фантастических взаимоотношений остаются теми же основными фигурами, хотя они подвергаются модификации, к примеру в направлении большей идеализации, или у них становятся сильнее выражены черты преследователя. Нет и мысли, чтобы проверить, испытать, исправить эти фантомные фигуры (имаго) с точки зрения реальности. В сущности, сделать это нет возможности. Теперь «я» индивидуума не предпринимает попыток воздействовать на реальность, чтобы произвести в ней реальные изменения.

В то время как «я» и его имаго подвергаются описанньм выше модификациям, система ложного «я» испытывает параллельные изменения.

Вспомним изначальное положение, которое схематично можно представить таким образом:

«я» <-> (тело-мир)

Тело есть niveau системы ложного «я», но эта система задумана индивидуумом для овеществления и распространения за пределы чисто телесной деятельности. Она состоит в большой мере из всех тех аспектов «бытия», которые внутреннее «я» отвергло как не выражающие его. Таким образом, как в случае с Джеймсом, тогда как «я» удаляется во все более и более исключительно фантастические взаимоотношения и к «отстраненному», безучастному наблюдению дел ложного «я» и других, система ложного «я», по ощущениям, вторгается все дальше и дальше, все глубже и глубже в бытие индивидуума, пока практически все не воспринимается как принадлежащее этой системе. Джеймс в конечном итоге едва ли мог воспринять какой-либо объект зрением, слухом и, особенно, осязанием, да и делать что-либо без участия своих чувств — значит быть «не самим собой». Мы уже приводили несколько примеров. Их можно умножать до бесконечности, поскольку именно таким образом он переживал свои действия дома, на работе и в кругу друзей. Воздействие

такого образа бытия на природу системы ложного «я» можно теперь подытожить следующим образом:

1) система ложного «я» становится все более и более обширной;

2) она становится более автономной;

3) она становится «тревожимой» принудительными поведенческими фрагментами;

4) все принадлежащее ей, становится все более и более мертвым, нереальным, ложным и машинальным.

Отделение «я» от тела и тесная связь между телом и другими предоставляют себя психотическому положению, в котором тело понимается не только как действующее для подчинения другим и их задабривания, но как находящееся в фактическом владении других. Индивидуум попадает в положение, где чувствует не только то, что его восприятие ложно, поскольку он постоянно смотрит на вещи глазами других людей, но и то, что опи надувают его, поскольку смотрят на мир его глазами.

Джеймс почти дошел до этой точки. Он уже почувствовал, что мысли у него в «мозгу», как он это всегда выражал, в действительности не его. Большая часть его интеллектуальной деятельности являлась попыткой овладеть своими мыслями, подвести мысли и чувства под его контроль. Например, жена дает ему на ночь чашку молока. Не задумываясь, он улыбается и говорит: «спасибо». Тотчас хе его охватывает отвращение к самому себе. Его жена действовала просто машинально, и он ответил с точки; рения той же самой «социальной машинерии». Разве он хотел молока? Разве ему хотелось улыбаться? Разве ему хотелось говорить «спасибо»? Нет. Однако он все это сделал.

* Связь расщеплений в бытии человека с различными модальностями органов чувств остается понятой весьма неадекватно.

Ситуация, с которой сталкивается индивидуум в положении Джеймса, критическая. Он в большой мере стал нереальным и мертвым. Реальность и жизнь больше уже яе могут прямо ощущаться или переживаться, хотя ощущение этой возможности не потеряно. У других есть реальность и жизнь. Реальность и жизнь существуют, вероятно, в Природе (более конкретно, в теле Матери-Природы), или их можно ухватить в определенных типах переживания: их можно вновь обрести благодаря интеллектуальной дисциплине и контролю. Однако «я» наполнено ненавистью в своей зависти к богатой, яркой и изобильной жизни, которая всегда повсюду: всегда — там, никогда — здесь. Такое «я», как мы сказали, пусто и сухо. Можно назвать его оральным «я», поскольку оно пусто и к тому же стремится и боится быть наполненным. Но его ораль-ность такова, что оно никогда не может быть насьпцено никаким количеством пития, поедания, жевания и глотания. Оно ничего не способно включить в себя. Оно остается бездонной бочкой, зияющей утробой, которую никогда не наполнить. Во влажном мире оно не сможет утолить жажду. Чувство вины, которое могло бы возникнуть, если бы можно было проглотить и уничтожить мир (в некотором смысле) как пищу, для созидательных целей, возникнуть не может. Такое «я» пытается уничтожить мир, превращая его в прах и пепел, но не усваивая его. Его ненависть сводит объект на нет, но его не переваривает. Таким образом, хотя «я» опустошено и отчаянно завидует доброму (жизни, реальности), которое, как оно воображает, пребывает в других, оно должно скорее уничтожать его, чем принимать. Оно становится вопросом «получения» жизни и реальности некоторым образом, который не приведет в итоге к истреблению «я». Но разрушение реальности и тайное ее приобретение к этому времени являются в основном магическими процедурами. Такие магические способы тайком приобрести реальность включают в себя следующие:

1) прикосновение;

2) копирование, имитирование;

3) магические формы кражи.

Индивидуум может даже получить некоторую степень уверенности, если сможет вызвать у себя непосредственное впечатление реальности у других. (Такие методы иллюстрируются случаем Розы — см. с. 159 и дальше.)

Дополнительная попытка пережить реальные жизненные чувства может быть совершена, если человек подвергнет себя сильной боли или заставит себя испытать ужас. Так, одна шизофреничка, имевшая обыкновение тушить сигареты о тыльную сторону ладони, нажимать что есть сил большими пальцами на глазные яблоки, медленно выдирать волосы и т. п., объяснила, что занимается подобными вещами для того, чтобы пережить что-нибудь реальное. Очень важно понять, что эта женщина не добивалась мазохистского удовлетворения, не была она и анестетичной. Ощущения у нее были не слабее нормы. Она могла чувствовать все, кроме жизни и реальности. Минковский сообщает, что одна его пациентка по сходным причинам подожгла свою одежду. Безучастная шизоидная личность может «искать приключений», добиваться крайне глубокого волнения, ставить себя в крайне рискованные положения, чтобы «напугать себя до жизни», как выразился один пациент. («О ты, дочь эфира, явись ко мне из отцовских садов, и если не можешь пообещать мне бренного счастья, испугай, О испугай мое сердце еще чем-нибудь»-Фридрих Гельдерлин.) Однако эти попытки ни к чему не могут привести. Как выразил это Джеймс, почти что словами просителя Кафки: «Реальность удаляется от меня. Все, до чего я дотрагиваюсь, все, о чем я думаю, все, с кем я встречаюсь, становятся нереальными, как только я приближаюсь…»

При прогрессирующей потере реального присутствия другого и, следовательно, потере ощущения «меня-и-тебя-вместе», или мыйности, женщины могут стать более пугающими и зайти дальше, чем мужчины. Последняя надежда на прорыв к тому, что Бинсвангер называет дуальным образом бытия-в-мире, может быть достигнута через гомосексуальную привязанность, или последняя любовная связь может быть с другим в виде ребенка или животного. Босс [9] описывает роль, которую одна форма гомосексуальной любви играла у мужчины, чьи «я» и мир при его изоляции стали сжаты и сужены:

«Это человеческое существо, в котором даже „череп и сердечная мышца“ сжаты, все меньше и меньше способно „дотянуться“ до расширяющей и углубляющей экзистенциальной полноты любовного союза мужчины' и женщины. Оно уже не может достичь „небесного блаженства“, „страсти и озарения“, которые некогда означала для него любовь к кузине. Первый шаг в процессе все возрастающего опустошения его существования состоял в том, что женщина потеряла свою любовную прозрачность, будучи совершенно отличающейся от него. далеким „чужеземным“ полюсом существования; потом она оказалась за „чертой оседлости“, потом „миражем“, затем она представляла собой „непереваривaемую пищу“ и в конце концов полностью выпала из рамок его мира. Когда прогрессирующая шизофрения „истощила его мужественность“, когда большинство его собственных мужских чувств „исчерпалось“, он внезапно и впервые в жизни почувствовал тягу „открыться“ определенной форме гомосексуальной любви. Он описывал весьма красочно, как в этой гомосексуальной любви он преуспел в переживании по крайней мере половины полноты существования. Ему не пришлось очень сильно „напрягаться“, чтобы достичь такой полуполноты: существовала не очень большая опасность „потерять себя“ и „исчерпаться“ в беспредельности на такой ограниченной глубине и ширине. Наоборот, гомосексуальная любовь смогла „пополнить“ его существование „до целого человека“».

Босс считает, по-моему, правильно, что«…такое наблюдение бросает новый свет на важное утверждение Фрейда о том, что гомосексуальные склонности регулярно встречаются у всех параноиков. Фрейд считал, что такая гомосексуальность является причиной развития мыслей о преследовании. Однако мы не видим в обоих феноменах — в такого рода гомосексуальности и в идеях преследования — ничего, кроме двух параллельных форм выражения одного и того же сжатия и разрушения человеческого существования, а именно две разные попытки вновь обрести утерянные части своей личности».

Индивидуум находится в мире, в котором он, словно некий кошмарный Мидас, умерщвляет все, к чему приближается. Существуют, вероятно, только две дополнительные возможности, открытые для человека на такой стадии:

1) он может решиться «быть самим собой» несмотря ни на что, или

2) он может попытаться убить свое «я».

Оба эти проекта, если их довести до конца, вероятнее всего, приведут в итоге к явному психозу. Мы рассмотрим их отдельно.

Индивидуум, чья система ложного «я» осталась нетронутой или не опустошилась под атаками со стороны «я» или из-за накопления временных фрагментов инородного поведения, может представлять собой кажимость полной нормальности. Однако за этим здоровым фасадом внутренний психотический процесс может продолжаться — тайно и безмолвно.

Явно нормальные и успешные попытки приспособления и адаптация индивидуума к обычной жизни начинают восприниматься его истинным «я» как все более и более позорное и (или) смехотворное притворство. Pari passu его «я», при собственных сфантазированных взаимоотношениях, стало все более и более улетучивающимся, свободным от случайностей и необходимостей, обременяющих его как объект среди других в этом мире, где, как оно знает, оно вверит себя бытию в данное время и в данном месте, будет подвержено жизни и смерти и внедрено в данную плоть и данные кости. Если «я», вот так улетучившееся в фантазию, теперь охватывает желание убежать из своей заколоченнос-ти, прекратить притворяться, стать честным, открыться, показаться и позволить себе быть узнанным без двусмысленностей, можно стать свидетелем начала острого психоза.

Подобная личность, хотя и здоровая снаружи, постепенно становится больной внутри. Случаи такого рода могут представлять собой при поверхностном осмотре трудную задачу, поскольку, обозревая «объективную» историю, можно не найти объяснимых сокрушительных стрессов или, даже при ретроспективном взгляде, хоть каких-то очевидных указаний на то, что такой ход событий угрожал человеку. Только когда удается выведать у самого индивидуума историю его «я», а не т о, чем обычно является при таких обстоятельствах психиатрическая история, историю системы ложного «я», его психоз становится понятен.

Ниже приведены два описания совершенно обыденных, знакомых каждому психиатру психозов, начавшихся «ни с того ни с сего», данные «снаружи». С такой точки зрения они должны остаться трудными для понимания.

Молодой человек двадцати двух лет считался родителями и друзьями совершенно «нормальным». Будучи в отпуске у моря, он отправился в море на лодке. Его подобрали несколько часов спустя, дрейфующего далеко от берега. Он оказал сопротивление спасателям, говоря, что потерял Бога и отправился в океан Его искать. Этот инцидент обозначил начало явного психоза, потребовавшего госпитализации на несколько месяцев.

Мужчина пятидесяти с небольшим лет, не имевший прежде никаких проблем с «нервами», по крайней мере насколько знала жена, и казавшийся ей, до начала тяжелого психоза, абсолютно «обычным», жарким летним днем отправился с женой и детьми на пикник на берег реки. После еды он полностью разделся, хотя поблизости находились другие отдыхающие, и вошел в воду. Это, вероятно, было не более чем необычно. Зайдя в реку по пояс, он окатился водой. Теперь он отказывался выходить, говоря, что крестил себя водой от своих грехов, которые заключались в том, что он никогда не любил жену и детей, и что он не оставит воду, пока не очистится. В конце концов его вытащила из реки полиция и поместила в психбольницу.

В обоих этих случаях — ив других, описанных повсюду, — душевное здоровье, то есть внешне «нормальный» облик, одежда, моторное и вербальное поведение (все наблюдаемое) поддерживались системой ложного «я», в то время как «я» становилось все более и более вовлеченным не в мир, каков он есть, а в мир, каким его видит «я».

Совершенно уверен, что огромное количество «лечений» психотиков заканчивается тем, что пациент решает, по той или иной причине, еще раз сыграть в здорового.

Далеко не необычно для деперсонализированных пациентов, будь то шизофреники или нет, говорить об убийстве их «я», а также о потере или краже их «я».

Подобные заявления обычно называют маниями, но если это мании, то это мании, содержащие экзистенциальную истину. Их нужно понимать как заявления, которые буквально верны в компетенции индивидуума, который их делает.

Шизофреник, говорящий, что он совершил самоубийство, может быть абсолютно ясен в том отношении, что он не перерезал себе горло и не бросился в канал, и он может ожидать, что это в равной степени ясно личности, к которой он обращается, иначе этот человек будет выглядеть дураком. Фактически он делает множество таких заявлений, которые могут быть нарочно задуманы как ловушки для тех, кого он считает идиотами, и целого стада непонимающих. Для подобного пациента, вероятно, было бы совершенно нелогично пытаться убить свое «я», перерезав горло, поскольку его «я» и его горло имеют лишь незначительную и отдаленную связь друг с другом — достаточно отдаленную, чтобы случившееся с одним имело хоть какое-то отношение к другому. То есть его «я» фактически невоплощено. Вероятно, «я» понимается как бессмертное или сделанное из почти неуничтожаемой нетелесной субстанции. Он может называть его «жизненной субстанцией» или своей «душой» или даже давать ему свое собственное имя и ощущать, что у него могут его украсть. Это одна из идей, центральных для знаменитого психоза Шребера.

Мы можем подойти к этому весьма трудному психоти-ческому материалу, сравнив страх потери «я» с более знакомой невротической тревогой, которая может скрываться за жалобой на импотенцию. При импотенции можно обнаружить следующую латентную фантазию. Индивидуум боится потерять детородную функцию, так что сохраняет ее использование (избегает кастрации), делая вид, что он кастрирован. Он отражает угрозу кастрации, притворяясь самому себе, что уже кастрирован, и действуя, будто это так и есть. Психотик использует защиту, основанную на тех же самых принципах, но она проводится не в отношении пениальных функций, а в отношении «я». Это предельная и самая парадоксально абсурдная из возможных защит, дальше которой не идут даже магические защиты. И насколько я мог видеть, она, в той или иной своей форме, является основной защитой при любой форме психоза. В наиболее общей форме ее можно выразить так: отрицание бытия как средство сохранения бытия. Шизофреник чувствует, что убил свое «я», и это происходит, чтобы избежать убийства. Он мертв, для того чтобы остаться в живых.

Многообразные факторы могут сойтись вместе, чтобы так или иначе подсказать индивидууму, что надо избавиться от своего «я». Даже усилиям «я», становящегося отделяемым и неотождествляемым с телом и практически любой мыслью, чувством, действием или восприятием, не удалось в конце концов освободить его от подверженности тревоге; оно оставлено без единого возможного преимущества обособления и подвержено всем тревогам, от которых изначально стремилось уклониться.

Два следующих случая демонстрируют огромное несчастье индивидуума, впутанного в подобные проблемы.

Я увидел Розу, когда ей было двадцать три года. Во время беседы она сказала, что боится, что сходит с ума, и это фактически так и было. Она пожаловалась, что к ней возвращаются жуткие воспоминания, от которых она не может избавиться, как ни пытается. Но теперь она нашла ответ на все это. Теперь она старалась, по ее словам, забыть эти воспоминания, забыв себя. Она попыталась сделать это, все время глядя на других людей и, следовательно, не обращая внимания на себя. Поначалу для нее заключалось некоторое облегчение в чувстве, что ее побеждают, а она не хочет бороться. Но что-то в ней сопротивлялось этому. Она была подавлена и продолжала пробовать что-то делать, но это отнимало все больше и больше сил, пока каждая мысль или движение не стали ощущаться так, словно нуждались в преднамеренном волевом акте. Но затем она поняла, что у нее больше нет силы воли — она ее всю использовала. Более того, она боялась делать что-либо от своего имени или брать личную ответственность за делаемое собой. В то же самое время она сказала, что мучима чувством, что она уже не управляет своей жизнью: «Мое собственное бытие находится в чьих-то руках, а не в моих». У нее не было собственной жизни, она просто существовала. У нее не было для себя ни цели, ни рвения, ни смысла. Она чувствовала, как она сказала, что «она» недавно «опустилась прямо вниз», и хотела выбраться «оттуда» теперь, пока не стало слишком поздно, и, однако, у нее было чувство, что все зашло слишком далеко, и что она не может и дальше «держаться за себя», и что «это»

от нее «ускользает». Если бы она могла любить людей, ей было бы лучше.

Несколько дней спустя она выразилась следующим образом:

«Эти мысли все возвращаются и возвращаются. Я перехожу через черту. Мое настоящее „я“ где-то внизу — обычно оно находилось у горла, но теперь спустилось гораздо ниже. Я теряю себя. Становится все глубже и глубже. Мне хочется много чего вам рассказать, но я боюсь. Моя голова полна мыслей, страхов, ненависти и ревности. Моя голова не может их ухватить, я не могу за них держаться. Я нахожусь за переносицей — в смысле там мое сознание. Мою голову раскололи, о, это же шизофрения, не правда ли? Не знаю, есть у меня эти мысли или нет. По-моему, я просто их последний раз выдумала, чтобы меня лечили. О, если бы я могла опять любить, вместо того чтобы ненавидеть. Мне бы хотелось любить людей, однако я хочу их ненавидеть. Я к тому же просто убиваю себя».

В последующие недели она продолжала говорить в таком же духе. Впечатление, что она убивает себя, начало переходить в убеждение, что она уже убила «себя». Она почти постоянно утверждала, что действительно убила себя, а иногда — что потеряла себя. В тех случаях, когда она не чувствовала, что полностью «потеряна» или «мертва», она ощущала себя «чужой» себе, и как она, так и другие вещи больше не обладали той же самой реальностью. Она мучительно осознавала потерю способности переживать реально и реально мыслить. С равной силой ей было известно, что другие люди обладают такой способностью, и она описывала различные методы, которые она либо намеренно, либо ненамеренно применяла для того, чтобы «взять реальность обратно». Например, если кто-то говорил ей что-то, что она классифицировала как «реальное», она говорила себе: «Я буду думать так же»; и она снова и снова повторяла про себя слово или фразу в надежде, что некоторая реальность этого выражения перейдет на нее. Она ощущала, что врачи реальны, так что пыталась все время держать в уме имя врача. Она пыталась производить впечатление на других людей, говоря что-нибудь, что, как она надеялась, их смутит. Она сочла это совершенно легким делом, поскольку ощущала себя совершенно отстраненной от чувств окружающих ее людей. Если же потом, глядя на другого человека, она видела признаки смущения, то говорила себе, что она наверняка реальна, потому что смогла произвести реальное впечатление на реального человека. Как только кто-нибудь «приходил ей на ум», она говорила себе, что она — этот человек. Теперь она ощущала, что поскольку она вспоминает какого-нибудь человека, то в какой-то степени она напоминает этого человека. Она ходила за людьми, имитируя их походку, копируя их фразы и подражая их жестам. В приводящей других в бешенство манере она соглашалась со всем, что ей говорили. Однако все это время она продолжала заявлять, что оказывается все дальше и дальше от своего реального «я». Она хотела стать способной «дотянуться» до других людей, позволить другим людям дотянуться до нее, но это становилось вес менее и менее возможным. Когда она ощущала большее отчаяние, она меньше впадала в панику, но, тем не менее. ее постоянно преследовал ужас. Она стала не способна понимать, зачем что происходит. Она видела, как люди что-то делают, но говорила, что «не может их осознать, что это пустое ощущение». Она была убеждена, что все намного умнее ее. Все делали что-то умное, но она не могла разгадать, с каким намерением совершались их про-стейпше действия. У нее не было будущего. Время прекратило течь. Она не могла что-либо предвкушать, а все ее воспоминания являлись сжатыми, твердыми вещами, толкающимися у нее в голове. Было ясно, что она теряла какое-либо чувство различения событий во времени как прошлом, настоящем и будущем — «прожитого» времени, по определению Минковского.

Очень существенный факт заключался в том, что чем больше она ощущала, что не может достичь других людей, а другие люди не могут достичь ее, и чем больше она ощущала себя в своем собственном мире — «они не могут войти, а я не могу выйти», — тем больше в этот частный и закрытый мир вторгалось психотических опасностей снаружи, то есть тем более, в некотором смысле, «публичным» он становился. Она стала подозрительнее относиться к другим людям и начала прятать вещи в запирающемся шкафчике: у нее сложилось впечатление, что кто-то ворует у нее вещи. Она часто проверяла сумочку, чтобы

удостовериться, что у нее ничего не украли. Такой парадокс все большего ухода и одновременно все большей ранимости нашел свое ясное выражение в заявлении, что она убивает себя, с одной стороны, и в страхе, что ее «я» может быть потеряно или украдено, с другой. У нее были только мысли других людей, и она могла обдумывать только сказанное другими людьми.

Теперь она заговорила о двойном бытии: «Существует две меня… Она — это я, а я все время она». Она слышала голос, велевший ей убить мать, и она знала, что этот голос принадлежит «одной из моих я». «Вот отсюда кверху (она указывала на виски) просто вата. У меня нет собственных мыслей. Я ужасно смущена, все время я, я, я; я и я; я и я сама, когда я говорю „сама“, я понимаю, что здесь что-то не так, что-то со мной произошло, но я не знаю что».

Таким образом, несмотря па страх потерять свое «я», все се усилия «взять реальность обратно» включали в себя не бытие самой собой, а попытки убежать от своего «я» или убить свое «я» продолжали использоваться в качестве основных защит, а на самом деле они даже умножились.

Индивидуума заставляет «убить самого себя» не только давление тревога, но и ощущение вины, которое у подобных людей имеет особо радикальный и сокрушительный характер и, по-видимому, не оставляет субъекту места для маневра.

Мы уже видели, как под давлением вины Питер был вынужден быть ничем, быть никем. Вот еще один пример:

пациентка, следовавшая в чем-то аналогичным путем, которая, к счастью, была остановлена, или, будет более правильно сказать, остановилась сама до того, как ввела себя в психотическое состояние, возврат из которого стал бы очень тяжелым.

Двадцатилетняя Мария в течение года училась в колледже, не сдав ни единого экзамена. Она приходила сдавать экзамен либо на несколько дней раньше срока, либо позже. Если она оказывалась там вовремя, более или менее случайно, она не давала себе труд отвечать на вопросы. На второй год обучения она прекратила посещать занятия и, похоже, вообще ничего не делала. Было чрезвычайно трудно найти какой-нибудь конкретный факт из жизни этой девушки. Она пришла ко мне по чьему-то совету. Я установил для нее регулярное время визитов два раза в неделю. Было невозможно предсказать, когда она придет. Сказать, что она была пепунктуальна, было бы громадным преуменьшением. Определенное время визита являлось точкой во времени, которая служила ей лишь смутным ориентиром. Она объявлялась в субботу утром вместо визита в четверг днем или звонила в пять вечера, говоря, что только проснулась и не сможет успеть на прием, назначенный на четыре часа, но, если это удобно, она зайдет через час или около того. Она пропустила пять визитов подряд, не давая о себе знать, а на шестой пришла строго пунктуально без всяких объяснений и начала с того места, на котором остановилась в последний раз.

Она представляла собой бледное, худое и болезненное создание с прямыми нечесаными волосами. Одевалась она неопределимо странным образом. В отношении себя она была чрезвычайно уклончива и скрытна. Насколько я мог понять, ни один из множества людей, с которыми она вступала в мимолетный контакт, никогда не узнавал, как она проводит свою жизнь. Дом ее родителей находился в пригороде Лондона, и, поступив в колледж, она стала снимать квартиры в городе и меняла их очень часто. Ее родители никогда не знали, где она живет. Она порой заезжала к ним и проводила там время так, будто была случайной гостьей. Она была единственным ребенком. Ходила она быстро и бесшумно, почти на цыпочках. Ее речь была плавной и отчетливой, но апатичной, рассеянной, спокойной и напыщенной, но без всякого воодушевления. Она предпочитала говорить не о себе, а на такие темы, как политика и экономика. Она относилась ко мне с явным безразличием. Обычно она давала мне понять, что считает меня одним из многочисленных случайных знакомых, к которому заскочила поболтать. Впрочем, однажды она сказала мне, что я — очаровательный человек, но природа у меня порочная и грязная. Она не выказывала никакого желания или ожидания получить что-либо от меня, и всегда было неясно, что, по ее ощущениям, она из меня

извлекает. Когда она ощущала такое безразличние ко мне, она не могла понять, зачем ездить в такую даль, чтобы встретиться со мной.

Можно было подумать, что перспективы в случае этой девушки совершенно безнадежные, так как она недвусмысленно представляла собой клинический психиатрический портрет dementia praecos или schizophrenia simplex.

Впрочем, однажды она пришла вовремя и изумительно преображенная. Впервые на моей памяти она была одета по крайней мере с общепринятой опрятностью и без тех раздражающе странных черт во внешности и манерах, которые столь характерны для людей такого типа, но которые столь трудно точно определить. Без сомнения, в ее движениях и интонациях голоса присутствовала жизнь. Девушка начала беседу, сказав, что осознала, что отрезала себя от любых реальных взаимоотношений с другими людьми, что ее напугал образ ее жизни, и, кроме этого, она поняла внутренне, что так жить нельзя. Очевидно, произошло нечто, имевшее решающее значение. Согласно ее словам, и я не вижу повода в этом сомневаться, все эти мысли возникли после просмотра фильма. Она в течение недели каждый день ходила смотреть фильм «Дорога». Это был итальянский фильм про мужчину и девушку. Мужчина — странствующий силач, ездивший из города в город и показывавший свой номер: он грудью разрывал обмотанную вокруг него цепь. Он приобретает девушку у ее родителей, чтобы та выступала в качестве ассистентки. Он — сильный, жестокий, грязный и порочный. Он обращается с ней хуже некуда. По своему выбору он насилует ее, или бьет, или бросает. У него, похоже, нет никаких угрызений совести: он не признает ее в качестве личности, не проявляет ни малейшей благодарности, когда она пытается угодить ему или когда демонстрирует свою верность. Он ясно дает ей понять, что нет ничего, что она может для него сделать, чего бы кто-то другой ни сделал лучше. Она не может понять, какая польза от ее жизни, поскольку она отдана этому человеку, а для него девушка никчемна и бесполезна. Хотя в ее грусти и одиночестве нет постоянной горечи, однако она отчаивается из-за того, что ничего не значит. Она знакомится с канатоходцем из цирка. Она жалуется ему на свою незначительность. Однако, когда этот циркач просит ее уйти с ним, она отказывается, говоря, что, если она так поступит, у силача не будет никого, кто станет его терпеть. Канатоходец поднимает камешек и говорит, что не может поверить, что она абсолютно бесполезна, поскольку она наверняка стоит столько, сколько и камень, а камень на худой конец существует. Более того, он указывает, что от нее должна быть какая-то польза, хотя она об этом и не знает, поскольку она — единственный человек, которого силач не прогоняет. Большая часть очарования этого фильма заключается в героине. В ней совершенно нет хитрости или притворства. Все оттенки чувств проявляются просто и непосредственно в каждом ее действии. Когда силач убивает у нее на глазах канатоходца и скорее уклоняется от правосудия, чем признается в преступлении, она молчит и только хнычет: «Дурак болен, дурак болен». Она ничего не делает и ничего не ест. Когда, похоже, ей не становится лучше, силач бросает ее спящую зимой на дороге, оставляя на произвол судьбы.

Эта пациентка отождествляла себя с девушкой и в то же самое время видела себя противоположной этой девушке. Силач со своими порочностью, безразличием и жестокостью воплощал ее фантазию об отце и до некоторой степени фантазию обо мне. Но сильнее всего ее поразило то, что эта девушка, хоть отчаявшаяся и несчастная, не отрезала себя от жизни, неважно, насколько ужасна та была. Она не стала орудием собственного разрушения. Да и не пыталась она кривить душой. Девушка не была особо религиозна: она, похоже, не обладала — обладала не больше Марии — верой в некое Бытие, которое могла бы назвать Богом. Однако, хотя ее вера была безымянна, ее образ жизни в чем-то являлся скорее подтверждением жизни, чем ее отрицанием. Мария увидела все это как жуткий контраст своему собственному образу жизни. Ибо она почувствовала, что закрывала себе доступ к прощению и свежести творения. Даже героиня фильма могла смеяться над клоунами в цирке, испытывать трепет при выступлении канатоходца, находить утешение в песне и стоить не меньше гальки.

С «объективной», клинически-психиатрической точки зрения нужно сказать, что произошла приостановка в процессе прогрессирующего шизофренического ухудшения, вероятно на органической основе. С экзистенциальной же точки зрения можно сказать, что она поборола стремление себя убить. Она увидела, что ее жизнь состояла в непреодолимом стремлении уничтожить собственную индивидуальность и стать никем. Она избегала всего, посредством чего ее можно было конкретно определить как действительную личность, вовлеченную в конкретные действия вместе с другими. Она пробовала действовать таким образом, чтобы ее поступки не имели никаких реальных последствий, и они поэтому едва ли могли вообще быть реальными поступками. Вместо такого использования действий, которое обычно имеет место при достижении реальных целей и, таким образом, становлении все более и более определенными через наши действия в качестве конкретных личностей, она пыталась свести себя к нулю, никогда не делая ничего конкретного, никогда, похоже, не находясь в каком-то конкретном месте в конкретное время с каким-то конкретным человеком. Она всегда находилась, как и все мы, в конкретном месте в конкретное время, но она пыталась избежать намека на это, будучи всегда абстрагированной, будучи «так сказать, где-то еще». Она действовала так, словно было возможно не «вкладывать себя в» свои действия. Попытка отделить себя от своих действий охватывала все, что она делала: работу, которую она, похоже, выполняла; знакомства, которые она, похоже, завязывала; все ее жесты и выразительные средства. Посредством этого она стремилась стать никем. Поэтому ее положение было сходным с положением Питера. Оба этих пациента чувствовали себя все более и более убежденными, что для них чистое притворство — быть кем-то и что единственный честный курс, который они могут выбрать, это стать никем, поскольку именно этим они могли себя «реально» ощущать. Такой процесс самоуничтожения представлял собой для наблюдающего за ним врача-клинициста не что иное, как процесс схождения с ума при schizophrenia simplex.

Как в случаях Питера и Марии, пациенты на описанной теперь стадии не испытывают чувства вины за конкретные мысли или поступки, которые они лелеяли или совершили. Если у них есть чувство вины в этом отношении, оно вытесняется гораздо более содержательным ощущением скверности и никчемности, которое атакует само их право быть. Индивидуум чувствует вину за то, что посмел быть, и двойную вину — за то, что не был, чересчур боялся быть и пытался убить себя если уж не биологически, то экзистенциально. Крайне необходимый фактор, препятствующий активному участию в жизни, способствующий изоляции «я», подталкивающий его на еще более дальний уход — его вина. Вследствие этого чувство вины становится приложенным к тому же самому маневру, который изначально был подсказан чувством вины.

Джеймс, например, рассказал следующий сон:

«Два атома двигаются параллельно, а потом они поворачивают назад и останавливаются, почти касаясь друг друга». Он показал руками их траектории. От этого сна он проснулся резко, в панике и с дурными предчувствиями.

Его трактовка этого сна состояла в том, что два атома — это он сам: вместо продолжения движения по своей «естественной траектории» они «разворачиваются сами на себя». Делая это, «они нарушают естественный порядок вещей». Дальнейшие ассоциации по данному сну раскрыли, что Джеймс чувствовал глубокую вину за свои собственные «развернувшиеся назад» взаимоотношения с самим собой, поскольку они представляли собой:

1) некую форму онанизма, то есть растрачивание своих творческих и производительных сил;

2) уход от действительных гетеросексуальных взаимоотношений и установление взаимоотношений между двумя частями собственного бытия, при которых одна являлась мужской, а другая — женской:

3) уход от взаимоотношений с другими людьми и установление внутри самого себя исключительно гомосексуальных взаимоотношений с собой.

Это высвечивает еще одну сложную проблему, состоящую в том, что при таких обстоятельствах взаимоотношения «я» с самим собой исполнены чувства вины, поскольку, как мы указывали раньше, оно создает в себе или ищет образ взаимоотношений, который «при естественном порядке вещей» может существовать только между двумя личностями и не может переживаться в действительности исключительно одним «я».

Расщепление «я» (два «я» Розы; состояние, представленное двумя атомами Джеймса) формирует основу одного из типов галлюцинаций. Один из фрагментов «я», по-видимому, главным образом сохраняет ощущение «Я»*.

*Прописной буквой обозначается индивидуум (англ. «I»), а строчной психологическая личность (англ. «self»). (Примеч. перев.)

Другое «я» можно тогда назвать «она». Но эта «она» по-прежнему есть «Я». Роза говорит: «Она — это я, а я все время она». Один шизофреник рассказывал мне: «Она — это я, ищущий меня». («Я» у хронических шизофреников, по-видимому, распадается на несколько центров, каждый с определенным ощущением «Я» и переживающий другие центры как отчасти «не-Я».) «Мышление», принадлежащее «другому „я“», стремится получить некоторые свойства восприятия, поскольку оно не воспринимается переживающим «я» ни как продукт его воображения, ни как принадлежащий ему. То есть другое «я» есть основа галлюцинации. Галлюцинация есть «как бы» восприятие фрагмента разъединенного «другого „я“» остатком («я»-центр), сохраняющим остаточное ощущение «Я». Это становится более очевидно у явно психотических пациентов. Более того, взаимоотношения «я»-«я» подготавливают почву для неистовых взаимных атак воюющих внутри фантомов, переживаемых как обладающие своего рода фантомной конкретностью (см. следующую главу). В сущности, именно эти атаки со стороны подобных внутренних фантомов вынуждают индивидуума говорить, что он был убит или что «он» убил свое «я». Однако, в конечном счете, даже говоря «по-шизофренски», по сути, невозможно убить внутреннее фантомное «я», хотя можно перерезать горло. Призрак нельзя убить. Может произойти лишь то, что место и функция внутреннего фантомного «я» становятся почти полностью «захваченными» архетипическими посредниками, которые оказываются полностью контролирующими все аспекты бытия индивидуума. Тогда задача психотерапии состоит в установлении контакта с изначальным «я» индивидуума, которое, как мы должны верить, есть все еще возможность, если уж не актуальность, и может быть возвращено лечением к подходящей жизни. Но это проблема, за которую мы сможет взяться и разрешить ее только после продолжительного изучения психотических процессов и феноменов. И теперь мы примемся за решение именно этой задачи.

10. «Я» И ЛОЖНОЕ «Я» У ШИЗОФРЕНИКА

Теперь мы попытаемся подкрепить наше сообщение избранными описаниями шизофрении, данными одной пациенткой-американкой на стадии выздоровления. Об этом случае сообщают два американских автора, Хейвард и Тейлор, а психотерапией с пациенткой занимался один из них. Они пишут:

«Джоан — двадцатишестилетняя белая женщина. Болезнь у нее впервые проявилась в начале 1947 года, когда ей было семнадцать. В течение двух последующих лет ее лечили в четырех частных больницах с помощью психотерапевтического режима, сопровождавшегося в делом тридцатью четырьмя электрошоками и шестьюдесятью инсули-новыми курсами. Пациентка пятьдесят раз впадала в состояние комы. „Серьезного улучшения“ не отмечалось, и пациентка была в конце концов послана к одному из авторов (М. Л. Х.), поскольку казалась безнадежно больной.

В начале лечения автором Джоан была безучастной, ушедшей в себя, замкнутой и подозрительной. Активны были зрительные и слуховые галлюцинации. Она не включилась ни в какую больничную деятельность и зачастую находилась в таком оцепенении, что было трудно добиться от нее хоть какой-то реакции. Если говорилось о необходимости лечения,

она яростно сопротивлялась или сердито требовала, чтобы ее оставили в покое. Было совершено три попытки самоубийства — она порезала себя куском разбитого стекла и приняла чрезмерную дозу успокоительного. Временами она становилась столь неистово воинственной, что ее приходилось помещать в отделение для буйнопомешанных».

Я выбрал этот материал по множеству причин. Описание психоза у этой девушки, по-видимому, дает потрясающее подтверждение представленным здесь взглядам. Подтверждение усиливается тем фактом, что настоящая книга была написана до публикации американских материалов. Американские авторы пользуются классической психоаналитической терминологией (это, супер-эго и ид), которая, по моим ощущениям, накладывает совсем необязательные ограничения на понимание материала; описание же самой пациентки, по-видимому, является во многом ее собственным взглядом на себя и не было навязано или предложено ей авторами. Поэтому в данном случае возможные ошибки при представлении материала от одного из моих собственных пациентов, заключающиеся в том, что пациент просто повторяет, как попугай, мои собственные теории, исключены.

И наконец, данная пациентка представила такой ясный и проницательный отчет о себе на «обычном» языке, какого я не припомню. Надеюсь, он покажет, что, если мы посмотрим на экстраординарное поведение психотика с его собственной точки зрения, многое из этого поведения станет понятным.

Во-первых, мне бы хотелось кратко подытожить идеи, которые я изложил.

Отрыв «я» от тела есть нечто, что мучительно переносится и что страдающий отчаянно стремится исправить с чьей-нибудь помощью, но он к тому же используется в качестве основного средства защиты. Фактически это определяет существенную дилемму. Такое «я» желает быть соединенным с телом и укорененным в нем, однако постоянно боится поместиться в теле из-за страха стать подверженным нападениям и опасностям, которых оно не может избежать. Однако «я» обнаруживает, что, хотя оно находится вне тела, оно не может удержать преимущества, на которые бы могло надеяться при таком положении. Мы уже упоминали то, что происходит:

1. Его ориентация — примитивная оральная, обусловленная дилеммой удержания своей жизненности и страха что-нибудь «принять». Оно становится иссушенным жаждой и заброшенным.

2. Оно становится полным ненависти ко всему, что находится там. Единственный способ разрушения и неразрушения существующего может ощущаться как разрушение самого себя.

3. Преднамеренно может быть предпринята попытка убить «я». Она отчасти оборонительная («Если я мертв, меня нельзя убить»); а отчасти это попытка ослабить сокрушающее чувство вины, которое угнетает индивидуума (нет ощущения права быть живым).

4. Внутреннее «я» само становится расколотым и теряет свои собственные индивидуальность и целостность.

5. Оно теряет собственную реальность и прямой доступ к реальности вне себя.

6а. Безопасное местопребывание «я» становится тюрьмой. Его предполагаемое убежище становится адом.

66. Ему не свойственна даже безопасность одиночной камеры. Его собственный анклав становится камерой пыток. Внутреннее «я» преследуется внутри этой камеры расколотыми конкретизированными частями его самого или собственными фантомами, которые стали неуправляемыми.

Непостижимая речь шизофреника и его действия становятся частично понятными, если мы вспомним, что в его бытии существует основополагающий раскоп, перенесенный из шизоидного состояния. Бытие индивидуума расщепляется надвое, производя развоплощенное «я» и тело, являющееся вещью, на которое взирает «я», рассматривая его временами так, будто это лишь еще одна вещь в мире. Все тело, а также множество «ментальных» процессов отделяются от «я», которое продолжает действовать в очень

ограниченном анклаве (фантазирование и наблюдение) или казаться вообще прекратившим функционировать (то есть быть мертвым, убитым, украденным). Такое описание, конечно же, весьма схематично и имеет недостатки любого предварительного сверхупрощения.

Мы уже обрисовали несколько вариантов, при которых такому расколу не удается поддержать здоровое переживание, и он становится ядром психоза.

У многих шизофреников расщепление «я»-тело остается основным. Однако, когда все разлетается в стороны от «центра», ни переживания «я», ни переживания тела не могут сохранить индивидуальность, целостность, связность или жизненность, а индивидуум становится низвергнутым в условия, конечный итог которых, как мы полагали, лучше всего можно описать как состояние «хаотичного небытия»*. В своей конечной форме подобное полное разъединение есть гипотетическое состояние, у которого нет вербальных эквивалентов. Однако мы чувствуем оправданным постулирование такого гипотетического условия. В своей самой предельной форме оно, вероятно, несовместимо с жизнью. Совершенно разложившийся, хронический кататоник-гебефреник предположительно является личностью, в которой этот процесс продолжался до самой предельной степени, из тех, кто остался биологически жизнеспособным.

Одним из величайших барьеров на пути познания шизофреника является его абсолютная непостижимость: странности, причуды, темноты во всем, что мы можем из него воспринять. Тому есть множество причин. Даже когда пациент старается поведать нам — насколько он понимает ясность и откровенность — природу своих тревог и переживаний, структурированных радикально отличающимся от нашего способом, содержание речи с необходимостью трудно проследить. Более того, формальные элементы речи сами по себе упорядочены необычным образом, и эти формальные особенности, видимо, являются, по крайней мере в некоторой степени, отражением в языке альтернативного порядка его переживания — с трещинами там, где мы воспринимаем связность как саму собой разумеющуюся, и слиянием (путаницей) элементов, которые мы держим порознь.

* Самое лучшее описание любого подобного условия, которое я смог найти в литературе, — это «Пророческие книги» Вильяма Блейка. В греческих описаниях ада и у Данте тени или призраки, хотя и отчужденные от жизни, по-прежнему сохраняют свою внутреннюю связность. У Блейка же это не так. Образы его «Книг» подвергаются разделению в самих себе. Эти книги требуют длительного изучения, не для того чтобы пролить свет на психопатологию Блейка, а чтобы узнать у него то, что он каким-то образом понял очень интимно, оставаясь еще здоровым.

Однако эти непреодолимые трудности практически несомненно усиливаются, по крайней мере при первых встречах с пациентом, из-за его преднамеренного использования темнот и сложностей в качестве дымовой завесы, за которой он скрывается. Это создает ироничную ситуацию, состоящую в том, что шизофреник часто играет в психотика или притворяется, что это так. В сущности, как мы уже сказали, притворство и двусмысленности в большой мере используются шизофрениками. Причина в любом отдельном случае, вероятно, состоит в том, что такие приемы могут служить одновременно более чем одной цели. Самая очевидная заключается в том, что они сохраняют тайность, частность «я» от вторжения (поглощения, разрывания). Как выразил это один пациент, «я» чувствует себя раздавленным и искаженным даже при обмене репликами в обычном разговоре. Несмотря на стремление стать любимым за свое реальное «я», шизофреник страшится любви. Любая форма понимания угрожает всей его системе защиты. Его внешнее поведение — система защиты, аналогичная бесчисленным входам в подземные туннели, один из которых, как можно вообразить, соединяется с внутренней цитаделью, но они ведут в никуда или куда угодно, но только не туда. Шизофреник не собирается раскрываться случайному осмотру и освидетельствованию любого заигрывающего с ним прохожего. Если «я» не знают, оно — в безопасности. Оно находится в безопасности от проникающих замечаний, от удушения и поглощения любовью, а также и от разрушения ненавистью. Если шизофреник — инкогнито, его телом можно управлять и манипулировать, его можно ласкать, бить и вводить в нею

инъекции, но «он», сторонний наблюдатель, неприкосновенен.

В то же самое время «я» стремится быть понятым; в действительности стремится к одной цельной личности, которая смогла бы принять его полное бытие, а делая это, просто «оставить его в покое». Но необходимо действовать с величайшей осторожностью и осмотрительностью. «Не пытайтесь, — как говорит Бинсвангер, — чересчур быстро подойти чересчур близко».

Джоан говорит: «Мы, шизофреники, говорим и делаем множество ерунды, которая несущественна, а потом смешиваем со всем этим существенные вещи, чтобы увидеть, достаточно ли внимателен врач, чтобы их увидеть и почувствовать».

Вариант такого метода смешения существенных вещей со «множеством ерунды, которая несущественна», был объяснен мне одним шизофреником. Он привел фактический пример. Во время первой встречи с психиатром он почувствовал к нему сильное презрение. Он боялся раскрыть это презрение, чтобы ему не сделали лейкотомию, однако отчаянно хотел его выразить. По ходу беседы он все больше и больше ощущал притворство, поскольку лишь выставлял ложный фасад, а психиатр, похоже, воспринимал это ложное представление совершенно серьезно. Он подумал, что психиатр все больше и больше кажется дураком. Психиатр спросил, слышит ли он голос. Пациент подумал: «Что за глупый вопрос?» — поскольку он слышал голос психиатра. Поэтому он ответил, что слышит, а на последующие расспросы, что голос — мужской. Очередной вопрос был таков: «Что говорит вам голос?» На что он ответил: «Ты — дурак». Играя в сумасшедшего, он таким образом придумал, как безнаказанно сказать то, что он думал о психиатре.

Большая часть шизофрении — просто бессмыслица, отвлекающие маневры, продолжительное торможение процесса, чтобы сбить опасных людей со следа, чтобы вызвать у других скуку и ощущение тщетности. Шизофреник часто делает дурака из самого себя и из врача. Он играет в сумасшедшего, чтобы любой ценой избежать возможной ответственности хотя бы за одну понятную мысль или намерение.

Джоан приводит другие примеры:

«Пациенты смеются и встают в позу, когда видят врача насквозь; он говорит, что поможет, но на самом деле не способен это сделать. Девушка встает в позу соблазнительницы, но это к тому же попытка отвлечь врача от всех функций ее таза. Пациенты стремятся сбить с толку и отвлечь его. Они стараются угодить врачу, но к тому же смутить его, чтобы он не смог вникнуть во что-нибудь существенное. Когда обнаруживаешь людей, которые действительно помогут, их не нужно отвлекать. Можно вести себя совершенно нормально: Я могу ощутить, правда ли врач не только хочет помочь, но к тому же и способен это сделать».

Это дает потрясающее подтверждение заявлению Юнга, что шизофреник перестает быть шизофреником, когда встречает кого-то, кто, по его ощущениям, его понимает. Когда это происходит, большая часть причуд, которые принимаются за «признаки „болезни“», просто испаряется.

«Встреча с вами вызвала у меня такое же чувство, как у путешественника, заблудившегося в краю, где никто не говорит на его языке. Хуже же всего то, что путешественник даже не знает, куда ему идти. Он чувствует себя полностью потерянным, беспомощным и одиноким. Потом вдруг он встречает чужестранца, говорящего по-английски. Даже если чужестранец не знает, куда ему идти, гораздо лучше ощущать, что способен разделять эту проблему с кем-то, дать ему понять, насколько тебе скверно. Если ты не одинок, ты больше не чувствуешь себя беспомощным. Каким-то образом это придает тебе жизненные силы и желание снова бороться.

Сумасшествие напоминает один из тех кошмаров, где пытаешься позвать на помощь, а изо рта не исходит ни звука. Или, если можешь позвать, никто не слышит или не понимает. Нельзя избавиться от этого кошмара, если кто-то не услышит тебя и не поможет тебе проснуться».

Главным средством объединения пациента, позволяющим осколкам сойтись и

состыковаться, является любовь врача — любовь, признающая полное бытие пациента и принимающая его без всяких оговорок.

Однако это лишь порог, а не цель взаимоотношений с врачом. Пациент остается психотиком в смысле устойчивых расщеплений в его бытии, даже если наиболее навязчивые внешние «признаки» не столь очевидны.

Мы отмечали, что «я» потеряло контакт с реальностью и не может ощущать себя реальным или живым.

Джоан дает примеры некоторых способов, которыми шизофреник пытается вызвать заверения в том, что он реален, из осознания своей видимости, а следовательно, на худой конец — своего существования. Шизофреник не может поддержать это убеждение из внутренних источников.

«Пациенты брыкаются, вопят и дерутся, когда они не уверены, что врач их видит. Самое ужасающее чувство — осознавать, что врач не может видеть реального тебя, не может попять твоих чувств и что он просто прет напролом со своими собственными идеями. Я начала ощущать, что я невидима или, возможно, вообще не существую. Мне пришлось заорать, чтобы понять, реагирует ли врач на меня или только на свои собственные идеи».

На протяжении всего своего отчета эта пациентка постоянно противопоставляет свое реальное «я» и угодливое «я», которое было ложным. Раскол между ее реальным «я» и ее телом ярко выражен в следующем отрывке:

«Если бы вы действительно меня трахнули, это все бы поломало. Это убедило бы меня, что вас интересует только получение наслаждения с моим животным телом и что вас в действительности не волнует та часть, которая является личностью. Это означало бы, что вы воспользовались мной как женщиной, тогда как в действительности я ею не являюсь, и необходима огромнейшая помощь, чтоб до нее дорасти. Это означало бы, что вы можете лишь видеть мое тело и не можете видеть реальную меня, которая все еще остается маленькой девочкой. Реальная я забралась бы на крышу и наблюдала бы, как вы что-то делаете с моим телом. Вы стали бы казаться удовлетворенными, позволив реальной мне умереть. Когда вы кормите девушку, вы заставляете ее почувствовать, что нужны как ее тело, так и ее „я“. Это помогает ей соединиться вместе. Когда вы ее трахаете, она может ощущать, что ее тело отделено и мертво. Люди могут трахать мертвые тела, но они никогда их не кормят».

Ее реальное «я» должно было стать отправной точкой для развития подлинного целостного статуса. Однако этого реального «я» не так легко было достигнуть из-за опасностей, угрожающих ему:

«Беседы со мной были единственным временем, когда я безопасно чувствовала себя самой собой, чтобы выговорить все свои чувства и увидеть, на что они в действительности похожи, без страха, что вы рассердитесь и бросите меня. Мне нужно было, чтобы вы являлись огромным камнем, который бы я могла толкать и толкать, а вы бы не укатились и не оставили меня. Для меня было безопасно стервозничать с нами. С любым другим я пыталась изменить себя, чтобы ему угодить».

Она стремилась угодить потому, что ощущала свое «я» столь наполненным ненавистью и разрушительным потенциалом, что ничто, входящее в пего, не может выжить:

«Ненависть должна прийти первой. Пациент ненавидит врача за вскрытие раны и ненавидит себя за то, что позволил вновь до себя дотронуться. Пациент уверен, что это просто приведет к еще большей боли. Он действительно хочет быть мертвым и спрятанным там, где ничто не сможет его коснуться и вытащить оттуда.

Врач должен быть достаточно заботлив, ухаживая за пациентом, пока тот ненавидит. Если ненавидишь, не причинишь такую боль, как если б любил, но ты все еще можешь вновь стать живым, а не просто холодным и мертвым. Люди вновь для тебя что-то значат.

Врач обязан ухаживать за пациентом, пока тот ненавидит: это единственный способ начать. Но пациента никогда не нужно заставлять чувствовать вину за ненависть. Врач должен ощущать уверенность, что он имеет право ворваться в болезнь, точно так же как

пациент знает, что он имеет право входить в детскую, неважно, что будет ощущать ребенок. Врач должен знать, что он поступает правильно.

Пациент ужасно боится своих собственных проблем, поскольку они его разрушают, и чувствует ужасную вину за то, что позволил врачу вмешаться в эти проблемы. Пациент убежден, что врач тоже будет сокрушен. Со стороны врача нечестно спрашивать разрешения войти. Врач обязан врываться с боем: тогда пациенту не придется чувствовать себя виноватым. Пациент может ощущать, что сделал все возможное, чтобы оградить врача. Врач обязан сказать по-своему: „Я вхожу, неважно, что ты чувствуешь“».

И опять-таки:

«Проблема с шизофрениками заключается в том, что они никому не могут доверять. Они не могут ставить все на карту. Врач должен будет побороться, чтобы войти. неважно, как сильно возражает пациент. Чудесно быть избитым или убитым, поскольку никогда никто не поступит так с вами, если он действительно не волнуется и не может рассердиться. Человек убивает, потому что он действительно хочет, чтобы другой воскрес, а не просто лежал мертвый.

Поначалу любовь невозможна, потому что она превращает тебя в беспомощного младенца. Пациент не может ощутить безопасность такого поступка, пока он не станет абсолютно уверен, что врач понимает, что необходимо, и даст это».

Страх принять что угодно или кого угодно, таким образом, распространяется как па хорошее, так и па плохое. Плохое разрушит «я», а «я» разрушит хорошее.

Поэтому «я» в то же самое время пустое и голодающее. Вся ориентация «я» находится в контексте стремления поесть, однако уничтожая пищу или будучи уничтоженным ею.

«Некоторые люди всю жизнь живут с блевотиной на губах. Можно ощутить их ужасный голод, но они отказываются, чтобы их кормили.

Адская мука видеть, как с радостью и любовью предлагается грудь, но знать, что приближение к ней заставит тебя ее ненавидеть так, как ты ненавидела мать. Это заставляет тебя чувствовать адскую вину, потому что до того, как ты сможешь любить, тебе придется стать способной ощутить также и ненависть. Врач должен показать, что он может ощущать ненависть, но может попять ее, и она ему не повредит. Слишком страшно, если болезнь причинит врачу вред.

Адское ощущение — хотеть молока так сильно, но разрываться чувством вины из-за ненависти, испытываемой в то же самое время к груди. Как следствие этого, шизофреник должен сделать одновременно три вещи. Он пытается добраться до груди, но он к тому же пытается умереть. Третья его часть пытается не умереть».

Мы вернемся к вопросам, затронутым в последнем предложении, позднее. В данный момент мы должны продолжить, остановившись на попытке «я» избежать чего угодно, входящего в него, на случай, что это («я» и (или) объект) будет уничтожено.

Как мы сказали, «я» пытается быть вне всего сущего. Все бытие находится там, а здесь — ничего.

В конечном итоге это даже приводит к положению, когда все, чем пациент является, ощущается как «не-Я». Он отвергает все, чем является, как простое зеркало чуждой реальности. Такое полное неприятие своего бытия делает «ею», его истинное «я» стремящимся к нулю. «Он» не может быть реальным, субстанциональным; он не может иметь действительной индивидуальности или действительной личности. Поэтому, но определению, все, чем он является, проходит под взором его системы ложного «я». Это может заходить за пределы действий и слов и распространяться на мысли, идеи, даже на фантазии и воспоминания. Система ложного «я» — рассадник параноидальных страхов, поскольку ЛЕГКО проследить, что система ложного «я», которая расширилась, чтобы включить в себя все, и отрицается «я» как простое зеркало чуждой реальности (объект, вещь, машина, робот, мертвое), может рассматриваться как инородное присутствие или личность, овладевшая индивидуумом. Его «я» отказалось от участия в этом, система ложного «я» становится, по ощущениям, занятой врагом территорией, контролируемой и управляемой

чуждыми, враждебными и разрушительными силами. Что касается «я», то оно существует в вакууме. Но этот вакуум оказывается заключенным в оболочку, хотя, вероятно, поначалу иногда в относительно доброкачественную и имеющую защитные свойства.

«Я чувствовала себя так, словно сижу в бутылке. Я могла чувствовать, что все находится снаружи и не может меня коснуться».

Но это превращается в кошмар. Стенки бутылки становятся тюрьмой, исключающей «я» из всего сущего, тогда как, с другой стороны, «я» преследуется, как никогда прежде, внутри стен собственной тюрьмы. Таким образом, конечный итог но крайней мере так же ужасен, как и состояние, против которого он изначально являлся средством защиты. Таким образом:

Нет ни мягкости, ни нежности, ни тепла в глубокой этой пещере. Мои ладони ощупывают ее каменные стены, и в каждой трещине лишь глубокая чернота. Порой почти что нет воздуха. Тогда ртом ловлю свежий воздух, хотя все время дышу этим самым пещерным воздухом. Нет ни отверстия, ни отдушины, Я — в тюрьме. Но не одна. Так много людей толпится вокруг меня. Узкий луч света льется в пещеру из крохотной щелки между камнями. Здесь темно. Здесь сыро, а воздух спертый. Люди здесь огромны, громадны. Эхо им вторит, когда говорят. А тени на стенах за ними следуют, когда они движутся. Не знаю, на что я похожа, да и как выглядят эти люди. Эти люди порой наступают на меня по ошибке, Я думаю. Я надеюсь. Люди тяжелые.

Здесь становится все трудней и трудней. Я напугана. Если я выйду отсюда, может стать еще ужасней. Снаружи будет еще больше людей. Они полностью меня раздавят, Ибо они, по-моему, еще тяжелее, чем здешние. Вскоре здешние люди станут наступать на меня (думаю, по ошибке) так часто, что от меня не много останется и я стану частью пещерной стены. Тогда я буду эхом и тенью вместе с другими здешними людьми, ставшими эхом и тенью.

Я уже не очень сильна. Я напугана. Снаружи для меня нет ничего. Люди ТАМ больше, и они будут заталкивать меня обратно в пещеру. Людям снаружи я не нужна. Людям здесь я не нужна. Мне все равно.

Стены пещеры такие твердые и шершавые. Вскоре я стану их частью, тоже твердой и Неподвижной. Такой твердой.

Здешние люди наступают на меня, причиняя боль, но они не хотят наступать на меня, происходит это просто по ошибке.

Я думаю, я надеюсь.

Было б интересно увидеть, на что я похожа.

Но я никак не могу попасть в тот луч света, что проникает в пещеру, поскольку люди не дают мне пройти — по ошибке, я думаю, я надеюсь.

Но было бы ужасно увидеть, на что я похожа.

Поскольку тогда я бы увидела, что похожа на других здешних людей.

А я не похожа.

Я надеюсь.

Выровняйте стены этой пещеры! Выровняйте все их жестокие кромки, Что впиваются мне в члены и их режут. Впустите в пещеру свет. Вычистите ее! Выгоните эхо и тени! Заглушите ропот людей! Взорвите пещеру! Динамитом!

Нет, я не… еще нет.

Подождите, пока я в этом углу не встану.

Так, я иду.

Вот, я на тебя наступила, и на тебя, на тебя, на тебя!!! Чувствуешь мой каблук? От пинка страдаешь? Ха! Теперь на тебя наступаю! Ты плачешь? Хорошо.

Бутылка стала пещерой с жестокими кромками, которые впиваются в ее члены и их режут, населенной преследующими тенями и эхом, которых она, в свою очередь, преследует.

Однако она по-прежнему боится оставить эту пещеру, даже со всеми сопутствующими ей ужасами, ибо только в пещере, по ее ощущениям, она может сохранить хоть какое-то

чувство индивидуальности.

Вот! Вот нет никакой пещеры.

Она исчезла.

Но когда я вышла?

Не могу себя найти.

Где я?

Потерялась.

Знаю лишь, что я холодна, еще холоднее, чем в пещере. Холодна, так холодна. А люди — они прошли по мне, словно меня и не было среди них — по ошибке, я думаю. Я надеюсь. Да, мне нужна пещера. Там я пойму, где нахожусь. Смогу ощупывать в темноте и ощущать стены пещеры. А люди там пойдут, что я — там, и наступят на меня по ошибке, Я думаю, я надеюсь. Но снаружи… Где я?

В конечном счете, вероятно, никогда нельзя говорить, что «я» совершенно потеряно или разрушено, даже у самого «разложившегося гебефреника», если воспользоваться соответствующим жутким термином Г. С. Салливана. Все еще есть «Я», которое не может найти «себя». «Я» не перестало существовать, но оно лишено субстанции, развоплощено, ему не хватает свойства реальности, и у него нет индивидуальности, у него нет никакого подходящего «себя». Заявление, что «Я» не хватает индивидуальности, может показаться противоречивым, но, видимо, это так. Шизофреник либо не знает, кем или чем он является, либо стал чем-то или кем-то иным, а не самим собой. Во всяком случае без такого последнего клочка или кусочка «я» психотерапия «Я» любого рода будет невозможна. По-видимому, нет достаточных оснований считать, что не существует такого последнего клочка у любого пациента, который может говорить или, на худой конец, совершать какие-то составные движения.

Мы к тому же видим, в случае Джоан, что именно свою индивидуальность она наиболее отчаянно желала сохранить. Однако она ощущала, что или не может, или не должна, или не смеет быть самой собой как воплощенной личностью. Проблемы характерного для нее достижения ощущения вины, ее разъединения, природы ее системы ложного «я» и ее ненадежно установленной способности отличать свое бытие от других тесно взаимосвязаны.

«Каждый должен быть способен посмотреть назад, в свои воспоминания, и удостовериться, что у него была мать, которая его любила, всего его — даже его мочу и кал. Он должен удостовериться, что мать любила его просто за него самого, а не за то, что он может сделать. Иначе он чувствует, что не имеет права существовать. Он чувствует, что никогда не должен был рождаться.

Неважно, что случится с этим человеком в жизни, неважно, сколько боли он причинит, он всегда может посмотреть назад и почувствовать, что его можно любить. Он может любить самого себя, и его нельзя сломать. Если он не может опереться на это, он может быть сломан.

Ты можешь быть сломан, если ты уже расколот на части. Пока мое младенческое „я“ не любили, я была расколота на части. Полюбив меня как младенца, вы сделали меня целой».

И опять-таки:

«Я постоянно просила вас выпороть меня, потому что была уверена, что вам не может нравиться мой зад, но, если бы вы выпороли меня по заднице, вы бы, на худой конец, каким-то образом восприняли ее. Потом я смогла бы принять ее и сделать частью себя. Я не стала бы бороться за то, чтоб ее отрезать».

Сумасшествие имело определенные последствия, которые не были полностью нежелательными:

«Для меня ужасно трудно прекратить быгть шизофреничкой. Я знаю, что не хочу быть некоей Смит (ее фамилия), поскольку тогда я не что иное, как внучка старого профессора Смита. Я не могла быть уверена, что могу чувствовать себя так, словно я — ваш ребенок, и я не была уверена в себе. Я была лишь уверена в том, что я — „кататоничка, параноичка и шизофреничка“. Я видела, что написано в моей карточке. Это, на худой конец, обладало

вещественностью и подтверждало мою индивидуальность и личностность. (Что привело тебя к перемене?) Когда я стала уверена, что вы позволите мне чувствовать себя вашим ребенком и что с любовью станете обо мне заботиться. Если вы смогли полюбить реальную меня, то я тоже это смогла. Я смогла позволить самой себе просто быть собой, и никакое название не нужно.

Недавно я пришла посмотреть на больницу и какое-то время потерялась в ощущении прошлого. Там я могла бы остаться одна. Мир крутился снаружи, но у меня внутри был целый мир. Никто не мог добраться до него и потревожить. Какое-то время я ощущала колоссальное стремление вернуться. Там было так безопасно и спокойно. Но потом я осознала, что могу иметь любовь и веселье в реальном мире, и начала ненавидеть больницу. Я ненавидела четыре стены и ощущение запертости. Я ненавидела воспоминание о том, что никогда в действительности не была удовлетворена своими фантазиями».

Она стала не способна поддержать собственными силами самодостаточное право быть собой, быть автономной.

Она была не способна поддержать реальную автономию, поскольку могла быть лишь вещью, угождающей родителям.

«Врачи только старались сделать меня „хорошей девочкой“ и наладить мои отношения с родителями. Они пытались сделать так, чтобы я подходила своим родителям. Это было безнадежно. Они не видели, что я стремлюсь к новым родителям и новой жизни. Ни один из врачей, похоже, не воспринимал меня серьезно, чтобы увидеть, насколько я больна и какие серьезные изменения мне необходимы в жизни. Никто, похоже, не осознавал, что, если я вернусь в семью, меня засосет и я потеряюсь. Это будет напоминать групповую фотографию большой семьи, снятой издалека. Вы видите, что там есть люди, но не можете быть уверены, кто есть кто. Я бы просто потерялась в группе».

Однако она могла вырваться посредством пустой трансцендентности лишь в некий «мир» фантомов. Даже когда она начала «быть самой собой», она сперва могла осмелиться делать это, лишь полностью отображая реальность врача. Однако она могла это делать, поскольку, хотя его реальность (его желания для нее) по-прежнему была чужой, она не была для нее инородной: она совпадала с ее собственным аутентичным желанием быть собой.

«Я существовала лишь потому, что вы этого хотели, и я могла быть лишь тем, что вы хотели увидеть. Я чувствовала себя реальной лишь благодаря реакциям, которые могла вызывать в вас. Если бы я царапала вас, а вы бы этого не чувствовали, то я бы действительно была мертва.

Я могла быть хорошей, только если вы видели это во мне. Только тогда, когда я смотрела на себя вашими глазами, я могла видеть что-то хорошее. Иначе я видела себя лишь как умирающее с голоду, раздражающее всех отродье, которое все ненавидят, и я ненавидела себя за то, что я такая. Мне хотелось вырвать у себя желудок за то, что я так голодна».

В данной точке у нее нет подлинной автономии. Здесь можно увидеть весьма отчетливо, как у шизофреника чувство вины встает на пути к становлению самим собой. Простой акт достижения автономии и отделенности является для него актом, приписывающим ему нечто, что ему должным образом не принадлежит, — акт Прометеева высокомерия. В самом деле, мы помним, что наказание Прометея заключалось в том, что его внутренности клевал орел («Мне хотелось вырвать у себя желудок за то, что я так голодна»), тогда как он был прикован к скале. В одной из версий мифа Прометей при этом отчасти теряет свою отдельную индивидуальность и сливается со скалой, к которой прикован. Не предпринимая попытки полного истолкования мифа, кажется, что скала и орел могут рассматриваться как два аспекта матери, к которой он прикован (скала — «гранитная грудь отчаяния») и которой он поедается (орел). Пожирающий орел и внутренности, восстанавливающиеся лишь для того, чтобы вновь быть выклеванными, вместе представляют собой кошмарную инверсию нормального цикла питания.

Для шизофреника то, что он вспоминает кого-то, кто ему нравится, равнозначно тому, что он напоминает этого человека: быть похожим на некую личность равнозначно быть

таким же, как этот человек, а следовательно, потерять индивидуальность. Поэтому ненавидеть и быть ненавидимым, по ощущениям, угрожает потерей индивидуальности меньше, чем любить и быть любимым.

Мы постулировали, что основополагающий раскол в шизоидной личности представляет собой расщепление, отделяющее «я» от тела: «я»/(тело-мир)

Подобное разделение рассекает собственное бытие индивидуума надвое таким образом, что ощущения «Я» развоплощается, а тело становится центром системы ложного «я».

Полнота переживания разделена по линии раскола внутри бытия индивидуума «я»/тело.

Когда это является первичным расщеплением или когда оно существует наряду с дополнительным вертикальным расколом «я»/тело/мир, тело занимает особенно двусмысленное положение.

Два основных сегмента переживания можно выразить так:

здесь там

В дальнейшем они нормальным образом видоизменяются в:

внутри (Я)

снаружи (не-Я)

Шизоидное расщепление разрушает нормальное ощущение «я», развоплощая ощущение «Я». Таким образом, заронено зерно постоянного схождения, слияния или путаницы на границе между «здесь» и «там», «внутри» и «снаружи», поскольку тело не твердо ощущается как «Я» в противоположность «не-Я».

Только тогда, когда тело может быть таким образом отделено от других, все проблемы, затрагивающие связность/отделенность между отдельными целостными личностями можно начать разрабатывать обычным способом. Такому «Я» не нужно столь отчаянно оставаться закупоренным в своей защитной трансцендентности. Личность может походить на кого-то, не будучи этой другой личностью; чувства можно разделять, не смешивая и не сливая их с чувствами другого. Подобное разделение чувств может начаться лишь благодаря установлению четкого различия между «здесь-Я» и «там-не-Я». На данной стадии для шизофреника крайне важно подвергнуть проверке все тонкости и детали, лежащие на границе между «внутри» и «снаружи», и все, затрагивающее выражение и раскрытие того, что поистине принадлежит реальному «я». Таким путем «я» становится подлинно воплощенным «я».

«Первый раз, когда я заплакала, вы совершили ужасную ошибку — вытерли мне слезы платком. Вы и понятия не имели, как мне хотелось ощущать льющиеся по лицу слезы. На худой конец у меня были некоторые чувства, находившиеся снаружи. Если бы вы только смогли слизать слезы языком, я была бы совершенно счастлива. Тогда бы вы разделили мои чувства».

Джоан ссыпается множество раз на становление мертвой и желание быть мертвой. Пациент, говорит она, «действительно хочет быть мертвым и спрятанным там, где ничто не сможет его коснуться и вытащить оттуда».

Мы ссылались на желание быть мертвым, на желание к небытию как, вероятно, на самое опасное желание, которое можно проследить. У шизофреника два главных мотива складываются в одну силу, действующую в направлении состояния смерти-в-жизни. Прежде всего, существует первичное чувство вины из-за неимения права на жизнь, и следовательно, в основном только на мертвую жизнь. Во-вторых, это, возможно, самая крайняя защитная позиция, которую можно принять. Человек уже не боится быть раздавленным, поглощенным и сокрушенным реальностью и жизненностью (неважно, возникают ли они в других людях, во «внутренних» чувствах или эмоциях и т. п.), поскольку он уже мертв. Будучи мертвым, человек не может умереть и не может убить. Тревоги, сопутствующие фантастическому всесилию шизофреника, подтачиваются жизнью в условиях фантастического бессилия.

Джоан, поскольку она не могла быть не кем иным, как тем, чего хотели родители, и поскольку они хотели, чтобы она была мальчиком, могла быть лишь — ничем.

«Мной необходимо было управлять и давать мне понять, чего вы от меня хотите. Тогда я была бы уверена, что буду вам нужна. Со своими родителями я не могла быть мальчиком, а они никогда не проясняли, чего еще они от меня хотят, кроме этого. Поэтому я попыталась умереть, став кататоничкой».

Она излагает всю проблему очень кратко в следующем отрывке:

«Когда я была кататоничкой, я пыталась стать мертвой, серой и неподвижной. Я думала, что матери это понравится. Она могла бы носить меня повсюду, будто куклу.

Я ощущала себя так, словно сижу в бутылке. Я могла чувствовать, что все находится снаружи и не может меня коснуться.

Я должна была умереть, чтобы воздержаться от умирания. Я знаю, это звучит безумно, но как-то один парень очень сильно ранил мои чувства, и мне захотелось прыгнуть на рельсы перед поездом метро. Вместо этого я стала немного кататоничкой, так что ничего не чувствовала. (Полагаю, ты должна была умереть эмоционально, а не то твои чувства тебя бы убили.) Верно. Полагаю, я скорее бы убила себя, чем причинила бы кому-нибудь боль».

Существуют, конечно же, другие взгляды на приведенный выше материал и множество других его аспектов. Я преднамеренно сосредоточился в первую очередь на природе переживания Джоан ее истинною «я» и ее ложного «я» и надеялся показать, что такой взгляд, по-видимому, не искажает собственные свидетельства пациентки, да и истребует от нас отрицания «неподходящих» аспектов. В случае Джоан с нашей стороны была проведена минимальная реконструкция, поскольку она сама предоставила нам ясное заявление о феноменологии своего психоза, изложенное откровенным и простым языком. Однако, когда имеешь дело с пациентом, являюпгимся активным психотиком, приходится рисковать при переводе языка пациента на свой собственный, если не нужно делать доклад по-шизофренски. Такова наша проблема в следующем случае.

11. ПРИЗРАК ЗАБРОШЕННОГО САДА: ОЧЕРК О ХРОНИЧЕСКОЙ ШИЗОФРЕНИЧКЕ

...ибо Истина выше любого сочувствия.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Джулия, когда я ее узнал, находилась в отделении психиатрической лечебницы с семнадцати лет, то есть уже девятый год. За это время она стала типичной «недоступной и ушедшей в себя» хронической шизофреничкой. Она галлюцинировала и предавалась позированию и стереотипным, причудливым и непостижимым действиям. В основном она молчала, а когда говорила, это был главным образом «разложившийся, шизофренский» язык. По небрежности ей был поставлен диагноз «гебефрения» и проведен инсулиновый курс, но улучшений не наблюдалось. И не было предпринято каких-то особых попыток вернуть ей душевное здоровье. Можно было не сомневаться, что, будучи предоставленной самой себе, она быстро придет в полный физический «упадок», но о ее внешнем облике заботилась мать, а также медсестры.

Из-за всевозможных странностей и в чем-то тревожащих вещей, которые она говорила и делала в то время, родители привели ее на прием к психиатру, когда ей было семнадцать. Беседуя с ней, психиатр отметил, что в ее невербальном поведении самом по себе нет ничего особенно необычного, но того, что она говорит, достаточно, чтобы поставить диагноз «шизофрения».

Если пользоваться клинически-исихиатрической терминологией, она страдала от деперсонализации, дереализации, аутизма, нигилистических маний и маний преследования и всесилия; у нее были идеи и фантазии о конце света, слуховые галлюцинации; наблюдалось обеднение аффектов и т. п.

Она сказала, что беда в том, что она не является реальной личностью. Она пыталась стать личностью. В ее жизни не было счастья, и она пыталась найти счастье. Она

чувствовала себя нереальной, и существовал незримый барьер между нею и остальными. Она была пустой и никчемной. Она беспокоилась из-за того, что она слишком разрушительна, и начала думать, что лучше ни до чего не дотрагиваться, чтобы не нанести никакого ущерба. Она очень много говорила о матери. Мать ее душила, не давала ей жить, и она матери никогда не была нужна. Если учесть тот факт, что мать советовала ей иметь больше подруг. ходить на танцы, носить красивые платья и т. п., эти обвинения казались явно абсурдными.

Однако основное психотическое заявление, которое она сделала, состояло в том, что «ребенок был убит». Она была весьма неопределенна в подробностях, но сказала, что слышала, как об этом говорил голос ее брата (у нес не было брата). Впрочем, она гадала, не мог ли это быть ее собственный голос. Когда ребенка убивали, на нем была ее одежда. Ребенок мог быть ею самой. Она была убита либо своими руками, либо матерью — в этом она не была уверена. Она предлагала сообщить об этом в полицию.

Многое из того, что говорила Джулия в семнадцать лет, знакомо нам по предыдущим главам. Мы можем понять экзистенциальную истинность ее заявлений, что она не является личностью, и как так может получиться, что она одновременно чувствует себя пустой и разрушительно могущественной. Но за этой чертой ее сообщения становятся «параболическими». Мы подозреваем, что ее обвинения против матери должны быть связаны с ее неудачей при становлении личностью, но на поверхности они кажутся необузданными и притянутыми за уши (см. ниже). Однако, именно когда она говорит, что «ребенок был убит», требуется зайти дальше здравого смысла, и она остается одна в некоем мире, который с ней никто не разделяет.

Теперь я хочу исследовать природу психоза, по-видимому начавшегося в возрасте семнадцати лет, и, по-моему, лучше всего этим заняться, сперва рассмотрев ее жизнь до этого.

Клиническая биография шизофренички

Никогда нельзя с легкостью получить адекватное описание раннего детства шизофреника. Каждое исследование жизни любого пациента-шизофреника — это трудоемкая и творческая работа. Можно не делать чересчур сильного акцента на том, что «рутина» или даже так называемая динамически ориентированная история, составленная по итогам нескольких бесед, дают очень мало существенной информации, необходимой для экзистенциального анализа. В данном конкретном случае я виделся с матерью пациентки раз в неделю в течение нескольких месяцев и беседовал (по нескольку раз) с ее отцом, сестрой, которая была старше на три года и являлась единственной, и теткой (сестрой отца). Впрочем, ни один отчет о собирании фактов не является доказательством непредубежденности. Например, Серлз [43], по-моему, абсолютно правильно делает упор на существовании позитивных чувств между шизофреником и его матерью — находка, которая была проигнорирована большинством ученых. Я не питаю иллюзий насчет того, что настоящее исследование свободно от предубеждений, которых я не вижу.

Отец, мать, сестра и тетка представляли собой действующий личностный мир, в котором росла пациентка. Именно жизнь пациентки в ее собственном межличностном микрокосме является ядром любой психиатрической клинической биографии. Поэтому подобная клиническая биография сознательно ограничена в охвате. Социально-экономические факторы более крупного сообщества, неотъемлемой частью которого являлась семья пациентки, прямо не связаны с интересующей нас темой. Это не значит, что подобные факторы не оказывают глубокого влияния на природу семьи и, следовательно, на пациентку. Но, точно так же, как цитолог заключает свои знания макроанатомии в скобки при описании клеточных феноменов, хотя и обладает такими знаниями, мы заключаем более крупные социологические вопросы в скобки как не имеющие прямого и непосредственного отношения к пониманию хода заболевания. Таким образом, я думаю, что клиническая биография, которую я излагаю, могла бы быть биографией девушки-работницы из Цюриха, представительницы среднего класса из Линкольна или дочки миллионера из Техаса. Очень сходные человеческие возможности возникают при

межличностных взаимоотношениях людей, занимающих такое разное положение в обществе, как эти. Однако я описываю нечто, происходящее в двадцатом столетии на Западе, а не где-то еще, совершенно с одной и той же точки зрения. Я не знаю, каковы черты, составляющие сущность этого мира, которые порождают подобные возможности. Но мы, как врачи, не должны забывать, что происходящее за наложенными на нас самими собой барьерами может очень сильно изменять модели, выработанные внутри пределов нашего клинического межличностного микрокосма.

Я почувствовал, что здесь необходимо это кратко констатировать, поскольку ощущаю, что клиническая психиатрия на Западе склонна к тому, что один мой друг-шизофреник назвал «социальной неуклюжестью», тогда как советская психиатрия, по-видимому, является «неуклюжей» скорее в межличностной сфере. Хотя я считаю, что клиническая биография обязана сосредотачиваться на межличностной сфере, это должно происходить так, чтобы не возникало закрытой системы, в принципе исключающей отношение к тому, что временно может для удобства помещаться в скобки.

Итак, каждый из людей, с которыми я беседовал, имел свою собственную точку зрения на жизнь Джулии, но все они сошлись в том, что ее жизнь разбивается на три основных состояния, или фазы. А именно, было время, когда

1) пациентка была хорошей, нормальной и здоровой девочкой, пока она постепенно не начала 2) быть плохой, делать и говорить вещи, вызывавшие страдание и в целом «приписываемые» непослушанию и испорченности, пока

3) это не вышло за все терпимые границы, так что ее можно было считать лишь совершенно сумасшедшей.

Раз родители «знали», что она сумасшедшая, они винили себя за то, что не поняли этого раньше. Ее мать сказала:

«Я начала ненавидеть те ужасные вещи, которые она мне говорила, но потом увидела, что она ничего не может поделать… она была такой хорошей девочкой. Потом она стала говорить такие жуткие вещи… если бы мы только знали. Разве мы были не правы, считая, что она ответственна за то, что говорит? Я знала, что в действительности она не могла иметь в виду те жуткие вещи, о которых она мне говорила. В известной степени я виню себя, но в известной степени я рада, что, в конце концов, это болезнь, но если бы я только не ждала так долго, прежде чем привести ее к врачу».

Что точно подразумевается под «хорошей», «плохой» и «сумасшедшей», мы еще не знаем. Но мы уже узнали очень много. Сначала, как вспоминают теперь родители, Джулия, конечно же, действовала таким образом, что родителям казалось, будто все в порядке. Она была хорошей, здоровой и нормальной. Затем ее поведение изменилось так, что она действовала в контексте того, что все значимые другие в ее мире единодушно признали как «плохое», пока через короткое время она не стала «сумасшедшей».

Это не говорит нам ничего о том, что делал ребенок, чтобы быть в глазах родителей хорошим, плохим или сумасшедшим, но снабжает нас важной информацией о том, что изначальная модель ее действий находилась в полном соответствии с тем, что родители считали хорошим и похвальным. Затем она какое-то время была «плохой», то есть «выдала» те самые вещи, которые родители больше всего не хотели видеть и слышать с ее стороны или полагать, что они в ней существуют. В данный момент мы не можем сказать, почему получилось именно так. Но то, что она была способна говорить и делать подобные вещи, казалось родителям почти невероятным. Все это произошло совершенно неожиданно. Сперва они пытались не обращал, на это внимания, но но мере тою как натиск усиливался. они начали неистово бороться, чтобы его отразить. Поэтому все испытали обложение, когда, вместо того чтобы, как обычно, сказать, что мать не дает ей жить, она заявила, что мать убила ребенка. Теперь все могло быть прощено. «Бедняжка Джулия была больна. Она не отвечала за свои слова. Как я могла хоть на секунду поверить, что она имеет в виду то, что мне говорит? Я всегда пыталась делать все, что в моих силах, чтобы быть ей хорошей матерью». У нас будет случай вспомнить эту последнюю фразу.

Три эти стадии в эволюции идеи психоза члены семьи охарактеризовали очень буднично: хорошая — плохая — сумасшедшая. Так же важно обнаружить манеру, в которой люди из мира пациентки рассматривали ее поведение, как и получить историю ее поведения самого по себе. Я попробую убедительно продемонстрировать это ниже, а сейчас хотел бы пронаблюдать одну существенную деталь в ее истории — такой, какой она была рассказана родителями.

Они не замалчивали факты и не вводили в заблуждение. И отец, и мать стремились помочь и в целом преднамеренно не утаивали информацию о действительных фактах. Существенно здесь то, как факты не принимались в расчет или, скорее, как очевидный подтекст фактов не принимался в расчет или отрицался. Нам, вероятно, лучше всего представить краткую историю жизни девушки, сперва сгруппировав события в соответствии с моделью родителей. Описание дается преимущественно со слов матери.

Фаза I: Нормальный и хороший ребенок

Джулия не была требовательным ребенком. От груди ее отучили без труда. Мать не знала никаких беспокойств с того дня, когда прекратила подкладывать подгузники, — Джулии тогда был год и три месяца. С ней никогда не было «хлопот». Она всегда делала то, что ей велели.

Вот основные материнские обобщения, подкрепляющие заявление, что Джулия всегда была «хорошей» девочкой.

В общем, это описание ребенка, который некоторым образом никогда не жил, ибо действительно живой ребенок требователен, вызывает хлопоты и никоим образом никогда не делает то, что ему велят. Вполне возможно, что ребенок никогда не был таким «совершенным», каким хотела мне его представить мать, но крайне существенно то, что именно такая «хорошесть» является у г-жи Х. идеалом совершенства ребенка. Возможно, этот ребенок не был так «совершенен», как описанный; возможно, мать заставляли утверждать это какие-то дурные предчувствия, в чем я ее никоим образом не виню. Решающим же мне кажется то, что г-жа Х., очевидно, воспринимает только то, что я воспринимаю как выражение внутренней мертвенности в ребенке, а она — как предельную хорошесть, здоровье и нормальность. Поэтому существенный момент заключается не в том, — если мы думаем не просто о пациентке, абстрагированной от своей семьи, а скорее о всей системе взаимоотношений в семье, частью которых являлась Джулия, — что ее мать, отец и тетка описывают экзистенциально мертвого ребенка, а в том, что ни один из взрослых в ее мире не понимает разницы между экзистенциальной жизнью и смертью. И наоборот, состояние экзистенциальной смерти заслуживает их наивысшую похвалу.

Давайте по очереди рассмотрим каждое из утверждений матери.

1. Джулия не была требовательным ребенком. Она действительно никогда не плакала, когда была голодна. Она никогда не сосала слишком энергично. Она никогда не допивала рожок до конца. Она вечно «хныкала и вякала». Она не очень быстро набирала в весе. «Она никогда ни в чем не нуждалась, но я чувствовала, что она никогда не была удовлетворена».

Здесь мы имеем описание ребенка, чьи оральные жадность и голод никогда не находили выхода. Вместо здорового, энергичного выражения инстинкта в сильном, возбужденном плаче, энергичном сосании, опустошении рожка с последующим сном от насыщения и довольства она постоянно беспокоилась, казалась голодной, однако, когда ей давали рожок, сосала несистематично и никогда не удовлетворялась. Есть искушение попытаться восстановить эти ранние переживания с точки зрения младенца, но здесь я хочу ограничить себя лишь наблюдаемыми фактами, которые вспомнила мать через двадцать с лишним лет, и делан, наши построения только на их основании.

Как утверждалось выше — и это, по-моему, важный момент, когда размышляешь об этиологических факторах, — один из важнейших аспектов этого отчета состоит не просто в том, что мы получили портрет ребенка, который, будучи физически живым, экзистенционально не становится живым, а в том, что мать настолько неверно понимает ситуацию, что продолжает наслаждаться в воспоминаниях лишь теми аспектами поведения

ребенка, которые являются самыми мертвыми. Мать не тревожит, что ребенок не кричал «требовательно» и не осушал рожок. То, что Джулия этого не делала, ощущается ею не как угрожающий провал основополагающих оральных инстинктивных побуждений найти выражение и осуществление, но единственно как признак «хорошести».

Г-жа Х. неоднократно делала акцент на том, что Джулия никогда не была «требовательным» ребенком. Это не означало, что она сама не была щедрой личностью. В сущности, она «отдала свою жизнь» Джулии, как она это выразила. Мать никогда не питала в ее отношении больших надежд: «Я просто позволяла ей идти своим собственным путем». Однако именно тот факт, что Джулия с самого начала никогда ничего не требовала, по-видимому, главным образом и поощрял мать давать ей так много, что она и делала. Поэтому для нее стало ужасным переживанием, когда подросток Джулия вместо проявления какой-то благодарности за все, сделанное для нее и отданное ей, стала обвинять мать в том, что та «никогда не давала ей быть». Таким образом, хотя мне кажется вполне возможным, что благодаря некоему генетическому фактору этот ребенок родился с организмом, сформированным так, что инстинктивная потребность и удовлетворение потребности, выражая это наиболее общо, не проявлялись у него свободно, к этому добавлялся тот факт, что все остальные в его мире воспринимали эту самую черту как признак «хорошести» и отмечали одобрением отсутствие самопроизвольных действий. Можно указать на сочетание почти полного отсутствия у ребенка достижения инстинктивного удовлетворения и полного отсутствия у матери осознания этого как одной из повторяющихся тем в самом начале отношений матери с ребенком-шизофреником. Нужно дополнительное исследование, чтобы установить, насколько специфическим является данное сочетание.

2. От груди ее отучили без труда. Именно при кормлении ребенок впервые активно живет с другим. Ожидается, что ко времени отнятия от труди у обыкновенного ребенка развивается некоторое ощущение самого себя как бытия в своем праве. У нею есть «свой собственный путь» и какое-то ощущение матери как прототипического другого. На основе этих достижений отнятие происходит без особого труда. Ребенку на данной стадии дают играть в «игры с отнятием», при которых он роняет, скажем, погремушку для того, чтобы ее возвратили ему; роняет ее снова, чтобы ее вернули, и т. д. до бесконечности. По-видимому, ребенок здесь играет с объектом, который исчезает и возвращается, исчезает и возвращается, — в сущности, центральный вопрос отнятия от груди. Более того, в эту игру обычно играют по его сценарию, так что мы находим «естественным» быть с ним в сговоре, создавая впечатление, что он всем заправляет. В случае, описанном Фрейдом, маленький мальчик удерживал свою катушку за конец привязанной к ней нитки, когда ее выбрасывал, в противоположность тому факту, что не мог таким же образом удержать под контролем мать, ухватившись за завязки фартука. Итак, если, как мы заключили, эта девочка в первые месяцы жизни не достигла автономии, являющейся необходимым условием развития способности идти своим собственным путем и обладать своим умом, то неудивительно, что ее, как должно было казаться, отучили от груди без труда, хотя едва ли можно назвать это отнятием, поскольку младенец бросил то, чего никогда не имел. По сути, в случае Джулии едва ли вообще можно говорить об отнятии от груди. В то время все шло настолько гладко, что ее мать смогла воскресить в памяти лишь пару настоящих инцидентов. Впрочем, она вспомнила, что играла с пациенткой в «выбрасывание». Старшая сестра Джулии играла в обычный вариант этой игры и доводила этим г-жу Х. до белого каления. «Я удостоверилась, что она (Джулия) не собирается играть сомной в эту игру. Я выбросила что-то, а она принесла мне это обратно», как только научилась ползать.

Едва ли необходимо комментировать подтекст такой инверсии ролей при неумении Джулии отыскать хоть какие-то собственные реальные пути.

Говорят, она рано пошла (ей было чуть больше года) и кричала, если ей не удавалось достаточно быстро дойти через комнату до матери. Мебель была переставлена, поскольку «Джулия боялась стульев, стоявших между ней и матерью». Мать истолковывает это как знак того, насколько сильно дочь всегда ее любила. До трех или четырех лет она «чуть не

сходила с ума», если мать хоть на мгновение скрывалась из виду.

Скорей всего, это подтверждает предположение, что в действительности ее никогда не отнимали от груди, поскольку она так и не достигла стадии, когда отнятие, в более чем физическом смысле, могло иметь место. Так как она никогда не устанавливала автономного самобытия, она не могла прорабатывать вопросы присутствия и отсутствия для овладения способностью быть одной, самой по себе, ради открытия того, что физическое присутствие другой личности не обязательно для ее собственного существования, как бы сильно ни были сорваны выполнения потребностей и желаний. Если индивидуум нуждается в другом для того, чтобы быть самим собой, это предполагает полный провал в достижении автономии, то есть личность вступает в жизнь с основополагающе неуверенной онтологической позиции. Джулия не могла быть самой собой ни в присутствии матери, ни в ее отсутствии. Насколько помнит мать, она физически всегда находилась в пределах слышимости Джулии, пока той не исполнилось три года.

3. Она была сухой с того момента, когда в год и три месяца ей перестали подкладывать подгузники. В этом месте можно заметить, что далеко не необычно обнаружить у шизофреников раннее развитие контроля за телом, хотя неизвестно, как они выглядят в этом отношении по сравнению с другими. Очень часто родители шизофреников говорят, как гордились они своими детьми из-за их раннего развития — ползания, хождения, функционирования кишечника и мочевого пузыря, речи, прекращения плача и т. п. Однако приходится спросить, рассматривая связь между тем, о чем родители с гордостью рассказывают, и тем, чего ребенок достиг, какая часть поведения ребенка является выражением его собственной воли. Вопрос не в том, насколько хорош или насколько испорчен ребенок, а в том, развивает ли ребенок ощущение того, что он есть начало собственных действий, что он — источник, из которого возникают его действия; или чувствует ли ребенок, что его собственные действия порождаются не внутри него, а внутри его матери, несмотря на возможное впечатление, что он — деятель своих действий (ср. с человеком под гипнозом, который вследствие приказов притворяется автономным). Может случиться, что тело будет совершенствовать свои умения и, таким образом, делать все, что от него ожидается. Однако подлинное самопроизвольное действие, по-видимому, никогда не было установлено ни в какой степени, но вместо этого любое действие является почти полным угождением и приспособлением к указаниям извне. В случае Джулии ее действия, похоже, были поставлены матерью, но ее «в» них не было. Должно быть, именно это она имела в виду, говоря, что так и не стала личностью, а в ее постоянных повторах типичной хронической шизофренички она «послу снится» (или «послушница»). Другими словами, она была лишь послушной девочкой, делавшей то, что ей велели.

4. Она всегда делала то, что ей велели. Как мы отмечали раньше насчет высказывания правды и лжи, существует множество причин быть послушным, но неспособность быть непослушным — не самая лучшая из них. Пока в описании г-жи Х. нельзя увидеть, что мать признавала в Джулии какие-то другие возможности, кроме становления тем, что сама Джулия назвала «послушницей». Она «отдала свою жизнь» ей — снящейся какому-то послу, — но полностью отрицала (и по-прежнему отрицает двадцать пять лет спустя) возможность того, что эта хорошая, послушная, чистенькая девочка, которая так любила ее, что чуть не сходила с ума. когда ту отделял от матери стул, окаменела и превратилась в «вещь», чересчур охваченную ужасом, чтобы стать личностью.

5. С ней никогда не было «хлопот». Теперь стало ясно, что с первых месяцев жизни эта пациентка была лишена автономии. Она так и не нашла, насколько я могу судить по воспоминаниям ее матери, своих собственных путей. Инстинктивные потребности и их удовлетворение никогда не находили никакого выражения через каналы телесной деятельности.

В первую очередь не было реального удовлетворения, возникающего из реального желания реальной груди. Мать рассматривает последствия этою с тем же самым одобрением, с каким рассматривала первые проявления этого.

«Она никогда не брала чересчур много торта. Нужно было просто сказать: „Достаточно, Джулия“, и она не возражала».

Мы ранее отметили, как так может произойти, что ненависть выражается только через угодливость системы ложного «я». Мать хвалила ее за послушание, но Джулия начала доводить свое послушание до такой степени, что то стало «невозможным». Таким образом, у нее был промежуток времени, в возрасте около десяти лет, когда ей нужно было говорить все, что произойдет в течение дня и что она должна делать. Каждый день должен был начинаться с зачитывания такой программы. Если мать отказывалась исполнять это ритуал, Джулия начинала хныкать. По словам матери, ничто не могло остановить ее хныканья, кроме хорошей взбучки. Когда она стала старше, то сама не тратила деньги, которые ей давали. Даже когда ее подбадривали сказать, чего она хочет, или купить самой платье, или познакомиться с юношами, как другие девушки, она не выражала своих собственных желаний; она заставляла мать покупать ей одежду и не проявляла инициативы при знакомствах. Она никогда в жизни не приняла ни единого решения.

Кроме упомянутого выше хныканья, было еще несколько эпизодов в детстве Джулии, когда та сердила мать. В промежутке с пяти до семи лет она кусала и грызла ногти; как только она начала говорить, у нее появилась склонность перевертывать слова задом наперед. Внезапно в восемь лет она стала переедать, и это продолжалось несколько' месяцев, пока она не вернулась к своей обычной вялой манере есть.

Впрочем, ее мать не принимала в расчет такие вещи, как временные фазы. Тем не менее мы имеем, в них внезапные проблески разрушительно неистового внутреннего мира с мимолетными отчаянными приступами явной жадности, которая, однако, вскоре вновь стала обузданной и приглушенной.

Фаза II: «Плохая»

Примерно с пятнадцати лет ее поведение изменилось и вместо «хорошей» девочки она стала «плохой». К тому же в это время начала меняться позиция матери по отношению к ней. Тогда как прежде та считала правильным, что Джулия должна быть с ней как можно больше, теперь она начала побуждать ее чаще выходить из дома, иметь больше подруг, посещать кинотеатры и даже танцы, заводить кавалеров. Все это пациентка «упрямо» отказывалась делать. Вместо этого она сидела и ничего не делала или бродила по улицам, никогда не говоря матери, когда вернется. В комнате у нее царил экстравагантный беспорядок. Она продолжала играть с куклой, из которой, как ощущала мать, она должна была уже «вырасти». У нас будет позднее повод вернуться к этой кукле. Обличения Джулией матери были нескончаемыми, и всегда в них присутствовала одна и та же тема: она обвиняла мать в том, что она той не нужна, что та не дает ей быть личностью, что та никогда не давала ЕЙ дышать, что та ее душила. Она ругалась как извозчик.

Однако для других людей она могла, когда хотела, быть весьма очаровательной.

До сих пор мы рассматривали только взаимоотношения Джулии с матерью. Но теперь, прежде чем пойти дальше, мы должны сказать пару слов о всей семье.

В последние годы было введено понятие «щизофреногенной» матери. К счастью, оттенок в этом понятии, связанный с «охотой на ведьм», потускнел. Это термин можно раскрыть различными способами, но его можно изложить следующим образом: вероятно, существуют некоторые варианты материнства, которые скорее препятствуют, чем содействуют любой генетически определенной, врожденной склонности, имеющейся в ребенке (или «усиливают» ее), к достижению первичных эволюционных стадий онтологической уверенности. Не только мать, но также и вся ситуация в семье может скорее препятствовать, чем содействовать способности ребенка принимать участие в разделяемом с другими мире в качестве «я»-с-другим.

Тезис данного исследования состоит в том, что шизофрения есть результат более чем обычного затруднения при бытии всей личности с другим без разделения с ним здравого (то есть здорового) смысла при переживании себя в мире. Мир ребенка, как и взрослого, есть «единство данного и построенного» (Гегель), единство для ребенка того, что опосредуется

родителями, в первую очередь матерью, и тою, что он из этого создает. Мать и отец в большой степени упрощают мир для маленького ребенка, и когда крут его способностей расширяется настолько, чтобы осмыслить, одушевить хаос структурой, ухватить различия и связи все большей и большей сложности, тогда, как выражает это Бубер, он выведен в «подходящий мир».

Но что может произойти, если мироустройство согласно матери или семье не соответствует тому миру, в котором ребенок может жить и дышать? Тогда ребенок должен развить собственное пронзающее видение и стать способным жить им — как Вильям Блейк преуспел в деяниях, как Рембо преуспел в изложении, но не в жизни — или, иначе, стать сумасшедшим. Именно из самых ранних уз любви, связывающих его с матерью, младенец развивает начала бытия-для-себя. Именно через эти узы мать в первую очередь «опосредует» мир для младенца. Мир, который ему дается, может быть миром, в котором ему удастся быть; и наоборот, вполне вероятно, что данное ему непригодно для него в это время. Однако, несмотря на важность первого года жизни, природа среды, в которой ребенок должен существовать в течение своего младенчества, детства и отрочества, может все еще так или иначе оказать большое воздействие. Именно на этих последовательных стадиях отец или другие значимые взрослые могут сыграть решающую роль в жизни ребенка — либо в прямой связи с ребенком, либо непрямо, через воздействие на мать.

Все это приводит к мысли, что, может быть, лучше говорить о шизофрепогенных семьях, а не исключительно о шизофреногенных матерях. По крайней мере, это может поощрить дальнейшие работы по динамике семьи как целого вместо изучения матерей, или отцов, или братьев и сестер без достаточных ссылок на всю динамику семьи*.

Сестра Джулии, на три года старше ее, была самоуверенной и напористой замужней женщиной, не лишенной, однако, женственности и шарма. Со слов ее матери, она была «трудной» с самого рождения — требовательной и вечно вызывающей «хлопоты». Короче, она, по-видимому, была относительно «нормальным» ребенком, которого мать никогда особо не одобряла. Но они, похоже, довольно хорошо ладили друг с другом. Сестра считала, что мать являлась господствующей личностью, если ей позволяли властвовать. Но «она делала для Джулии все, и Джулия всегда была ее любимицей». Совершенно ясно, что сестра раньше достигла неотъемлемого автономного статуса. Если поближе присмотреться к ее личности, то в ней можно найти множество невротических элементов, но кажется несомненным, что она, по крайней мере, достигла первичного онтологического статуса, до которого Джулия так и не добралась. Когда она была ребенком, у нее были подруги ее возраста, слишком большие для Джулии, и последняя,

*См., в частности, [29].

похоже, с ней не сблизилась. Однако младшая сестра встроила в свою схему фантомов старшую, которая была одной из немногих преимущественно добрых фигур в се '

Фаза III: Безумная

Основное обвинение Джулии заключалось в том, что мать пыталась ее убить. Когда ей было семнадцать, произошел инцидент, который, вероятно, являлся действенной причиной перехода от «плохой» фазы к безумию.

Об этом втором обстоятельстве рассказала мне ее сестра. До семнадцати лет у Джулии была кукла. С младенчества Джулия одевала и наряжала ее, играла с ней у себя в комнате — никто точно не знал как. В ее жизни это был секретный анклав. Она звала ее Кукла Джулия. Мать все больше и больше настаивала на том, чтобы она оставила эту куклу, поскольку она теперь уже большая девочка. Однажды кукла исчезла. Неизвестно, то ли ее выбросила Джулия, то ли убрала мать. Джулия обвиняла мать. Мать отрицала, что прикасалась к кукле, и говорила, что Джулия наверняка потеряла ее сама. Вскоре после этого некий голос сказал Джулии, что ребенок в ее одежде был избит до неузнаваемости ее матерью, и она предложила сообщить об этом преступлении в полицию.

Я сказал, что от куклы избавилась либо Джулия, либо ее мать, поскольку кажется весьма вероятным, что на этой стадии для Джулии «мать» уже стала скорее архетипической

разрушительницей, чем реальной матерью во внешнем мире. Когда Джулия говорила, что ее «мать» убила куклу, вполне вероятно, что это сделала «она», то есть что это сделала ее «внутренняя» мать. Как бы то ни было, в сущности, этот поступок явился катастрофой, ибо Джулия, очевидно, близко отождествлялась с этой куклой. В ее игре с куклой кукла была ею самой, а она — ее матерью. Вполне возможно, что в игре она становилась все более и более плохой матерью, которая в конечном итоге убивает куклу. Мы увидим позднее, что при психозе «плохая» мать очень часто действовала и говорила посредством нее. Если бы куклу уничтожила ее настоящая мать и призналась в этом, событие могло бы не носить такой катастрофической окраски. На этой стадии обрывки душевного здоровья у Джулии поддерживались с помощью шанса поместить что-то плохое в ее действительную мать. Невозможность сделать это реально была одним из факторов, внесших свой вклад в развитие шизофренического психоза.

Призрак заброшенного сада

…на некоторой стадии машина, до этого собранная целиком и полностью, может обнаружить себя разъединенной на отдельные узлы с более высокой или более низкой степенью независимости,

НОРБЕРТ ВИНЕР. «Человеческое использование человеческих существ»

Последующие замечания приложимы как к Джулии, так и к другим хроническим шизофреникам гебефренокататонического типа. Они не намерены охватить все формы состояния хронического психоза, где весьма очевиден раскол в той или иной форме. В частности, они приложимы к параноидальным психозам, где наблюдается в некотором роде большее объединение личности, чем обнаруженное у Джулии и подобных ей.

Самобытие Джулии стало столь фрагментарным, что ее лучше всего описать как влачащую существование типа смерти-в-жизни в положении, приближающемся к хаотичному небытию.

В случае Джулии хаос и недостаток бытия и индивидуальности не были полными. Но у человека, находящегося вместе с ней в течение долгого времени, возникало жуткое «ощущение прекокса»*, описанное германскими клиницистами, то есть восприятие еще одного человеческого существа как несуществующего. Даже когда ощущалось, что произнесенные слова являлись выражением кого-то, фрагмент «я», стоящий за этими словами, не был Джулией. Возможно, был кто-то, обращающийся к нам, но, слушая шизофреника, очень трудно понять, «кто» говорит, и точно так же трудно понять, к «кому» обращаются.

Во время бесед с Джулией у меня часто возникало ощущение, будто я занимаюсь групповой психотерапией с одним пациентом. Таким образом, я столкнулся с беспорядочным выбалтыванием совершенно несопоставимых установок, чувств и выражением каких-то побуждений. От одного момента к другому интонации, жесты и манеры изменяли свой характер. Можно начать распознавать обрывки речи или фрагменты поведения, неожиданно возникающие в разные моменты, которые, по-видимому, подходят друг к другу по причине сходства интонации, лексикона, синтаксиса, погруженности в высказывание или согласуются поведенчески по причине определенных стереотипных жес-

*От термина «dementia praecox», прежде используемого для обозначения того, что сейчас мы в основном называем некоей формой шизофрении у молодых людей, которая, как думается, доходит до хронического психоза. По-моему, такое «ощущение прекокса» должно являться реакцией публики на Офелию, когда у нее возник психоз. С клинической точки зрения она, без сомнения, шизофреничка. При ее безумии тут никого нет. Ома — не личность. Нет неотъемлемой самости, выраженной посредством действий или высказываний. Непостижимые заявления делаются ничем. Она уже мертва. Сейчас только вакуум там, где некогда была личность.

тов или манер. Поэтому создавалось впечатление, что находишься в присутствии различных фрагментов или незавершенных элементов разных «личностей», действующих одновременно. Ее «словесная окрошка», по-видимому, являлась следствием большого

количества «квазиавтономных систем», стремящихся выразить себя одновременно через одни и те же уста.

Такое впечатление усиливалось, хотя едва ли становилось менее смущающим, благодаря тому факту, что Джулия, похоже, говорила о себе в первом, втором и третьем лице. Необходимо близко узнать конкретного пациента, прежде чем сможешь сказать что-либо о значении таких высказываний (это справедливо и для всех остальных аспектов шизофренической деятельности).

Жане различал диссоциацию, или расщепление, молярное и молекулярное. Истерическое расщепление личности — молярное. Шизофрения состоит из молекулярных расщеплений. В- случае Джулии, по-видимому, имели места оба. Общее единство ее бытия разбилось на несколько «отдельных узлов» или «отдельных систем» (квазиавтономных «комплексов», «внутренних объектов»), каждая из которых обладала своей собственной небольшой стереотипной «личностью» (молярное расщепление). Вдобавок любая действительная последовательность поведенческих актов дробилась более мелким образом (молекулярное расщепление). Например, была разрушена даже целостность слов.

Поэтому неудивительно, что мы говорим в таких случаях о «недоступности» и «ощущении прекокса». С Джулией было нетрудно проводить вербальный обмен определенного рода, но, поскольку у нее, по-видимому, не было какого-то общего единства, а скорее была констелляция квазиавтономных частных систем, говорить с «ней» было трудно. Впрочем, не следует мыслить в первую очередь с точки зрения какой-то механической аналогии, так как даже это состояние, близкое к хаотичному небытию, никоим образом не является необратимым и зафиксированным в своей разъединенности. Джулия порой чудесным образом вновь собиралась вместе и демонстрировала очень трогательное выполнение своих обязанностей. Но по различным причинам ее пугали такие моменты объединения: из-за нахождения среди других, потому что она должна была поддерживать в них сильную тревогу, и потому, что процесс разъединения, видимо, по воспоминаниям, ужасал как переживание столь жуткое, что для нее убежищем была необъединенность, нереальность и мертвенность.

Бытие Джулии в виде хронической шизофренички, таким образом, характеризовалось недостатком единства и раздроблением на то, что можно по-разному назвать отдельными «узлами», комплексами, отдельными системами или «внутренними объектами». Каждая из этих отдельных систем обладала распознаваемыми чертами и своими собственными отличительными признаками. Исходя из этих постулатов, можно понять многие из черт ее поведения.

Тот факт, что ее самобытие было не собрано целиком и полностью, а расщеплено на отдельные узлы или системы, позволяет нам понять то, что различные функции, предполагающие достижение единства личности или по крайней мере высокую степень единства личности, не могли быть в ней представлены и действительно представлены не были.

Единство личности есть необходимое условие рефлективного осознания, то есть способности осознавать свое собственное «я», действующее относительно неосознанно или с простым первичным нерефлективным осознанием. У Джулии каждая отдельная система могла осознавать объекты, но одна система не могла осознавать процессы, происходящие в другой системе, отколотой от этой. Например, если во время беседы со мной одна система «говорила», то, по-видимому, не существовало общего единства внутри пациентки, благодаря которому «она» как объединенная личность могла осознавать то, что эта система говорит или делает.

Поскольку рефлективное осознание отсутствовало, «память», предпосылкой которой, по-видимому, является рефлективное осознание, была весьма обрывочной. Вся ее жизнь, казалось, проходила одновременно. Отсутствие полного переживания бытия как целого означало, что ей не хватало объединенного переживания, на котором основывается отчетливое представление о «границах» ее бытия.

Впрочем, подобные общие «границы» не всецело отсутствовали. Таким образом, термин Федерна «граница эго» является неудовлетворительным. Нужен другой термин для той полноты, частью которой является это. Скорее, каждая система, по-видимому, обладала своими собственными границами. Так сказать, осознанию, характеризующему одну систему, другая система, вероятно, казалась находящейся вне нее. Внутри общего единства отдельный аспект ее бытия, даже достаточно «дистонический» для остальных, вызывал бы мучительный конфликт. Однако в ней конфликты такого рода возникнуть не могли. Только «снаружи» можно было увидеть, что различные конфликтующие системы ее бытия действовали в одно и то же время. Каждая отдельная система, по-видимому, имела внутри себя собственный очаг, или центр, осознания: она имела собственные, весьма ограниченные схему памяти и способы структурирования объектов восприятия; собственные квазиавтономные побуждения или составляющие побуждений; собственную склонность к сохранению автономии и особые опасности, угрожавшие этой автономии. Джулия ссыпалась на эти разнообразные аспекты как на «него» или «ее» или обращалась к ним как к «тебе». То есть вместо обладания рефлективным осознанием этих аспектов самой себя «она» воспринимала действие отдельных систем так, будто они принадлежали не «ей», а чему-то внешнему. У нее появились галлюцинации.

Наряду со склонностью воспринимать аспекты собственного бытия как «не-ее», имел место провал в распознавании того, что «объективно» было не-ею, и того, что было ею. Это всего-навсего другой аспект недостатка общей онтологической границы. Она, к примеру, могла ощущать дождь у себя на щеках как свои слезы.

Вильям Блейк в своем описании расщепленных состояний бытия в «Пророческих книгах» описывает склонность стать тем, что воспринимаешь. У Джулии любое восприятие, по-видимому, грозило смешением с объектом. Она проводила большую часть времени, занимаясь этим затруднением: «Это дождь. Я могла бы быть дождем», «Этот стул… эта стена. Я могла бы быть этой стеной. Для девушки ужасно быть стеной».

По-видимому, любое восприятие угрожало слиянием, а ощущение восприятие ее другим угрожало ей сходным образом. Это означало, что она жила в мире постоянного преследования и ощущала, что делает для других то, что, по ее опасениям, могло случится с ней. Почти каждый акт восприятия, по-видимому, включал в себя путаницу «я» и «не-я». Почва для такой путаницы была подготовлена тем фактом, что, поскольку более крупные аспекты ее личности частично находились вне ее «я», легко было спутать эти отколотые аспекты своего бытия с другими людьми, например спутать свою «совесть» со своей матерью, а мать — с «совестью».

Любовь поэтому была очень опасна. Вспоминать любимого человека = напоминать его = быть тем же самым. Если она меня любит и вспоминает, она напоминает меня, она — это я. Таким образом, она начала с того, что говорила, что она — моя сестра, моя жена, она была некоей Нэвест. Я был жизнью. Она была Невестой Жизни. У нее обнаруживались мои манеры. У нее внутри было Древо Жизни. Она была Древом Жизни. Или опять-таки:

Она обдумывает мысли а, Ь, с.

Я высказываю сходные мысли а[1], Ь[1], с[1].

Поэтому я украл ее мысли.

Полное психотическое выражение этого состояло в обвинении меня в том, что я держу у себя в голове ее мозг.

И наоборот, когда она копировала или имитировала меня, она, вероятно, ожидала от меня возмездия за «обнаружение» себя с маленькой толикой меня, которую, по ее ощущениям, она украла. Конечно же, степень слияния все время менялась. Например, кража предполагает некоторую границу между «я» и «не-я».

Теперь мы проиллюстрируем и разработаем в деталях упомянутые выше вопросы с помощью примеров.

Одна из простейших иллюстраций воздействия расщепления ее бытия на два отдельных «узла»: она выдает-себе приказ и его выполняет. Она делала это постоянно —

либо еле слышно, либо в полный голос, либо посредством галлюцинаций. Вот так «она» говорила: «Сядь, встань» — и «она» садилась и вставала; или некий вызванный галлюцинацией голос — голос отдельной системы — отдавал приказ, и «она» — действие другой отдельной системы — повиновалась.

Еще один заурядный пример: «она» говорила нечто, что «она» приветствовала ироническим смехом (несовпадение мысли и аффекта). Давайте предположим, что заявление исходит из системы А, а смех — из системы В. Тогда А говорит мне: «Она — царствующая королева», тогда как В иронически смеется.

Большая часть происходящего была сродни продолжительному «заеданию». А говорит что-то относительно связно, а потом запутывается, и начинает говорить В. А вновь вмешивается, говоря: «Она (В) украла у меня язык».

Эти разнообразные отдельные системы можно было идентифицировать, по крайней мере до некоторой степени, после близкого знакомства с Джулией по причине постоянства той роли, которую каждая играла в том, что можно назвать межличностной «группой», которую они образовывали.

Например, существовала властная забияка, вечно ею помыкавшая. Тот же самый властный голос не переставая жаловался мне насчет «ребенка»: «Это испорченный ребенок. Этот ребенок зря тратит время. Этот ребенок — просто дешевая шлюха. У тебя никогда не будет ничего общего с этим ребенком…» Здесь «ты» могло относиться прямо ко мне, или к одной из ее систем, или я мог воплощать эту систему.

Очевидно, что эта забияка внутри нее большую часть времени являлась «начальницей». «Она» не высоко оценивала Джулию. «Она» не думала, что Джулии станет лучше или что та этого заслуживает. Она не находилась ни на ее стороне, ни на моей. Было бы удобно назвать такую квазиавтономную отдельную систему «плохой внутренней матерью». В сущности, она являлась внутренней преследовательницей, содержавшей в сжатом виде все плохое, что Джулия приписывала матери.

Две другие системы идентифицировать было очень легко. Одна выполняла роль ее адвоката в отношениях со мной «я» защитника или «буфера» в отношении преследования. «Она» часто ссылалась на Джулию как на младшую сестру. Доэтому феноменологически мы можем квалифицировать эту систему как «ее хорошую сестру».

Третья система, которую я представляю, была всецело хорошей, угодливой и умилостивляющей всех маленькой девочкой. Она, по-видимому, происходила из того, что несколько лет назад, вероятно, являлось системой, сходной js с системой ложного «я», которую я описал в шизоидных случаях. Когда эта система обретала дар речи, она говорила: «Я — хорошая девочка. Я регулярно хожу в туалет».

Существовали также источники того, что, видимо, было внутренним «я», которое почти полностью улетучилось, превратившись в чистую возможность. И наконец, как я отмечал раньше, были периоды непрочного душевного здоровья, когда она говорила испуганным, едва слышным голосом, но говорила «от своего собственного имени» больше, чем обычно.

Давайте теперь рассмотрим эти различные системы, действующие вместе. Я привожу примеры ее наиболее связных высказываний.

«Я родилась под черным солнцем. Я не родилась. Меня выдавили. Это не из тех вещей, к которым привыкаешь. Мне не дали жизнь, мне не давали жить. Она не была матерью. Я весьма привередлива в вопросе, кто у меня будет вместо матери. Прекрати это. Прекрати это. Она меня убивает. Она вырезает мне язык. Я — испорченная и прогнившая. Я — безнравственная. Я зря теряю время…»

Теперь в свете предыдущего обсуждения я предложил К бы следующее истолкование происшедшего.

Она начинает говорить со мной от своего собственного лица, чтобы направить против матери те же самые обвинения, которые она выдвигала в течение нескольких лет. Но особенно ясно и отчетливо. «Черное солнце» (sol niger), по-видимому, является символом ее

разрушительной матери. Этот образ очень часто повторяется. Первые четыре фразы звучат вполне здраво. Внезапно она оказывается подверженной какому-то ужасному нападению — предположительно со стороны этой самой плохой матери. Она осекается, переживая внутриличностный кризис: «Прекрати это. Прекрати это». Она едва успевает обратиться ко мне, воскликнув: «Она меня убивает». Затем следует защитная клеве! я на саму себя, сформулированную в тех же самых терминах. которыми ее плохая мать клеймила ее: «Я — испорченная и прогнившая. Я — безнравственная. Я зря теряю время…»

Обвинения против матери, вероятно, всегда ускоряли подобную катастрофическую реакцию. Позднее она высказывала свои обычные обвинения против матери, и плохая мать прервала ее как обычно, выдвинув обвинения в отношении «того ребенка»: «Тот ребенок — плохой, тот ребенок — испорчен… Тот ребенок зря теряет время». Я остановил ее, сказав: «Джулия боится, что убьет себя за то, что говорит такие вещи». Обличительная речь больше не продолжалась, но «она» очень тихо сказала: «Да, это моя совесть убивает меня. Я всю свою жизнь боялась матери и вечно буду боятся. Вы думаете, я смогу жить?» Это сравнительно цельное утверждение проясняет остающееся смешение ее «совести» и ее реальной матери. Ее плохая совесть была плохой, преследующей ее матерью. Как говорилось выше, возможно, одним из шизофреногенных элементов в ее жизни было то, что она не смогла реально заставить реальную мать воспринять ее потребность спроецировать часть ее «плохой» совести на нее. То есть заставить мать реально признать обоснованность обвинений Джулии и, таким образом, позволив себе увидеть в матери некоторое несовершенство, удалить часть внутреннего преследования из своей «совести».

«Этот ребенок не хочет сюда приходить, вы это осознаете? Она — моя младшая сестра. Этот ребенок ничего не знает о том, о чем не следует знать».

Тут начинает говорить ее «старшая сестра», делая для меня очевидным, что Джулия — невинная и несведущая, а потому не несет ни за что ответственности. Система «старшей сестры», в противоположность системе невинной и несведущей «младшей сестры», являлась весьма знающей и ответственной «личностью», доброй, опекающей и защищающей. Однако «она» не стоит на стороне Джулии, подрастающей младшей сестры, а всегда говорит «за» младшую сестру. Она хочет установить status quo.

«Разум у этого ребенка дал трещину. Разум у этого ребенка закрыт. Вы пытаетесь открыть разум этого ребенка. Я никогда не прощу вам попыток открыть разум этого ребенка. Этот ребенок мертв и не мертв».

Подтекст последней фразы состоит в том, что, оставаясь в некотором смысле мертвой, она в некотором смысле может быть не мертвой, но, если она примет ответственность за «реальную» жизнь, она может быть «реально» убита.

Впрочем, эта «сестра» к тому же могла говорить и так:

«Вам должен быть нужен этот ребенок. Вы должны его радушно принять… вы должны позаботиться об этой девочке. Я — хорошая девочка. Она — моя младшая сестра. Вы должны водить ее в туалет. Она — моя младшая сестра. Она ничего не знает об этом. Она не является невыносимым ребенком».

В этой старшей сестре содержатся опыт, знание, ответственность и благоразумие в противоположность невинности, неведению, безответственности и капризности младшей сестры. Мы здесь также видим, что шизофрения у Джулии состоит в общем недостатке объединенности, а не просто в отсутствии у нее некоего места «душевного здоровья». Эта составляющая ее бытия — «старшая сестра» — могла говорить разумно, здраво и уравновешенно, но это говорила не Джулия: ее душевное здоровье, если угодно, было расщеплено и заключено в оболочку. Ее реальное здоровье зависело не от возможности говорить здраво от имени «старшей сестры», а от возможности общего объединения всего ее бытия. Шизофрения выдает себя ее ссылками на саму себя как на третье лицо и при внезапных вторжениях младшей сестры тогда, когда говорит старшая сестра («Я — хорошая девочка»).

Когда же она демонстрировала мне слова или действия как свои собственные,

представленное таким образом «я» оказывалось полностью психотическим. Большая часть действительно загадочных и сжатых утверждений, по-видимому, принадлежала остаткам системы ее «я». После расшифровки они открыли, что эта система, вероятно, являлась источником сфантазированного внутреннего «я», которое мы описали в случае здоровых шизоидных состояний.

Мы уже пытались описать, как так происходит, что переживание этого «я» включает в себя такие предельные парадоксы, как «фантастическое всесилие/бессилие» и т. п. Феноменологические черты переживания такого «я» кажутся у Джулии в принципе сходными. Однако нужно быть готовым трансформировать ее шизофрению в здравую речь, прежде чем предпринимать попытки феноменологического реконструирован(tm) переживания этого «я». Мне приходится еще раз прояснить, что, используя в таком контексте термин «я», мы не подразумеваем под ним ее «истинное „я“». Однако эта система, по-видимому, являлась ядром, вокруг которого могло произойти объединение. Когда произошло разъединение, она, похоже, представляла собой центр, от которого вся разлеталась в стороны. Она, видимо, являлась центром для центробежных и центростремительных сил. Она казалась действительно безумной сердцевиной ее бытия, тем центральным аспектом, который, по-видимому, должен был стать хаотичным и мертвым, чтобы она не была убита.

Мы попытаемся охарактеризовать природу этого «я» с помощью утверждений, сделанных не только прямо этим «я», но также и утверждений, по-видимому, проистекающих из других систем. Существует не так много подобных заявлений, по крайней мере, так сказать, лично от этого «я». За время ее пребывания в больнице многие из них, вероятно, слились вместе, и в итоге получились постоянно повторяемые, по-телеграфному краткие утверждения, имеющие колоссальный подтекст.

Как мы видели выше, она говорила, что у нее внутри — Древо Жизни. Яблоками этого дерева были ее груди. У нее было десять сосков (ее пальцев). У нее были «все кости Шотландской бригады легкой пехоты». У нее было все, о чем она могла помыслить. Все, что она хотела, она немедленно, одновременно имела и не имела. Реальность не бросала свою тень или свой свет на ее желания или страхи. Каждое желание встречало мгновенное фантастическое выполнение, а каждый страх точно так же мгновенно фантастическим образом исчезал. Таким образом, она могла быть кем угодно, где угодно и когда угодно. «Я — Рита Хейворт, я — Джоан Блонделл. Я — царствующая королева. Мое королевское имя — Джулианна». «Она — самодостаточна, — говорила она мне. — Она имеет самообладание». Но это самообладание обоюдоостро. У него также есть и темная сторона. Она являлась девушкой, которой «овладел» фантом ее собственного бытия. У ее «я» не было ни свободы, ни автономии, ни власти в реальном мире. Поскольку она была кем угодно, кого ей хотелось вспомнить, она являлась никем. «Ее (о себе в третьем лице) тысячи. Она делит вас всех. Она послу снится (то есть мнимое существо, не личность, и в то же время „послушница“, „монахиня“)». Бытие монахини подразумевает очень много смыслов. Один из них противопоставляется положению невесты. Обычно она рассматривала меня как своего брата и называла себя моей невестой или невестой «прекрасной-распрекрасной живой Жизни». Конечно же, поскольку жизнь и я для нее порой были тождественны, она боялась Жизни — или меня. Жизнь (я) раздавила бы ее, сожгла ее сердце раскаленным докрасна железным прутом, отрезала ноги, руки, язык и груди. Жизнь понималась с самой неистовой и разрушительно свирепой из возможных точек зрения. Это не было каким-то моим свойством или чем-то, что я имел (например, фаллос = раскаленный докрасна железный прут). Это было то, чем я являлся. Я был жизнью. Несмотря на то, что внутри у нее было Древо Жизни, она ощущала себя главным образом Разрушительницей Жизни. Поэтому понятно, почему она боялась, что жизнь ее разрушит. Жизнь обычно описывалась с помощью мужских, или фаллических, символов, но кажется, она хотела не просто сама стать мужчиной, но иметь тяжелое сексуальное вооружение обоих полов — все кости Шотландской бригады легкой пехоты, десять сосков и т. д.

Она родилась под черным солнцем. Она была черным сном Окцидента (Запада).

Древний и весьма зловещий образ черного солнца возник совершенно независимо от какого-либо чтения. Джулия оставила школу в четырнадцать, читала очень мало и не была особо развитой. Маловероятно, что она встретила где-то какую-то ссылку на этот образ, но мы воздержимся от обсуждения происхождения данного символа и ограничимся рассмотрением ее языка как выражения того способа, которым она переживала бытие-в-своем-мире.

Она всегда настаивала на том, что никогда не была нужна матери и та скорее выдавила ее каким-то чудовищным способом, чем родила нормальным образом. Мать «хотела и не хотела» сына. Она была «черным сном Окцидента», то есть сыном инцидента (несчастного случая), которого мать из ненависти превратила в девочку. Лучи черного солнца обжигали и иссушивали ее. Под черным солнцем она существовала как мертвая вещь. Таким образом, Я — прерия. Она — разрушенный город.

Единственными живыми существами в прерии были дикие звери. Крысы наводняли разрушенный город. Ее существование описывалось в образах предельно бесплодной, сухой пустынности. Такая экзистенциальная смерть, такая смерть-в-жизни являлась преобладающим образом бытия-в-мире.

Она — призрак заброшенного сада.

В этой смерти не было ни надежды, ни будущего, ни каких-либо возможностей. Все уже произошло. Не было ни удовольствия, ни источника возможного удовлетворения или возможного наслаждения, ибо мир был таким же пустым и мертвым, как и она.

«Она просто одна из девушек, живущих в этом мире. Все притворяются, что она им нужна, а она им не нужна. Сейчас я просто веду жизнь дешевой шлюхи».

Однако, как мы видели из более ранних заявлений, она оценивала себя только в виде фантома. Существовала вера (хотя это было психотическое верование, все же это была некая вера) в то, что есть нечто очень ценное, потерянное или спрятанное глубоко внутри нее и пока не найденное ни ею самой, ни кем-либо другим. Если проникнуть глубоко в черную землю, можно обнаружить «блестящее злато», если хорошенько вникнуть, можно найти «на дне морском жемчуг».

ПОЛИТИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ

I. ЛИЧНОСТИ И ПЕРЕЖИВАНИЕ

…что великие и подлинные амфибии, по природе своей, живут подобно существам не только иных стихий, но и других, далеких миров.

СЭР ТОМАС БРАУН. «Religio Medici»

1. Переживание как свидетельство

Даже факты становятся выдумкой без соответствующих способов видения «фактов». Нам нужны не теории, а переживание, которое есть источник теории. Мы не удовлетворены верой в смысле иррационально поддерживаемой неправдоподобной гипотезы — нам требуется пережить «свидетельство».

Мы можем видеть поведение других людей, но не их переживание. Это заставляет некоторых людей утверждать, что психология не имеет ничего общего с переживанием другой личности, а занимается лишь ее поведением.

Поведение другой личности — мое переживание. Мое поведение — переживание другого. Задача социальной феноменологии — связать мое переживание поведения другого с переживанием другим моего поведения. Ее предмет — связь между переживанием и

переживанием, ее истинное поле деятельности — взаимное переживание.

Я вижу вас, а вы видите меня. Я переживаю вас. а вы переживаете меня. Я вижу ваше поведение. Вы видите мое поведение. Но я не вижу, никогда не видел и никогда не увижу вашего переживания меня. Точно так же, как вы не можете «видеть» моего переживания вас. Мое переживание вас не находится «внутри» меня. Это просто вы, какими я вас переживаю. И я не переживаю вас находящимися внутри меня. Сходным образом я понимаю, что вы не переживаете меня находящимся внутри вас.

«Мое переживание вас» — лишь иная форма выражения. «вы-такой-каким-я-вас-переживаю», а «ваше переживание меня» равно «мне-такому-каким-вы-меня-переживаете». Ваше переживание меня находится не внутри вас, и мое переживание вас — не внутри меня, но ваше переживание меня невидимо мне, а мое переживание вас невидимо вам.

Я не могу переживать ваше переживание. Вы не можете переживать мое переживание. Мы с вами — люди-невидимки. Все люди — невидимы друг для друга. Переживание обычно называют Душой. Переживание как невидимость человека человеком в то же самое время свидетельствует больше, чем что-либо иное. Свидетельствует единственно переживание. Переживание — единственное свидетельство. Психология есть логос переживания. Психология — структура свидетельства, и, следовательно, психология — наука всех наук.

Если же, однако, переживание есть свидетельство, как можно изучать переживание другого? Ведь переживание другого для меня не очевидно, поскольку оно не является и никогда не сможет являться моим переживанием.

Я не могу избежать попыток понять ваше переживание, потому что, хотя я и не переживаю ваше переживание, которое мне невидимо (и не-осязаемо, не-обоняемо, неслышимо), однако я переживаю вас в качестве переживающего.

Я не переживаю ваше переживание. Но я переживаю вас как переживающего. Я переживаю самого себя как переживаемого вами. И я переживаю вас как переживающего самого себя как переживаемого мной. И так далее.

' Изучение переживания других основывается на заключениях, которые я делаю — исходя из моего переживания вас, переживающего меня, — о том, как вы переживаете меня, переживающего вас, переживающего меня…

Социальная феноменология — наука о моем собственном переживании и переживании других. Она занимается связью между моим переживанием вас и вашим переживанием меня. То есть взаимным переживанием. Она занимается вашим поведением и моим поведением, какими я их переживаю, и нашим с вами поведением, каким вы его переживаете.

Поскольку ваше и их переживание мне невидимо, как и мое — вам и им, я стараюсь сделать очевидным для других, посредством их переживания моего поведения, то, что я заключаю о вашем переживании, посредством моего переживания вашего поведения.

Именно здесь кроется основное затруднение социальной феноменологии.

Естественные науки занимаются лишь переживанием вещей наблюдателем, а не тем, как вещи переживают нас. Нельзя говорить, что вещи не реагируют на нас и друг на друга. Естественным наукам ничего не известно о связи между поведением и переживанием. Природа подобной связи таинственна — в марселевском смысле слова. Она, так сказать, не является объективной проблемой. Для ее выражения непригодна традиционная логика. Нет и разработанной методики понимания ее природы. Но эта связь есть связка нашей науки-если наука означает форму знания, соответствующую своему предмету. Связь между переживанием и поведением — камень, который отвергнут строители на свой собственный риск. Без него все здание нашей теории и практики должно рухнуть.

Переживание невидимо другому. Но переживание — скорее не «субъективно», а «объективно», скорее не «внутренне», а «внешне», скорее не процесс, а практика, скорее не «вход», а «выход», скорее не психическое, а соматическое, скорее не какие-то сомнительные данные, выуженные из интроспекции, а из экстроспекпии. Менее всего переживание является «внутрипсихическим процессом». Подобные взаимоотношения, объективные

отношения, межличностные отношения, перенос, контрперенос — поскольку мы должны жить среди людей — представляют собой не просто взаимодействие двух объектов в пространстве, каждый из которых обладает внутрипсихическими процессами.

Такое различие между внешним и внутренним обычно относят к различию между поведением и переживанием;

но порой оно относится к некоему переживанию, которое должно быть «внутренним» в противоположность другим, которые являются «внешними». Более точно это различие между разными видами переживания, а именно восприятием (как внешним) в противоположность воображению и т. п. (как внутренним). Но восприятие, воображение, фантазии, грезы, сновидения, воспоминания — лишь разные модальности переживания, они не более «внутренние» или «внешние», чем любые другие.

Однако подобный способ рассуждений отражает раскол в нашем переживании. По-видимому, мы живем в двух мирах и большинству людей известен только «внешний». Пока мы помним, что «внутренний» мир — не какое-то пространство «внутри» тела или мозга, такой способ рассуждений может служить нашей цели. (Он вполне подходил Вильяму Блейку.) Значит, «внутреннее» — это наше личное средство переживания нашего тела, других людей, одушевленного и неодушевленного мира: воображение, сновидения, фантазии и все остальное вплоть до самых дальних границ переживания.

Бертран Рассел как-то заметил, что звезды находятся в мозгу.

Звезды, какими я их воспринимаю, не в большей и не в меньшей степени у меня в мозгу, чем звезды, какими я их воображаю. Я не воображаю, что они у меня в голове, а тем более, что я вижу их у себя в голове.

Связь переживания с поведением не является связью внутреннего с внешним. Мое переживание не находится внутри моей головы. Мое переживание этой комнаты — вовне, в этой комнате.

Сказать, что мое переживание внутрипсихично, — значит предположить, что есть душа, внутри которой находится мое переживание. Моя душа есть мое переживание, мое переживание — моя душа.

Раньше многие люди верили, что звездами движут ангелы. Сегодня оказалось, что это не так. Вследствие такого и сходных откровений сегодня многие люди не верят в ангелов.

Раньше многие люди верили, что «местонахождение» души расположено где-то в мозгу. С тех пор, как мозг начали довольно-таки часто вскрывать, никто еще не увидел «душу». Вследствие такого и сходных откровений сегодня многие люди не верят в душу.

Кто мог предполагать, что ангелы движут звездами, или быть настолько суеверным, чтобы предположить, что, поскольку нельзя увидеть душу под микроскопом, она не существует?

2. Межличностные переживание и поведение

Наша задача — и переживать, и постигать конкретное, так сказать, реальность во всей ее полноте и целостности.

Но сделать это непосредственным образом совершенно невозможно. При переживании и постижении мы обладаем лишь частностями.

Мы можем начать с понятия одной личности, со связей между двумя и более личностями, с групп или с общества в целом; или с материального мира и считать индивидуумов вторичными. Мы можем вывести детерминанты нашего индивидуального и социального поведения из внешних необходимостей. При подобном мировоззрении мы имеем частные взгляды и частные понятия. Теоретически же нужна спираль расширяющихся и сжимающихся систем, которая сделает нас способными двигаться Свободно и непрерывно от различных степеней абстракции к большим или меньшим степеням конкретности. Теория есть членораздельное видение переживания. Данная книга начинается и кончается личностью.

Могут ли человеческие существа сегодня быть личностями? Может ли быть человек рядом с другим человеком своим настоящим «я»? Прежде чем мы сможем задать оптимистический вопрос: «Что такое взаимодействие личностей?» — мы должны спросить: возможны ли личностные взаимоотношения, или возможны ли личности в настоящее время? Нас интересуют возможности человека. Данный вопрос можно задавать только благодаря многогранности этих возможностей. Возможна ли любовь? Возможна ли свобода?

Неважно, являются или не являются все человеческие существа личностями (или ими являются только некоторые), я хочу определить личность двумя способами: с точки зрения переживания — как центр ориентации объективной Вселенной — и с точки зрения поведения — как источник действий. Личностное переживание преобразует данное поле в поле намерений и действий: только через действие может быть преобразовано наше переживание. Есть искушение рассматривать «личности» лишь как отдельные объекты в пространстве, которые можно изучать как любые другие природные объекты. Но, как Киркегор заметил, что сознание не найдешь, разглядывая под микроскопом клетки головного мозга или что-нибудь еще, так же не найти и личности, изучая личности, словно они лишь объекты. Личность — это я или вы, он или она: то, посредством чего переживается объект. Неужели эти центры переживания или источники действия живут в совершенно несвязанных мирах собственного производства? Каждый должен обратиться здесь к своему собственному переживанию. Мое собственное переживание как центр переживания и источник действий говорит мне, что это не так. Мое переживание и мои действия осуществляются в социальном поле взаимных влияний и взаимодействий. Я переживаю самого себя, опознаваемого как Рональда Лэнга самим собой и другими, как переживаемого другими и находящегося под воздействием других, которые относятся к той личности, которую я называю «мной», как к «тебе» или к «нему», или группируют вместе как «одного из нас», или «одного из них», или «одного из вас».

Такая черта личностных отношений не проявляется в связи с поведением безличностных объектов. Многие социологи борются со своим смятением, отрицая саму ее возможность. Тем не менее естественно-научный мир запутан присутствием определенных опознаваемых сущностей, четко переопознаваемых через какое-то время, чье поведение есть либо проявление, либо сокрытие мировоззрения, равного по онтологическому статусу мировоззрению ученого.

Можно наблюдать, как люди спят, едят, ходят, говорят и т. д. относительно предсказуемыми способами. Мы не должны удовлетворяться наблюдениями только такого рода. Наблюдение поведения должно быть расширено за счет заключений, относящихся к переживанию. Лишь тогда, когда мы это сможем сделать, мы в самом деле сможем построить систему поведения-переживания, являющуюся человеческой особью.

Вполне возможно изучать видимое, слышимое, обоняемое излучение человеческих тел, и многие исследования человеческого поведения проводятся именно в таком ключе. Можно свалить в кучу большое количество единиц поведения и рассматривать их как статистическое население, никоим образом не отличимое от множественности, определяющей систему нечеловеческих объектов. Но это не будет изучением личностей. В науке о личностях я приму в качестве аксиом, что поведение есть функция переживания и что переживание и поведение всегда связаны с кем-то или чем-то ильм, нежели «я».

Когда рассматриваются отношения двух (или более) личностей, поведение каждой из них по отношению к другой опосредовано переживанием каждой из них, а переживание каждой из них опосредовано их поведением. Нет никакого соприкосновения между поведением одной личности и поведением другой. Большую часть человеческого поведения можно рассматривать в качестве односторонних или двусторонних попыток устранить переживание. Личность может относиться к другой личности так, как если бы она не была личностью, и она может действовать так, как если бы она не была личностью. Нет никакого соприкосновения между переживаниями одной личности и переживаниями другой. Мое переживание всегда опосредовано вашим поведением. Поведение, являющееся прямым

следствием столкновения, как в случае бильярдных шаров, или переживание, непосредственно переданное переживанию, как в возможных случаях сверхчувственного восприятия, не личностны.

3. Нормальное отчуждение от переживания

Значимость Фрейда в наше время основана на его прозрении, и в 'очень большой степени — его показе того, что рядовая личность — это высушенная, сморщенная частичка того, чем может быть личность.

Будучи взрослыми, мы забываем большую часть нашего. детства — не только его содержание, но и его вкус; будучи 'людьми, живущими в этом мире, мы едва ли знаем о существовании внутреннего мира — мы едва ли вспоминаем свои сны, а когда это делаем, их почти не осмысливаем; что же касается наших тел, то мы сохраняем лишь определенное количество ощущений для того, чтобы координировать свои движения и удовлетворять минимальным требованиям биосоциального выживания — отмечать усталость и сигналы тела на потребность в пище, сексе, необходимых выделениях и сне; кроме этого, очень мало или вообще ничего. Наша способность мыслить, исключая служение тому, в чем мы с опасностью для себя заблуждаемся, есть наше своекорыстие, а при приспособлении к здравому смыслу она до прискорбного ограничена; даже наши способности видеть, слышать, осязать, обонять и ощущать вкус настолько скрыты саваном мистификации, что жесткий порядок неузнавания необходим для любого, до тех пор пока он не сможет начать свежо переживать мир — с Невинностью, подлинностью и любовью.

А непосредственное переживание (в противоположность вере в них — демонов, духов. Властей, Сил, Господств, Серафимов и Херувимов, Света) даже еще более удалено. В то время как области переживания становятся все более отчужденными от нас, нам нужна все большая и большая духовная открытость хотя бы для того, чтобы признать их существование.

Многие из нас не знают или даже не верят, что каждую ночь мы входим в такие области реальности, в которых забываем нашу жизнь наяву точно так же, как забываем свои сны, пробуждаясь. Не все психологи считают фантазию модальностью переживания [27] и, так сказать, контрапунктическим переплетением различных видов переживания. Многие, кому известны фантазии, считают, что фантазия находится за той границей, которую достигает переживание при «нормальных» обстоятельствах. Дальше расположены лишь «патологические» зоны галлюцинаций, фантасмагорических миражей и маний.

Такое положение вещей показывает почти невероятное опустошение нашего переживания. Тогда начинается пустопорожняя болтовня о зрелости, любви, радости и мире.

Само по себе это является следствием отхода нашего переживания — того, что от него осталось, — от нашего поведения.

То, что мы называем «нормальным», есть производное подавления, вытеснения, расщепления, проекции, интра-проекции и других форм разрушительного воздействия на переживание. Оно коренным образом отчуждено от структуры бытия.

Существуют формы отчуждения, которые относительно инородны статистически «нормальным» формам отчуждения. «Нормально» отчужденная личность по причине того, что она действует более или менее как все остальные, считается психически здоровой. Другие формы отчуждения, выбивающиеся из господствующего состояния отчуждения, клеймятся «нормальным» большинством как дурные или безумные.

Состояние отчуждения, сон, бессознательное состояние, нахождение не в своем уме — состояния нормального человека.

Общество же высоко ценит своего нормального человека. Оно обучает детей потере самих себя и превращению в нелепых, и таким образом нормальных людей.

За последние пятьдесят лет нормальные люди убили, вероятно, сто миллионов своих нормальных собратьев.

Наше поведение есть функция нашего переживания. Мы действуем согласно тому, как мы видим.

Если наше переживание разрушено, наше поведение будет разрушительным.

Если наше переживание разрушено, мы потеряли свои собственные «я».

Насколько человеческое поведение, будь то взаимодействие между личностями или группами, постигаемо с точки зрения человеческого переживания? Либо наше взаимное поведение непостижимо, в случае чего мы просто являемся пассивным орудием неких нечеловеческих процессов, цели которых настолько же туманны, насколько они в настоящее время неуправляемы; либо наше собственное поведение по отношению друг к другу есть функция нашего собственного переживания и наших собственных намерений, хотя мы от них и отчуждены. В последнем случае мы должны нести окончательную ответственность за то, что мы делаем из того, из чего мы сделаны.

Мы не найдем в поведении ничего постижимого, если будем рассматривать его как несущественную фазу в существенном нечеловеческом процессе. У нас имеются исследования людей как животных, людей как машин, людей как биохимических комплексов, но остаются огромные трудности при достижении человеческого понимания человека с человеческой точки зрения.

Во все времена человек был подчинен — как он считал и переживал — силам звезд, богов или силам, которые бушуют сейчас в самом обществе, являющемся тем, чем являлись когда-то звезды, определяющие судьбу человека.

Впрочем, людей всегда отягощало не только ощущение подчиненности судьбе и случаю, предопределенным внешним необходимостям или случайностям, но и ощущение, что их собственные мысли и чувства, в их наиболее личностных проявлениях, являются итогом и результатом процессов, которым они подвергаются.

Человек может отчуждаться от самого себя, мистифицируя себя и других. Он также может обкрадываться другими.

Если мы лишены переживания, мы лишены своих поступков; а если наши поступки, так сказать, взяты у нас из рук, как игрушки из рук ребенка, мы лишаемся нашей человеческой природы. Нас нельзя обманывать. Люди могут разрушить и разрушают человеческую природу других людей, и условием возможности этого является то, что все мы взаимно зависимы. Мы не являемся самодостаточными монадами, никоим образом не воздействующими друг на друга, разве что друг в друге отражаясь. Мы влияем на других людей и меняемся — к худшему или к лучшему — под их влиянием. Каждый из нас есть другой для других.

Совершенно определенно, что, если мы не сможем упорядочить наше поведение более удовлетворительным образом, нежели в настоящее время, мы истребим сами себя. Но как мы переживаем мир, так мы и действуем, и этот закон сохраняет силу даже тогда, когда действие скорее скрывает, чем раскрывает наше переживание.

Мы даже не можем мыслить соответствующим образом о поведении, которое находится на грани уничтожения. Но то, что мы мыслим, меньше того, что мы знаем; то, что мы знаем, меньше того, что мы любим; то, что мы любим, намного меньше того, что есть. И именно в такой степени мы намного меньше того, чем мы являемся.

Однако, если нет ничего иного, каждый раз, когда рождается еще один ребенок, возникает возможность отсрочки. Каждый ребенок — это новое бытие, потенциальный пророк, новый духовный вождь, новая искра света, низвергнутая во внешний мрак. Кто мы такие, чтобы решать, что все безнадежно?

4. Фантазия как вид переживания

«Поверхностное» переживание себя и другого исходит из менее дифференцированной матрицы переживания. Онтогенетически самые ранние схемы переживания недолговечны и давно преодолены; но никогда — до конца. В большей или меньшей степени первые

способы, которыми осмысливается мир, продолжают подпирать все наши последующие переживания и действия. Нашим первым способом переживания мира в основном является то, что психоаналитики назвали фантазией. Эта модальность обладает своей собственной обоснованностью, своей собственной рациональностью. Детская фантазия может стать анклавом, отделившимся неразвитым «бессознательным», но ей нужно быть чем-то иным. Этот случай — еще одна форма отчуждения. фантазия в таком виде, в каком она встречается сегодня у многих людей, — это отщепление от того, что личность считает своим зрелым, здоровым, рациональным, взрослым переживанием. Тогда мы не рассматриваем фантазию в ее подлинной функции, а переживаем ее просто как навязчивую, назойливую помеху, оставшуюся от детства.

Большую часть нашей социальной жизни мы в основном замалчиваем этот подспудный уровень фантазии в наших взаимоотношениях.

Фантазия — особый способ отношения к миру. Это часть — и порой существенная часть — значения или смысла, имплицитного действию. Если рассматривать ее в качестве взаимоотношения, мы можем быть от нее отделены; если в качестве значения, мы не можем ее ухватить; если в качестве переживания, она может различными путями ускользнуть от нашего внимания. То есть можно говорить о том, что фантазия является «бессознательной», если дать этому основному утверждению дополнительные пояснения.

Однако, хотя фантазия может быть бессознательной — то есть хотя мы можем не знать об этом виде переживания или отказываться допустить, что наше поведение предполагает отношения переживаний или переживание отношений, придающих ему значение, часто очевидное для других, если не для самих себя, — фантазии не нужно быть вот так отщепленной от нас, будь то с точки зрения ее содержания или модальности.

Короче, фантазия в том смысле, в каком я употребляю этот термин, всегда находится в переживании и всегда значима; и, если личность не отделена от нее, относительно обоснована.

Разговаривают, сидя в креслах, два человека. Один (Петр) что-то доказывает другому (Павлу). Он объясняет Павлу свою точку зрения различными способами в течение некоторого времени, но Павел не понимает.

Давайте вообразим, что происходит в смысле того, что я называют фантазией. Петр пытается достучаться до Павла. Он чувствует, что Павел излишне закрыт для него.

Для Петра становится все более важным ослабить его сопротивление, прорваться к Павлу. Но Павел кажется твердым, непроницаемым и холодным. Петр чувствует, что стучится головой о кирпичную стену. Он чувствует себя уставшим, потерявшим всякую надежду, все более опустошаемым по мере осознания своего провала. В конце концов он сдается.

Павел же, с другой стороны, чувствует, что Петр давит чересчур сильно. Он чувствует, что должен отбить его нападение. Он не понимает, что говорит Петр, но чувствует, что должен защищаться.

Отделение каждого от его фантазии, а фантазии — от другого означает недостаток взаимоотношения каждого с самим собой и каждого с другим. «В фантазии» они оба связаны друг с другом более или менее, чем каждый притворяется себе и другому.

Здесь две дополняющие друг друга фантазии противоречат спокойной манере, в которой разговаривают два человека, удобно расположившись в креслах.

Ошибочно рассматривать приведенное выше описание как чисто метафорическое.

5. Отрицание переживания

По-видимому, ничто, кроме другой личности, так действенно не оживляет для человека мир — взглядом, жестом, замечанием, — что устраняет реальность, в которой он пребывал.

ЭРВИНГ ГОФФМАН. «Встречи: два исследования по психологии взаимодействия»

Физическое окружение беспрестанно предлагает нам возможности переживания или лишает их. Фундаментальное значение для человека архитектуры проистекает именно отсюда. Слава Афин, столь ярко утвержденная Периклом, и ужас многих черт современных мегаполисов состоят в том, что первые расширили, а вторые сузили человеческое сознание.

Здесь, однако, я сосредоточусь на том, что мы делаем самим себе и друг для друга.

Давайте возьмем простейшую межличностную схему. Рассмотрим отношения Джека и Джил. Поведение Джека по отношению к Джил переживается Джил определенным образом. То, как она переживает его, значительно влияет на то, как она ведет себя по отношению к нему. То, как она ведет себя по отношению к нему, влияет на то, как он переживает ее. А его переживание ее складывается с его образом поведения по отношению к ней, который, в свою очередь… и т. д.

Каждая личность может принять два, отличающихся в своей основе образа действия в этой межличностной системе. Каждый может действовать на основе своего собственного переживания или под влиянием переживания другой личности, и не существует никакого иного образа личностного действия внутри этой системы. Пока мы рассматриваем личностное воздействие «я» на «я» или «я» на другого, единственным образом, которым можно действовать, является действие на основе либо собственного переживания, либо переживания другого.

Личностное действие может либо раскрыть возможности обогащенного переживания, либо скрыть эти возможности. Личностное действие является либо в основном усиливающим, утверждающим, ускоряющим, поддерживающим и расширяющим, либо ослабляющим, низвергающим, замедляющим, подрывающим и суживающим. Оно может быть созидающим и разрушающим.

В мире, где нормальным условием является отчуждение, большая часть личностных действий должна быть разрушающей — на основе как собственного переживания, так и переживания другого. Я покажу здесь несколько способов того, как это происходит. Я оставлю читателю рассмотреть с точки зрения его опыта, насколько распространены подобные действия.

Под заголовком «механизмы защиты» психоанализ описывает множество способов, при которых личность становится отчужденной от самой себя. Эти механизмы часто описываются с точки зрения психоанализа как сами по себе «бессознательные», то есть личности, по-видимому, неизвестно, что она делает с собой. Даже когда у личности наблюдается достаточная проницательность, чтобы увидеть, что происходит, к примеру, «расщепление», она обычно переживает это как действительно механизм, так сказать, безличностный процесс, который она может наблюдать, но не может ни контролировать, ни остановить.

Таким образом, есть некоторая феноменологическая обоснованность в обозначении подобных «защит» термином «механизм». Но мы должны пойти дальше. Они имеют такой механический характер, потому что личность, как она переживает самое себя, отделена от них. Ей и другим кажется, что она от них страдает. Они кажутся процессами, воздействующими на нее, и в таком виде она переживает себя в качестве пациента с какой-то психопатологией.

Но так обстоит дело лишь с точки зрения ее собственного отчужденного переживания. Когда же она становится неотчужденной, она в первую очередь узнает о них, если она этого уже не сделала, а во-вторых, что более важно, делает шаг к постепенному осознанию того, что она делает или делала это себе самой.

В конечном итоге можно обрести ушедшую из-под ног почву. Подобные защитные механизмы суть действия, предпринимаемые личностью на основе своего собственного переживания. В результате всего этого она отделила себя от своего собственного действия. Окончательный продукт такого двойного насилия — личность, которая переживает себя скорее не как полную личность, но как часть личности, подверженную вторжению

разрушительных психопатологических «механизмов», перед лицом которых она — относительно беспомощная жертва.

Такие «защиты» это воздействие на себя самого. Но «защиты» не только внутриличностны, они и межличностны. Я воздействую не только на самого себя, я воздействую и на вас. И вы воздействуете не только на самих себя, вы воздействуете и на меня. В любом случае — на переживание.

Если Джек преуспевает в забвении чего-то, то нет проку от того, что Джил продолжает напоминать ему об этом. Он должен принудить ее не делать этого. Самый безопасный способ — не просто заставить ее об этом молчать, но принудить ее так же это забыть.

Джек может воздействовать на Джил различными способами. Он может заставить ее чувствовать себя виновной в постоянном «возвращении к этому». Он может свести на нет ее переживание. Это может быть сделано более или менее полностью. Он может показать, что это просто неважно или незначительно, в то время как для нее это важно и значительно. Идя дальше, он может сменить модальность ее переживания с воспоминания на воображение: «Это все твое воображение». Более того, он может свести на нет содержание: «Этого никогда не было». В конце концов, он может свести на нет не только значение, модальность и содержание, но и саму ее способность. помнить и заставить ее чувствовать себя виноватой в том, что она это делает.

Подобное далеко не необычно. Люди проделывают друг с другом такие вещи все время. Однако для того чтобы такое межличностное сведение на нет работало, полезно покрыть его толстым слоем мистификации [30]. Например, путем отрицания того, что делается именно это, а затем сведения на нет любой мысли, что это делалось, заявлениями вроде подобных: «Как ты могла такое подумать?» или «У тебя, наверно, паранойя» и т. д.

6. Переживание отрицания

Существует множество разновидностей переживания недостатка или отсутствия и множество тонких различий между переживанием отрицания и отрицанием переживания.

Любое переживание как активно, так и пассивно- единство данного и истолкованного. И построение, помещаемое на то, что дано, может быть положительным и отрицательным: это то, что человек хочет, или чего боится, или готовится принять, или не принять. Элемент отрицания присутствует в любом взаимоотношении и в любом переживании взаимоотношения. Разница между отсутствием взаимоотношений и переживанием каждого взаимоотношения как отсугствия — это различие между одиночеством и постоянной уединенностью, между временной надеждой или безнадежностью и нескончаемым отчаянием. Роль, которую, но своим ощущениям, я играю в создании такого положения вещей, определяет то, что, по моим ощущениям, я могу или должен сделать в отношении этого.

Первым намеком на небытие, возможно, была грудь или мать в качестве отсутствующих. Кажется, это было предположение Фрейда. Уинникотт пишет о «дыре», сотворении ничто посредством поглощения груди. Бион относит происхождение мышления к переживанию не-груди. По выражению Сартра, человеческое существо не создает бытие, но скорее вводит небытие в мир, в исходную полноту бытия.

Ничто, как переживание, возникает как отсутствие кого-то или чего-то. Нет друзей, нет взаимоотношений, нет радости, нет смысла в жизни, нет идей, нет счастья, нет денег. Применительно к частям тела — нет груди, нет пениса, нет ни здоровых, ни больных внутренностей — пустота. Перечень в принципе бесконечен. Возьмите что угодно и вообразите отсутствие этого.

Бытие и небытие — центральная тема любой философии и на Востоке, и на Западе. Такие выражение — не безвредные и невинные словесные украшения, разве что в профессиональном философствовании декаданса.

Мы боимся достичь бездонной и безграничной беспочвенности всего сущего.

«Бояться нечего». Высшее успокоение и высший ужас.

Мы переживаем объекты нашего переживания как находящиеся там, во внешнем мире. Источник нашего переживания, видимо, находится вне нас самих. При творческом переживании мы переживаем источник сотворенных образов, форм, звуков находящимся внутри нас, но по-прежнему за нашими пределами. Цвета исходят из источника до-света, самого по себе не зажженного, звуки — из тишины, образы — из бесформенного. Такой дообразный до-свет, такой до-звук, такая до-форма есть ничто, но, однако, это источник всего сотворенного.

Мы отделены друг от друга и связаны друг с другом физически. Личности как воплощенные бытия связаны друг с другом посредством пространства. И мы отделены и соединены нашими точками зрения, образованием, прошлым, организациями, группами, членством, идеологиями, социально-экономическими интересами класса, темпераментами. Эти социальные «вещи», объединяющие нас, являются в то же время. в е щ а м и, множеством социальных вымыслов, что встают между нами. А если бы мы смогли отбросить все эти необходимости и случайности и открыть друг другу свое обнаженное присутствие? Если вы выкинете все — любые одеяния, маски, костыли, грим, а также общественные проекты, игры, дающие нам повод нарядить их в маскарадные костюмы собраний и заседаний, — если бы мы смогли встретиться, если бы был такой случай, счастливое совпадение человеческих существ, что бы нас сейчас разделяло?

Двое людей, между которыми и в начале и в конце ничего нет. Между нами ничто. Ничто. То, что в действительности «между», нельзя назвать ни одной вещью, находящейся между. Между — это само ничто.

Если я рисую что-то на листе бумага, то вот действие, которое я предпринимаю на основе своего переживания своего положения. Что я сам переживаю в качестве действия и какое у меня намерение? Пытаюсь ли я передать кому-то нечто (сообщение)? Перестраиваю ли я части какой-то внутренней головоломки (намерение)? Пытаюсь ли я раскрыть свойства этого вновь появляющегося гештальта (открытие)? Удивлен ли я, что появляется нечто, чего раньше не существовало? Что эти строки не существовали на этой странице до того, как я их написал? Здесь мы подходим к переживанию творения и ничто.

То, что мы называем стихом, составлено из сообщения, намерения, оплодотворения, открытия, производства и сотворения. В борьбе намерений и побуждений произошло чудо. Под солнцем есть нечто новое: бытие возникло из небытия, из камня забил ключ.

Без чуда ничего не происходит. Машины уже стали общаться друг с другом успешнее, чем человек с человеком. Ситуация — иронична. Все больше и больше интереса к сообщению, все меньше и меньше интереса сообщить.

Мы не так уж заняты переживаниями «заполнения пробелов» в теории познания, заполнения дыры, занятия пустого пространства. Вопрос не во вставлении чего-то в нечто иное, но в сотворении чего-то из ничего. Ex nihilo. То ничто, из которого возникает творение, в чистом виде не пустое пространство и не пустой промежуток времени.

В вопросе небытия мы находимся на внешних границах того, что установлено языком, но мы можем показать языком, почему язык не может сказать того, чего он не может сказать. Я не могу сказать того, что не может быть сказано, но звуки могут заставить нас слушать тишину. В рамках языка возможно показать, когда должно начаться многоточие… Но, используя слово, букву, звук, ОМ, нельзя сложить звук с беззвучностью, имя с неименуемым.

Тишину до-сотворения, выраженную в языке и посредством языка, нельзя выразить языком. Но язык можно использовать для того, чтобы описать то, что он не может сказать, — пробелами, пустотами и описками, решеткой слов, синтаксиса, звучания и значения. Модуляции высоты и громкости точно изображают форму, не заполняя пространства между строк. Но грубая ошибка — принимать строки за модель или модель за то, что она моделирует.

Наиболее основополагающе человек не вовлечен ни в открытие существующего, ни в

сообщение, ни в намерение. Он делает бытие способным возникнуть из небытия.

Переживание бытия действительного посредника непрерывного процесса творения проводит мимо любого подавления, или гонения, или суетной славы, даже мимо беспорядка и пустоты, и вводит в само чудо того непрерывного полета небытия в бытие. Оно может стать возможностью того великого освобождения, когда осуществляется переход бытия, боящегося ничто, к осознанию того, что нечего бояться. Тем не менее очень легко сбиться с пути на любой стадии.

Здесь может ждать огромная радость, но также легко быть искалеченным этим процессом или слиться с ним. Он будет требовать акта воображения от тех, кто не знает из своего собственного опыта, что за ад эта пограничная полоса между бытием и небытием. Но воображение для этого и существует.

Положение, или позиция, человека по отношению к этому акту, или процессу, может стать решающим с точки зрения безумия или душевного здоровья.

Есть люди, которые чувствуют, что призваны даже самих себя производить из ничто, поскольку подспудное чувство в них говорит, что они не были сотворены должным образом или были сотворены только для разрушения.

Если нет ни смысла, ни ценностей, ни источника поддержки или помощи, то человек как творец должен изобретать, призывать смыслы и ценности, поддержку и помощь из ничто. Он — волшебник.

Человек в самом деле может создать нечто новое — стих, картину, скульптуру, систему идей, размышлять о том, о чем никто никогда не размышлял, видеть так, как никто никогда не видел. Небольшая выгода заключается в том, что он, вероятно, происходит из своего собственного творчества. Фантазия не видоизменена подобным «действием», даже самая возвышенная. Судьба, ожидающая творца после того, как его не замечают, замалчивают, презирают, состоит в том, чтобы — к счастью или к несчастью, в зависимости от точки зрения, — быть открытым чем-то нетворческим.

Бывают неожиданные, даже необъяснимые самоубийства, которые должны пониматься как рассвет надежды, столь ужасный и мучительный, что он невыносим.

При нашем «нормальном» отчуждении от бытия личность, обладающая опасным знанием о небытии того, что мы принимаем за бытие (псевдожелания, псевдоценности, псевдодействительность эндемических заблуждений о том, что принимается за жизнь, смерть и т. п.), в современную эпоху являет миру творческие акты, которые мы презираем и страстно желаем.

Слова в стихе, звуки в движении, ритм в пространстве пытаются увести обратно в личностное пространство и время личностное значение из звуков и форм обезличенного, обесчеловеченного мира. Они являются плацдармом на чужой территории. Они представляют собой мятеж. Их источник — Безмолвие в сердцевине каждого из нас. Когда бы и где бы во внешнем мире ни появлялся подобный вихрь оформленного звука и пространства, сила, что содержится в нем, порождает новые силовые линии, чье воздействие ощущается на протяжении веков.

Творческое дыхание «исходит из области человека, в которую человек не может спуститься, даже если б его вел Вергилий, ибо Вергилий туда бы не пошел» (из «Дневников Жана Кокто»).

Эта область, область ничто, область безмолвия безмолвии — и есть источник. Мы забываем, что все мы все время находимся там.

Деятельность должна пониматься с точки зрения переживания, из которого она возникает. Эти узоры, что таинственным образом воплощают математические истины, увиденные лишь немногими, — столь прекрасные, столь изящные, — неважно, что они суть бултыхания и трепыхания тонущего человека.

Мы существуем здесь вне всяких вопросов, за исключением вопросов бытия и небытия, перевоплощения, рождения, жизни и смерти.

Творение ex nihilo было объявлено невозможным даже для Бога. Но мы занимаемся

чудесами. Нам нужно услышать музыку гитар Брака (Лорка).

С точки зрения человека, отчужденного от своего истока, творение исходит из отчаяния и кончается провалом. Но такой человек не прошел весь путь до конца времени, до конца пространства, до конца тьмы и до конца света. Он не знает, что там, где все кончается, все и начинается.

II. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ'

За последние двадцать лет психотерапия значительно усложнилась как в теории, так и на практике. Но, однако, из-за всей этой чрезвычайной сложности, а порой и путаницы невозможно, как сказал Пастернак, «не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту».

В практике психотерапии само многообразие методов сделало более очевидной необходимость такой простоты.

Неизменными составляющими психотерапии являются психиатр, пациент, а также постоянные и определенные время и место. Но даже при этом двум людям встретиться не так легко. Мы все живем надеждой, что подлинная встреча между человеческими существами все еще может произойти. Психотерапия состоит в выкидывании прочь всего того, что стоит между нами: бутафории, масок, ролей, лжи, защит, тревог, проекций и интроекций — короче, всех пережитков пропитого, которые мы используем по привычке и тайком, умышленно или неумышленно, в качестве денежных знаков при взаимоотношениях. Именно эти деньги, эти самые средства воссоздают и усиливают условия отчуждения, что первоначально послужили им причиной.

Психоанализ внес существенный вклад, пролив свет на такие пережитки и вынужденные повторения. Сейчас среди психоаналитиков и психиатров наметилась тенденция сосредоточения не только на переносе, не только на том, что произошло прежде, но и на том, чего прежде никогда не происходило, на новом. Таким образом, на практике использование толкований для раскрытия прошлого или даже прошлого-в-настоящем может применяться лишь в качестве одной из тактик, а в теории предпринимаются

*С точки зрения психиатра.

попытки более глубокого понимания и нахождения терминологии для непереносных элементов в психиатрии.

Психиатр может позволить себе действовать спонтанно и непредсказуемо. Он может активно раскрываться, чтобы разрушить старые модели переживания и поведения. Он может активно усиливать и укреплять новые модели. Теперь можно услышать о психиатрах, приказывающих, смеющихся, орущих, плачущих, даже встающих со своего священного стула. Все возрастающее влияние со своим акцентом на озарение, достигаемое посредством внезапного и неожиданного, оказывает дзэн. Конечно же, подобные методы в руках человека, не испытывающего неослабное внимание и уважение к пациенту, могли бы оказаться пагубными. Хотя некоторые общие принципы этих усовершенствований можно сформулировать, на практике они по-прежнему предназначены — а на самом деле так всегда и должно быть — для человека, который обладает как совершенно исключительной властью, так и способностью к импровизации.

Я не стану перечислять все это многообразие практической психотерапии. Я лучше рассмотрю более подробно критическую функцию теории.

Эти линии роста, что, похоже, распространяются эксцентрично во всех направлениях, увеличивают потребность в сильной, твердой исходной теории, которая сможет связать любую практику и теорию с основными предметами всех форм психотерапии. В предыдущей главе я набросал основополагающие требования, предъявляемые к подобной теории, а именно: нам нужны понятия, показывающие как взаимодействие, так и взаимное переживание двух личностей и помогающие нам понять связь между собственным переживанием личности и ее поведением в контексте взаимоотношений между ними. И мы

должны, в свою очередь, стать способны постичь это взаимоотношение в контексте соответствующих социальных систем. Более фундаментально критическая теория должна быть способна поместить все теории и практики в кругозор общего видения онтологической структуры человека.

Чем нам могут помочь господствующие теории психотерапии? Здесь было бы заблуждением чересчур четко отделять одну школу от другой. Внутри основного потока ортодоксального психоанализа и даже между различными теориями объектных взаимоотношений в Великобритании (Фэрберн, Уинникотт, Меланья Клейн, Бион) существуют различия лишь на уровне упора на что-то. Сходное положение внутри экзистенциальной школы, или традиции, — Бинсвангер, Босс, Карузо, Франкль. Можно обнаружить, что каждая теоретическая идиома играет некоторую роль в мышлении по крайней мере нескольких учеников любой школы. В худшем случае существуют из ряда вон выходящие теоретические смеси из теории обучения, этологии, теории систем, анализа общения, теории информации, анализа взаимодействия, межличностных взаимоотношений, объектных отношений, теории игр и т. п.

Развитие Фрейдом метапсихологии изменило теоретический контекст, в котором мы теперь работаем. Для сочувственного понимания положительной ценности мета-психологии нам придется рассмотреть интеллектуальный климат, в котором она возникла. Многими авторами уже отмечалось, что она позаимствовала свою движущую силу у попытки рассмотрения человека как объекта естественно-научных исследований и, таким образом, добилась признания психоанализом в качестве серьезной и достойной уважения затеи. Не думаю, что сейчас необходим подобный щит; да и прежде — тоже. А за то, что мыслишь с метапсихологической точки зрения, платишь очень высокую цену.

Метапсихология Фрейда, Федерна, Рапапорта, Гартмана и Криса не имеет представлений о какой бы то ни было социальной системе, порожденной более чем одной личностью в данный момент. Внутри ее рамок нет понятия социального переживания коллектива, разделяемого или не разделяемого личностями. У такой теории нет категории «ты», которая существует в трудах Фейербаха, Бубера и Парсонса. Нет способа выразить встречу «Я» с «другим» и влияние одной личности на другую. У нее нет понятия «меня», за исключением объективированного это. Это является одной из частей ментального аппарата. Внутренние объекты суть другие части этой системы. Еще одно эго есть часть некоей отличающейся части этой системы или структуры. Как два ментальных аппарата или психические структуры или системы, каждая с собственной констелляцией внутренних объектов, могут связываться друг с другом, оставаясь неисследованными? Внутри построений, предлагаемых теорией, такая возможность кажется непостижимой. Проекция и интроекция сами по себе не перекроют пропасть между личностями.

Сегодня лишь немногие понимают центральные вопросы сознания и бессознательного как они понимались ранним психоанализом — как две овеществленные системы, каждая из которых отколота от цельной личности и составлена из своего рода психического вещества; обе они исключительно внутри- личностны.

В теории же и на практике центральным является отношение между личностями. Личности связаны друг с другом посредством их переживания и посредством их поведения. Теории можно рассматривать с точки зрения упора, который они делают на переживание или на поведение, и с точки зрения их способности вычленить взаимоотношение между переживанием и поведением.

Различные школы психоанализа и глубинная психология по крайней мере признавали существенную значимость переживания каждого человека по отношению к его поведению. но они оставили непроясненным вопрос, что есть переживание, и это, в частности, становится очевидно при рассмотрении «бессознательного».

Некоторые теории занимаются скорее взаимодействием людей без ссылок на переживание деятелей. Точно так же как любая теория, сосредотачивающаяся на переживании и пренебрегающая поведением, может стать весьма ошибочной, так и теории,

сосредотачивающиеся на поведении и пренебрегающие переживанием, становятся неуравновешенными.

Согласно теории игр, люди обладают набором игр, основанных на конкретных наборах известных взаимодействий. Другие могут играть в игры, которые достаточно запутанны, чтобы позволить разыгрывание более или менее стереотипных драм. У игр есть свои правила, своя публика и свои тайны. Некоторые люди играют, нарушая правила, по которым играют другие. Некоторые играют в необъявленные игры, делая ходы, которые может расценить как задумчивые или откровенные лишь знаток подобных тайных и необычных игр. Подобным людям — предполагаемым невротикам или психотикам, — возможно, необходимо подвергнуться церемонии психиатрической консультации, приводящей к диагнозу, прогнозам и рецептам. Лечение будет состоять в указании им на то, что природа их игр весьма неудовлетворительна, и их, вероятно, обучат новым играм. Личность реагирует отчаянием скорее на потерю игры, нежели на чисто «объективную потерю», то есть на потерю соучастника или соучастников в качестве реальных личностей. Важно лишь продолжение игры, а не сохранение личности играющих.

Одним из преимуществ такого подхода является то, что он связывает людей вместе. Неумение увидеть поведение одной личности в связи с поведением другой привело к большой путанице. В последовательности взаимодействия между р и о (личностью и объектом): pi -01 — p2 — 02 — рз — 03 и т. д., вклад р (pi, p2, рз) изъят из контекста и прямо связан как pi — p2 — рз. Потом такая искусственным образом полученная последовательность изучается в качестве изолированной сущности или процесса и могут быть предприняты попытки «объяснить» ее (найти «этиологию») с точки зрения генетическо-конституциональных факторов или внутрипсихической патологии.

Теория объектных отношений, как заявил Гантрип, пытается достичь синтеза между внутри- и межличностным. Понятия внутренних и внешних объектов и закрытых и открытых систем имеют некоторый смысл. Однако по-прежнему рассматриваются объекты, а не личности. В переживании к объектам применим вопрос «что?», а не «как?». Сам мозг есть объект переживания. Нам по-прежнему необходима феноменология переживания, включая так называемое бессознательное переживание, — переживания, связанного с поведением личности, связанной с личностью, без расщеплений, отрицаний, деперсонализации и овеществлений — всех бесплодных попыток объяснить целое за счет части.

Системы и игры могут иметь место, и в них можно играть в электронных системах, или в них могут играть электронные системы. Что является специфически личностным или человеческим? В личностных взаимоотношениях присутствует не только взаимодействие, но взаимопереживание, и именно в этом состоит их специфически человеческое свойство. Одному взаимодействию без переживания недостает специфически личностного смысла. Взаимодействуют эндокринная и ретикулоэндотелиальная системы. Они не являются личностями. Большая опасность в осмыслении человека посредством аналогии заключается в том, что аналогия начинает выставляться в качестве гомологии.

Почему почти все теории деперсонализации, овеществления, расщепления и отрицания стремятся показать симптомы, которые они пытаются описать? Мы оставлены с взаимодействием, но где же индивидуум? С индивидуумом, но где же другой? С моделями поведения, но где же переживание? С информацией и сообщением, но где же чувство и сострадание, страсть и сочувствие?

Бихевиористская терапия представляет собой самый предельный пример такой шизоидной теории и практики — она предлагает думать и действовать исключительно с точки зрения другого без ссылок на «я» психиатра или пациента, с точки зрения поведения без переживания, с точки зрения скорее объектов, чем личностей. Поэтому она неизбежно становится методикой не-встречи, методикой манипулирования и контроля.

Психотерапия должна оставаться постоянной попыткой двух людей восстановить полноту человеческого бытия путем взаимоотношения между ними.

Любая методика, занимающаяся другим без «я», поведением при исключении

переживания, взаимоотношениями при пренебрежении личностями в их связи, индивидуумами при исключении их взаимоотношения и более всего объектом-который-нужно-изменить, а не личностью-которую-нужно-принять, просто увековечивает болезнь, которую она должна лечить.

И любая теория, не основанная на природе человеческого бытия, есть ложь и предательство человека. Бесчеловечная теория неизбежно приведет к бесчеловечным результатам — если психиатр последователен. К счастью, многие психиатры обладают даром непоследовательности. Однако такую ситуацию нельзя считать идеальной.

Нас не интересует взаимодействие двух объектов или их действия в диадной системе, нас не интересуют модели общения внутри системы, состоящей из двух компьютеро-образных подсистем, принимающих и обрабатывающих вводимую информацию и выдающих сигналы. Нас интересуют два источника переживания в их связи.

Поведение может скрывать или раскрывать переживание. Я посвятил свою книгу «Расколотое „я“» описанию некоторых вариантов расщепления между переживанием и поведением. Но и переживание, и поведение сами по себе расчленены мириадом различных способов. Дело обстоит так даже тогда, когда предприняты грандиозные усилия по наложению на трещины слоя логичности.

Я полагаю, что причина такого замешательства кроется в смысле фразы Хайдеггера: «Ужасное уже произошло».

Психотерапевты — это специалисты по человеческим отношениям. Но ужасное уже произошло. Оно произошло со всеми нами. Психиатры тоже находятся в мире, в котором внутреннее уже отколото от внешнего. Внешнее не становится внутренним, а внутреннее — внешним лишь посредством переоткрытия «внутреннего» мира. Это только начало. В качестве целого поколения людей мы настолько отчуждены от внутреннего мира, что существует убеждение, что его нет; а если он даже и есть, то он несущественен. Даже если он имеет какое-то значение, он не является неопровержимым материалом для науки, а если так, давайте сделаем его неопровержимым. Давайте измерим и сосчитаем. Определим количественно душевную боль и восторг в некоем мире, в котором, когда внутрений мир будет впервые открыт, мы, вероятно, обнаружим себя брошенными и покинутыми. Ибо без внутреннего внешнее теряет свой смысл, а без внешнего внутреннее теряет свою сущность.

Нам необходимо узнать об отношениях и общении. Но эти запутанные и запутывающие модели общения отражают беспорядок личностного мира переживания, на подавлении, отрицании, расщеплении, интроекции, проекции и т. п. — на общем осквернении и опошлении которого основана наша цивилизация.

Когда наши личностные миры переоткрыты и им позволено вновь утвердить самих себя, мы впервые обнаруживаем эту бойню. Тела полумертвы, гениталии отделены от сердца, сердце оторвано от головы, голова отделена от гениталий. Без внутреннего единства, а лишь с достаточным ощущением непрерывности, чтобы ухватить индивидуальность, — расхожее идолопоклонство. Разорванные — тело, разум и дух — внутренними противоречиями, разбросанные в разных направлениях. Человек отрезан от своего собственного разума, а равным образом отрезан от своего собственного тела — полубезумное существо в сумасшедшем мире.

Когда Ужасное уже произошло, мы едва ли можем ожидать чего-либо иного, кроме того, что Нечто, как эхо, ответит внешним разрушением на разрушение, которое уже свершилось внутри.

Мы все втянуты в это отчужденное положение вещей. Этот контекст является решающим для всей практики психотерапии.

Поэтому психотерапевтические взаимоотношения есть изыскание. Поиск — постоянно подтверждаемый и обосновываемый заново — того, что мы все потеряли, и некоторым это дается лучше других, вроде того, как некоторые люди легче выносят недостаток кислорода, и это изыскание обосновано разделенным с другими переживанием переживания, вновь обретенного посредством терапевтического взаимоотношения здесь и сейчас.

Верно, что в психиатрии существуют порядки, даже институционные структуры, охватывающие последовательность, ритм и темп терапевтической ситуации, рассматриваемой как процесс, и они могут и должны быть изучены с научной объективностью. Но действительно решающие моменты в психиатрии, как знает каждый пациент и врач, когда-либо их переживавший, непредсказуемы, уникальны, незабываемы, всегда неповторимы и зачастую неописуемы. Значит ли это, что психотерапия должна стать псевдоэзотерическим культом? Нет.

Мы должны продолжать борьбу с нашим смятением и настаивать на бытии человеком.

Экзистенция есть пламя, постоянно плавящее и изменяющее наши теории. Экзистенциональное мышление не предлагает ни безопасности, ни дома для бездомных. Обращается оно только к вам и ко мне. Оно находит свое обоснование тогда, когда, несмотря на поток наших средств и стилей, наших ошибок, заблуждений и извращений, мы найдем в сообщении другого переживание взаимоотношения, которое установлено, потеряно, разрушено и вновь обретено. Мы надеемся разделить переживание взаимоотношения, но единственным честным началом — и даже концом — может стать взаимное переживание его отсутствия.

III. МИСТИФИКАЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Недостаточно разрушить свое переживание и переживание другого. Нужно покрыть это опустошение ложным сознанием, служащим, по выражению Маркузе, своей собственной ложности.

Эксплуатация не должна быть видна как таковая. Она должна рассматриваться как благотворительность. Преследование предпочтительно не должно обосновываться как черта параноидального воображения, оно должно переживаться как доброта. Маркс описал мистификацию и показал ее функции в его время. Время Оруэлла уже с нами. Колонисты не только мистифицируют местных жителей, им приходится мистифицировать и себя. Мы в Европе и Северной Америке — колонисты. И для того чтобы поддержать наши восхитительные образы самих себя как Божьего дара подавляющему большинству умирающих от голода человеческих особей, нам приходится интериоризировать наше насилие в самих себя и в наших детей и применять для описания этого процесса моралистическую риторику.

Для того чтобы рационально воспринимать военно-промышленный комплекс, нам приходится разрушать наши способности как ясного видения того, что перед нами, так и представления о том, что позади. Задолго до возможного начала термоядерной войны нам пришлось опустошить нашу психику. Мы начинаем с детей. Обязательно поймать их вовремя. Без весьма тщательного и быстрого промывания мозгов их грязные головки могли бы разгадать наши грязные фокусы. Дети еще не дураки, но мы превратим их в слабоумных вроде нас с как можно более высоким коэффициентом интеллекта.

С мгновения рождения, когда ребенок каменного века сталкивается с матерью двадцатого века, он подвергается этому насилию, называемому любовью, — как до него подвергались его отец и мать, а до них их родители и родители их родителей. Это насилие в основном направлено на разрушение его потенциальных возможностей. Это предприятие в целом успешно. Ко времени, когда новому человеческому существу исполняется пятнадцать лет, оно уже похоже на нас. Полубезумное существо, более или менее приспособленное к сумасшедшему миру. В наш век это норма.

Любовь и насилие, строго говоря, являются полярными противоположностями. Любовь позволяет другому быть — с нежностью и заботой. Насилие пытается ограничить свободу другого, принудить его действовать так, как хотим мы, — с крайним недостатком заботы, с безразличием к судьбе другого.

Мы действенно разрушаем самих себя насилием, скрывающимся под маской любви.

Я — специалист, да поможет мне Бог, по случаям во внутреннем пространстве и

времени, по переживаниям, называемым мыслями, образами, грезами, воспоминаниями, снами, видениями, галлюцинациями, снами воспоминаний, воспоминаниями снов, воспоминаниями видений, снами галлюцинаций, преломлениями преломлений преломлений тех изначальных альфы и омеги переживания и действительности, той Реальности, на подавлении, отрицании, расщеплении, проекции, фальсификации, общем осквернении и опошлении которой основана наша цивилизация.

Мы выжили в равной степени как из ума, так и из тела.

Занимаясь внутренним миром, наблюдая изо дня в день его опустошение, я спрашиваю, почему это произошло.

Одна сторона ответа, предложенная в главе I, заключается в том, что мы можем действовать на основе нашего переживания самих себя, других и мира так же, как и предпринимать действия посредством поведения самого по себе. Такое опустошение в основном представляет собой работу насилия, которое воздействовало на каждого из нас, а посредством каждого из нас на нас самих. Обычно такое насилие известно под именем любви.

Мы действуем на основе нашего переживания по повелению других, словно мы учимся поведению в угоду им. Нас учат тому, что переживать и чего не переживать, так же как и тому, какие движения совершать, какие звуки испускать. Двухлетний ребенок уже способен на нравственные движения, нравственные беседы, нравственные переживания. Он уже «правильно» двигается, испускает «правильные» звуки и знает, что обязан чувствовать, а что не обязан. Его движения стали стереометрическими типами, по которым специалист по антропологии сможет определить его национальные и даже региональные черты. Так же как он обучен лишь определенным движениям из целого набора возможных движений, он обучен переживать лишь что-то из целого набора возможных переживаний. Большая часть современных социальных наук углубляет эту мистификацию. Насилие нельзя рассматривать с позитивистской точки зрения.

Женщина запихивает пищу в горло гусю с помощью воронки. Не образец ли это жестокости по отношению к животному? Она же отвергает любую мотивацию жестокости. Если мы опишем эту сцену «объективно», мы просто лишим ее того, что «объективно» или, лучше сказать, онтологически представлено в этой ситуации. Каждое описание предполагает наши онтологические предпосылки в отношении природы (бытия) человека, животных и взаимоотношений между ними.

Если животное низведено до уровня фабричной продукции, своего рода биохимического комплекса — так что его плоть и органы являются просто материалом, имеющим определенное качество (мягкий, нежный, грубый), вкус, вероятно, запах, — то описать животное позитивно с той точки зрения — значит низвести себя, низводя его. Позитивное описание не «нейтрально» и не «объективно». В случае гуся-как-материала-для-паштета можно дать лишь негативное описание, если описание должно поддерживаться обоснованной онтологией. То есть описание движется в свете того, низведением чего, осквернением чего, доведением до звероподобного состояния чего эта деятельность является, а именно истинной природы человека и животного.

Описание должно даваться в свете того факта, что человеческие существа стали настолько озверевшими, опошленными, сведенными на нет, что они даже не знают о своем низведении. Это не должно накладывать на «нейтральное» описание определенных ценностных суждений, потерявших любые критерии «объективной» обоснованности, то есть обоснованности, которую каждый чувствует необходимость принять всерьез. «Субъективно» все дозволено. Политические идеологии, с другой стороны, пестрят ценностными суждениями, не признаваемыми в качестве таковых, не имеющими никакой онтологической обоснованности. Педанты учат молодежь, что на такие вопросы о ценности нет ответа, или их не проверить, или не верифицировать, или что это вообще не вопросы, или что нам нужны метавопросы. Между тем Вьетнам продолжается.

Под знаком отчуждения каждая отдельная сторона человеческой реальности

подвержена фальсификации, а позитивное описание может лишь увековечить отчуждение, которое оно само не может описать, и преуспевает лишь в дальнейшем его углублении, потому что еще больше его скрывает и маскирует.

Значит, мы должны отказаться от позитивизма, который достигает своей «достоверности» путем успешной маскировки того, что есть, и того, чего нет, упорядочения мира наблюдателя посредством превращения истинно данного во взятое, принятое в качестве данных, обирания мира бытия и изгнания тени бытия в призрачную страну «субъективных» ценностей.

•Теоретические и описательные средства большинства исследований в социальных науках приспосабливаются к состоянию явной «объективной» нейтральности. Но мы увидели, насколько это может быть обманчивым. Выбор синтаксиса и словаря — политические поступки, определяющие и ограничивающие способ, которым будут переживаться «факты». Действительно, в некотором смысле они идут дальше и даже создают изучаемые факты.

В исследовании «данные» не столько даны, сколько взяты из постоянно ускользающей матрицы событий. Количественно взаимозаменяемое зерно, сыплющееся в жернова исследований достоверности, есть выражение процесса, которым мы воздействуем «на» реальность, а не выражение процессов «в» реальности.

Естественно-научные исследования ведутся над объектами, или вещами, или моделями отношений между вещами, или над системами «событий». Личности отличаются от вещей тем, что первые переживают мир, а последние лишь как-то ведут себя в мире. Вещные события не переживаются. Личностные события переживаются. Сциентизм — это ошибка, заключающаяся в превращении личностей в вещи посредством процесса овеществления, не являющегося самим по себе частью истинного естественно-научного метода. Результаты, полученные таким образом, должны быть переоценены и переконкретизированы прежде, чем они смогут, быть вновь приняты в область человеческого размышления.

Фундаментальная ошибка состоит в неумении осознать, что существует онтологическая разрывность между бытием человека и бытием вен(r).

Человеческие существа связаны друг с другом не просто внешне, как два бильярдных шара, но отношениями двух миров переживания, которые вступают во взаимодействие при встрече двух людей.

Если человеческие существа изучаются не как человеческие существа, то опять-таки имеет место насилие и мистификация.

В большинстве современных трудов по вопросам индивидуума и семьи существует предположение, что есть некое не-слишком-неудачное слияние, чтобы не сказать предустановленная гармония, природы и воспитания. Возможно, нужна некоторая подгонка с обеих сторон, но все вместе работает на благо тем, кому нужна лишь безопасность, уверенность и тождественность.

Исчезло любое ощущение возможной трагедии, страсти. Исчез любой язык радости, восторга, страсти, пола, насилия. Есть лишь язык канцелярии. Нет больше «диких сцен», а есть лишь родительский союз; нет больше подавления сексуальной привязанности к родителям, но ребенок «отменяет» свои Эдиповы желания. Например:

«Мать может должным образом вложить свои силы в воспитание ребенка в случае, когда экономическая поддержка, положение и защита семьи обеспечиваются отцом. Она также может лучше ограничить свое обожание ребенка материнскими чувствами, когда ее женские потребности удовлетворяются мужем» [32].

Здесь нет грязного разговора о половых связях и «диких сценах». Удачно применена экономическая метафора. Мать «вкладывает» в своего ребенка. Более откровенна функция мужа. Обеспечение экономической базы, положение и защита — именно в таком порядке.

Часты ссылки на безопасность, на уважение других. Предполагается, что человек живет ради «получения удовольствия от уважения и любви других». Если же нет, то он — психопат.

Такие утверждения в некотором смысле истинны. Они описывают напуганное, задерганное, жалкое существо, каким нам советуют быть, если мы собираемся быть нормальными — предлагая друг другу взаимную защиту от нашего собственного насилия. Семья в качестве «защищающей мафии».

За такой лексикой маячит ужас, находящийся за всем этим взаимным мытьем рук, этими даваниями и получениями уважения, положения, поддержки, защиты и безопасности. Сквозь его изысканную вежливость по-прежнему проглядывают трещины.

В нашем мире мы — «жертвы, горящие у столба, кричащие сквозь пламя», но для Лидза и прочих все проходит очень изысканно. «Современная жизнь требует приспособляемости». Мы также требуем «использовать разум», и мы требуем «эмоционального равновесия, позволяющего личности быть податливой, приспособиться к другим без страха потери индивидуальности при переменах. Это требует основополагающего доверия по отношению к другим и веры в целостность „я“»[32].

Порой проскакивают более честные высказывания, например: «Что касается скорее общества, а не индивидуума, то каждое общество имеет насущный интерес во внушении идей детям, которые образуют его новых членов».

Возможно, то, что говорят эти авторы, написано с иронией, но доказательств этому нет.

Приспособление к чему? К обществу? К миру, сошедшему с ума?

Функции Семьи — подавление Эроса: вызвать ложное сознание безопасности; отвергнуть смерть, избегнув жизни;

отсечь трансцендентное; верить в Бога, но не переживать Пустоту; короче, творить одномерного человека; развить порядочность, единообразие, послушание; вывести детей из игры; навязать страх неудачи; развить уважение к труду;

приучить к порядку «порядочности».

Позвольте представить здесь два альтернативных взгляда на семью и приспособление человека.

«Люди становятся не тем, чем они должны стать по своей природе, но тем, что из них делает общество… Благородные чувства… так сказать, сжаты, иссушены, насильственно искажены и удалены для того, чтобы их не было при нашем общении с миром, — нечто, напоминающее то, как нищие калечат и увечат своих детей, чтобы сделать их подходящими для будущего положения в жизни» [II].

«Фактически мир по-прежнему кажется населенным первобытными людьми, достаточно глупыми, чтобы видеть перевоплощенных предков в своих только что родившихся детях. Оружием и украшениями, принадлежащими мертвецу, размахивают перед носом у младенца; если он делает какое-то движение, раздается громкий крик — дедушка вернулся к жизни. Этот „старик“ будет кормиться грудью, гадить на свою пеленку и носить имя предка; оставшиеся в живых из поколения его предков порадуются, видя своего товарища по битвам и охоте размахивающим своими крошечными ручками и ножками; как только он начнет говорить, они внушат ему воспоминания покойного. Суровое обучение „восстановит“ его бывший характер, они напомнят ему, что „он“ был безжалостным, жестоким или великодушным, и он будет убежден в этом, несмотря на любые переживания противоположного. Какое варварство! Взять живого ребенка и зашить его в кожу мертвеца — он станет задыхаться в таком старческом детстве без какого-либо иного занятия, кроме воспроизведения жестов пращура, без какой-либо надежды, кроме надежды отравить будущие детства после своей собственной смерти. Неудивительно, что после этого он говорит о себе с великими предосторожностями, вполголоса, часто в третьем лице: это жалкое существо хорошо знает, что он — это его собственный дедушка.

Таких отсталых аборигенов можно найти на островах Фиджи, на Таити, в Новой Гвинее, в Вене, в Париже, в Риме, в Нью-Йорке — повсюду, где есть люди. Их называют родителями. Задолго до нашего рождения, даже до того, как мы зачаты, наши родители решили, кем мы будем»

[38].

Иногда встречается точка зрения, что наука нейтральна и что все это — вопрос ценностных суждений.

Лидз называет шизофрению неудачей при приспособлении человека. В таком случае это тоже ценностное суждение. Или кто-нибудь скажет, что это объективный факт? Очень хорошо, давайте называть шизофренией удачную попытку не приспосабливаться к псевдосоциальной реальности. Является ли это также объективным фактом? Шизофрения есть неудача в функционировании эго. Это нейтральное определение? Но что такое или кто такой это эго? Дня того чтобы вернуться к тому, что есть эго, к тому, с чем наиболее связана реальность, мы должны его десегрегировать, де-деперсонализировать, деэкстраполиро-вать, деабстрагировать, деобъективироватъ, деконкретизиро-вать, и мы возвращаемся к вам и ко мне, к нашим частным способам и стилям взаимоотношений друг с другом в социальном контексте. Эго, по определению, есть орудие приспособления, так что мы возвращаемся ко всем вопросам, которые явный нейтрализм считает решенными. Шизофрения есть удачное избегание приспособления эго? Шизофрения — ярлык, наклеиваемый одними людьми на других в ситуациях, где происходит межличностное разъединение определенного рода.

Семья в первую очередь является обычным орудием того, что мы называем социализацией, то есть достижения того, что каждый новый член человеческого рода ведет себя и переживает, по существу, так же, как и те, кто ими уже является. Все мы — падшие Сыны Пророчества, которые научились умирать в Духе и возрождаться во плоти.

Это также известно как продажа первородства за миску похлебки.

Вот несколько примеров из исследования американского профессора антропологии и социологии Жюля Генри американской школьной системы [22]:

«Наблюдательница входит в пятый класс.

Учительница говорит: „Кто из вежливых и воспитанных мальчиков хотел бы принять пальто (наблюдательницы) и повесить его на вешалку?“ По поднятым рукам видно, что все хотели бы иметь такую честь. Учительница выбирает одного ребенка, который принимает пальто у наблюдательницы… Учительница ведет урок арифметики, в основном спрашивая: „Кто бы хотел дать ответ следующей задачи?“ За этим вопросом следует обычный лес рук при явном соперничестве между учениками.

Нас поражает здесь точность, с которой учительница была способна мобилизовать потенциальные возможности мальчиков для принятого в обществе поведения, и скорость, с которой они на это реагировали. Большое число поднятых рук показывает, что большинство мальчиков уже стали вести себя абсурдно, но у них нет выбора. Предположите, что бы произошло, если б они сидели, замерев на месте?

Опытный учитель создает множество ситуаций таким образом, что негативная позиция может рассматриваться только как измена. Функция вопросов наподобие таких, как „Кто из вежливых и воспитанных мальчиков хотел бы принять пальто (наблюдательницы)?“, означает введение детей во мрак абсурда, вынуждение их признать, что абсурдность есть существование, признание, что лучше существовать абсурдным, чем вообще не существовать. Читатель может видеть, что вопрос ставится не „У кого есть ответ на задачу?“, но „Кто хотел бы дать ответ?“ То, что в нашей культуре в одно время выражается как проверка арифметических способностей, становится приглашением к участию в группе. Суть в том, что нет ничего, что бы не было создано алхимией системы.

В обществе, где соперничество за основные продукты культуры есть стержень любого действия, люди не могут быть научены любить друг друга. Таким образом, становится необходимым учить детей в школе тому, как ненавидеть, не показывая, что это происходит, ибо наша культура не вынесет мысли, что дети должны ненавидеть друг друга. Как школа добивается подобной двойственности?»

Вот еще один пример, приведенный Генри:

«Борис не мог сократить дробь 12/16 и дошел лишь до 6/8. Учительница спокойно спросила его, может ли он сократить ее еще. Она предложила ему „подумать“. Весь класс прыгает и машет руками, неистово стремясь его поправить. Борис совершенно несчастный,

вероятно умственно парализованный. Учительница спокойно, терпеливо не обращает внимания на других и сосредотачивается на Борисе. Через пару минут она поворачивается к классу и говорит: „Ну, кто может сказать Борису ответ?“ Появляется лес рук, и учительница вызывает Пегги. Пегги говорит, что общий делитель — четыре».

Генри комментирует:

«Неудача Бориса дает возможность Пегги преуспеть; его беда — повод для ее радости. Это общепринятое положение в современных американских начальных школах. Для индейцев зуни, хопи или дакота выступление Пегги показалось бы невероятно жестоким, ибо соперничество, достижение успеха благодаря чьей-то неудаче есть форма пытки, чуждой этим культурам.

Если рассмотреть это с точки зрения Бориса, кошмар у доски был, вероятно, уроком по самообладанию — не выбежать с криком из класса под ужасным общественным давлением. Такие переживания вынуждают каждого человека, воспитанного в нашей культуре, снова и снова, из ночи в ночь, даже на вершине успеха, видеть сны не об успехе, а о неудаче. В школе внешний кошмар интернализирован. Борис научился не только арифметике — он научился необходимости кошмара. Чтобы преуспеть в нашей культуре, нужно научиться видеть сны о неудаче».

Генри заявляет, что на практике образование всегда было орудием не освобождения человеческого разума и духа, но их связывания. Мы думаем, что нам нужны творческие дети, но что мы хотим, чтобы они творили?

«Если бы в течение всех лет в школе детей вынуждали ставить под вопрос десять заповедей, святость религии откровения, основы патриотизма, мотив выгоды, двухпартийную систему, законы о кровосмешении и тому подобное…» было бы такое творчество, что общество не знало бы, куда деваться.

Дети не отказываются с легкостью от врожденного воображения, любопытства и мечтательности. Вам приходится их любить для того, чтобы заставить их это сделать. Любовь — путь через вседозволенность к дисциплине, а через дисциплину, слишком часто — к отказу от «я».

Школа должна вызвать у детей желание думать так, как школа желает, чтобы они думали. «Мы видим, — говорит Генри об американских детских садах и начальных школах, — душераздирающую капитуляцию детей».

В мире самое трудное — увидеть подобные вещи в своей собственной культуре.

В одном классе в Лондоне девочки (средний возраст десять лет) участвовали в соревновании. Они должны были испечь пирожные, которые оценивали мальчики. Победила одна девочка. Тогда ее «друг» раскрыл, что она купила пирожное вместо того, чтобы испечь его самой. Она была опозорена перед всем классом.

Комментарии:

1) школа в данному случае принуждает детей играть связанные с сексом роли особого рода;

2) лично я нахожу постыдным, что девочек учат тому, что их положение зависит от вкусовых ощущений, которые они могут вызвать во рту мальчиков;

3) этические ценности приведены в действие в ситуации, которая в лучшем случае является анекдотом. Если ребенок втянут взрослыми в такую игру, все, что он может сделать, это играть, стараясь не попадаться. Я восхищен девочкой, которая победила, и надеюсь, что она будет выбирать себе друзей более тщательно.

Двойное действие по разрушению самих себя, с одной стороны, и называнию этого любовью, с другой, представляет собой ловкость рук, которой можно подивиться. Человеческие чувства, по-видимому, обладают почти безграничной способностью обманывать самих себя — и обманывать самих себя, принимая собственную ложь за истину. Посредством такой мистификации мы достигаем приспособления и социализации. Потеряв в одно и то же время свои «я» и добившись иллюзии, что мы суть автономные эго, мы, видимо, уступаем посредством внутреннего согласия внешнему принуждению почти до

невероятной степени.

Мы не живем в мире недвусмысленных тождеств и определений, потребностей и страхов, надежд и разочарований. Ужасные социальные реальности нашего времени — это призраки, привидения убитых богов и нашей собственной человеческой природы, возвратившиеся, чтобы преследовать и уничтожать нас. Негры, евреи, «красные». Они. Только вы и я одеты по-другому. Фактура ткани таких общественных галлюцинаций — это то, что мы называем реальностью, а наше условное безумие — то, что мы называем душевным здоровьем.

Нельзя предполагать, что это безумие существует лишь где-то в ночном или дневном небе, где в стратосфере парят наши птицы смерти. Оно существует в наши самые личные мгновения.

Нас всех обработали на прокрустовом ложе. По крайней мере, некоторые из нас сумели возненавидеть то, что из нас сделали. Неизбежно мы видим другого как отражение случая разделения нашего собственного «я».

Другие помещены в наши сердца, и мы называем их самими собой. Каждый человек, будучи самим собой по отношению или к себе, или к другому — так же как и другой, — это не он сам по отношению к себе и к нам:

будучи иным для иного, не узнает ни себя в другом, ни другого в себе. Следовательно, имеет место по крайней мере двойное отсутствие, одержимое призраком собственного убитого «я». Неудивительно, что современный человек привязан к другим личностям, и чем более привязан, тем менее удовлетворен, тем более одинок.

Еще один виток спирали, еще один цикл в порочном круге, еще один поворот турникета. Ибо сейчас любовь становится дополнительным отчуждением, дополнительным актом насилия. Моя нужда — это нужда быть нужным, моя тоска — тоска, чтобы по мне тосковали. Я действую сейчас для того, чтобы поместить то, что я принимаю за самого себя, в то, что я принимаю за сердце другого. Марсель Пруст писал:

«Откуда у нас смелость, желание жить, как мы можем совершить движение, спасающее нас от смерти в мире, где любовь побуждается ложью и заключается единственно в необходимости утоления наших страданий тем, что заставило нас страдать?»

Но нас никто не заставляет страдать. Насилие, которое. мы совершаем и которому подверглись, обвинения, примирения, восторги и муки любви основаны на социально обусловленной иллюзии, что две действительные личности находятся во взаимосвязи. При некоторых обстоятельствах это опасное состояние галлюцинации и мании, мешанины фантазий, разбитых сердец, возмещения и возмездия.

Однако при всем этом я не отбрасываю случаев, когда любящие могут открыть друг друга, мгновений, когда происходит признание, когда ад превращается в Рай и нисходит на землю, когда это безумное увлечение становится радостью и праздником.

И по крайней мере, оно заставляет Детей Леса быть добрее друг к другу, выказывать некоторое сочувствие и сострадание, если остались хоть какие-нибудь чувства и страсти.

Но когда насилие маскируется под любовь, сразу же возникает расщепление на «я» и это, внутренее и внешнее, хорошее и плохое; все остальное-адский танец ложных дуальностей. Всегда признавалось, что если вы расщепляете Бытие посередине, если вы настаиваете на попытке ухватить это без того, если вы привязаны к хорошему без плохого, отрицая одно ради другого, случается так, что отдельный импульс зла, зла в двойном смысле слова, возвращается, чтобы завладеть добром и превратить его в самого себя.

Когда потеряно великое Дао, произрастают доброжелательность и праведность.

Когда появляются мудрость и прозорливость, существует великое лицемерие.

Когда отношения в семье не находятся более в согласии, у нас преданные дети и нежные родители.

Когда в народе — смятение и беспорядок, возникают патриоты.

Мы должны быть очень осторожны с нашей избирательной слепотой. Немцы учили детей рассматривать ее как их долг уничтожать евреев, обожать своего вождя, убивать и

умирать за Отечество. Большая часть моего собственного поколения не рассматривало и не рассматривает как явное безумие чувство, что лучше быть мертвым, чем «красным». Ни один из нас, признаю это, не потерял слишком много часов сна из-за угрозы мгновенного уничтожения человечества и нашей ответственности за такое положение вещей.

За последние пятьдесят лет мы — человеческие существа — убили своими собственными руками примерно сто миллионов своих сородичей. Все мы живем под постоянной угрозой своего полного уничтожения. Мы, по-видимому, ищем смерти и разрушения так же сильно, как жизни и счастья. Мы принуждены убивать и быть убитыми настолько же, насколько — жить и давать жизнь. Лишь ужасающим насилием над самими собой достигли мы нашей способности жить, относительно приспособившись к цивилизации, явно стремящейся к собственному разрушению. Вероятно, в какой-то степени мы можем поправить то, что нам было сделано, и то, что мы сделали самим себе. Вероятно, мужчины и женщины рождаются, чтобы любить друг друга просто и искренне, а не для этой пародии, которую мы называем любовью. Если мы сможем приостановить разрушение самих себя, мы сможем остановить разрушение других. Мы должны начать с признания и даже с принятия нашего насилия, а не со слепого разрушения им самих себя, и с помощью этого мы должны осознать, что так же глубоко боимся жить и любить, как и умирать.

IV. МЫ И ОНИ

Лишь тогда, когда что-то становится проблематичным, мы начинаем задавать вопросы. Несходство во взглядах пробуждает нас и заставляет увидеть собственную точку зрения по контрасту с другой личностью, которая ее не разделяет. Но мы сопротивляемся подобным конфронтациям. История всевозможных ересей дает больше свидетельств, чем склонность к разрыву общения (отказу от общения) с теми, кто придерживается иных догм или мнений: она дает доказательства нашей нетерпимости к иным фундаментальным структурам переживания. По-видимому, нам нужно разделять с другими общее значение человеческого существования, придавать вместе с другими общий смысл миру, устанавливать консенсус.

По-видимому, как только определенные фундаментальные структуры переживания начинают разделяться с другими, они переживаются в качестве объективных сущностей. Затем такие овеществленные проекции нашей собственной свободы интроепируются. К тому времени, когда социологи начинают изучать такие проецированно-интроепированные овеществления, те уже принимают обличье вещей. Онтологически они не являются вещами. Но они становятся псевдовещами. Таким образом, Дюркгейм был совершенно прав, делая упор на том, что коллективные представления начинают переживаться как вещи, внешние по отношению к кому-либо. Они приобретают мощь и черты отдельных автономных реальностей со своим собственным образом жизни. Социальная норма может накладывать на всех тягостные обязательства, хотя некоторые люди ощущают ее как свою собственную.

В данный момент истории мы все пойманы адом маниакальной пассивности. Мы обнаруживаем себя напуганными истреблением, которое будет взаимным, которого никто не хочет, которого все боятся, но которое может произойти с нами просто «потому, что» никто не знает, как его приостановить. Есть одна возможность делать это — нужно понять структуру такого отчуждения себя от нашего переживания, нашего переживания от наших деяний, а наших деяний от авторства человека. Все выполняют приказы. Откуда они исходят? Вечно из какого-то другого места. Неужели уже невозможно вывести нашу судьбу из этой адской и бесчеловечной фатальности?

Внутри этого наиболее порочного круга мы повинуемся им и защищаем сущности, которые существуют лишь постольку, поскольку мы продолжаем изобретать и увековечивать их. Каким онтологическим статусом обладают эти групповые сущности?

Место действия человека полно миражей, демонических псевдореальностей, поскольку все верят, что все остальные в них верят.

Как нам найти путь обратно к самим себе? Давайте начнем с попытки подумать об этом.

Мы действуем на основе не только нашего собственного переживания, но и того, что, по нашему мнению, переживают они, и как, по нашему мнению, они оценивают наше переживание, и так далее по логически головокружительной спирали до бесконечности*.

Наш язык лишь отчасти адекватно выражает такое положение дел. На уровне 1 два человека или две группы могут сходиться во взглядах или не сходиться. Они, так сказать, смотрят одними глазами. Они разделяют общую точку зрения. Но на уровне 2 они могут считать, а могут и не считать, что они сходятся во взглядах или не сходятся, и в обоих случаях они могут быть правы и не правы. В то время как уровень 1 относится к сходству или несходству, уровень 2 относится к понимаю или непониманию. Уровень 3 относится к осознаванию третьего уровня: что я думаю, вы думаете, я думаю? То есть с осознаванием или неумением осознать понимание или непонимание второго уровня на основе сходства или несходства первого уровня. Теоретически этим уровням нет конца.

*В другом месте я разработал схему попыток осмысления некоторых из этих вопросов. Она основывается на теориях большого числа мыслителей, в особенности Дюркгейма, Сартра, Гуссерля, Шульца, Мид и Дьюи. См. [31].

Для того чтобы более легко обращаться с этими запутанными ситуациями, можно использовать сокращения. Давайте обозначим сходство во взглядах С, а несходство НС. Давайте обозначим подимание П, а непонимание НП. Давайте обозначим осознавание О, а неумение осознать НО. Тогда «О П С П О» может означать, применительно к мужу и жене, что муж осознает, что жена понимает, что они сходятся во взглядах, а она осознает, что он это понимает.

Таким образом:

Муж
Жена
Муж
Жена
0
П
С
П
0

С другой стороны:

Муж
Жена
Муж
Жена
НО
НП
НС
НП
НО

будет означать: муж и жена не сходятся во взглядах, они не понимают друг друга и не осознают взаимного непонимания.

Существует множество разветвлений этой схемы, которые подробно рассматривались в другом месте [31].

Возможности трех уровней можно представить следующим образом*.

*Сопиолог Томас Шефф указал, что, в то время как эти клетки возможны эмпирически при отношениях двух личностей, две из них. могут оказаться нулевыми при условиях группы, а именно «О НП С» и «О НП НС».

Сходство

Осознавание
Неумение осознать
понимание
непонимание
понимание
непонимание
0 П С
0 НП С
НО П С
НО НП С
Несходство
0 П НС
0 НП НС
НО П НС
НО НП НС

Предположительно, для многих людей имеет большое различие, думают ли они, что сходятся во взглядах с большинством людей (второй уровень), или думают, что большинство людей считают их похожими на самих себя (третий уровень). Можно думать то, что думают все остальные, и считать, что находишься в меньшинстве. Можно думать то, что думают немногие, и предполагать, что находишься в большинстве. Можно ощущать, что Они ощущают тебя похожим на Них, тогда как ты на них не похож, и Они этого не ощущают. Можно сказать: «Я верю в это, но Они верят в то, так что извините, ничего не могу поделать».

Они

Сплетни и слухи существуют вечно и везде где-то в другом месте. Каждый человек является другим для других. Члены сети сплетен могут объединяться идеями, которые никто из них не признает лично. Каждый человек думает о том, что он думает, думает другой. Другой, в свою очередь, думает о том, что думает кто-то еще. Каждый человек не против иметь соседа-негра, но каждый ближний человека — против. Однако каждый человек есть ближний своего ближнего. То, что думают Они, убедительно одобряется. Это неоспоримо и неопровержимо. Группа, занимающаяся распространением сплетен, это набор других, каждый номер которого отрекается от самого себя.

Это вечно другие, и вечно где-то в другом месте, и каждый человек ощущает себя неспособным стать для Них значимым. У меня на самом деле нет возражений против того, что моя дочь выйдет замуж за гоя, но мы же, в конце концов, живем в еврейском районе. Подобная коллективная сила прямо пропорциональна созданию этой силы каждым человеком и его собственному бессилию.

Это видно очень отчетливо в следующей перевернутой ситуации Ромео и Джульетты.

У Джона и Мери была любовная связь, а когда она закончилась. Мери обнаружила, что беременна. Обе семьи об этом осведомлены. Мери не хочет выходить замуж за Джона. Джон не хочет жениться на Мери. Но Джон думает, что Мери хочет, чтобы он на ней женился, а Мери не хочет ранить чувства Джона, сказав ему, что не хочет выходить за него замуж, так как она думает, что он хочет на ней жениться и что он думает, что она хочет выйти за него замуж.

Однако две семьи благоразумно улаживают неразбериху. Мать Мери не встает с постели, плача и стеная из-за бесчестья, — что скажут люди о том, как она воспитала дочь. Она не возражает против ситуации «самой по себе», Особенно потому, что дочь собирается выйти замуж, но она близко принимает к сердцу то, что будут говорить все остальные. Ни один из членов обеих семей лично («…если бы это касалось только меня…») ни в малейшей степени не обеспокоен своими собственными интересами, но все весьма обеспокоены воздействием «слухов» и «сплетен» на всех остальных. Обеспокоенность сосредотачивается главным образом на отце юноши и на матери девушки, которых нужно утешать по поводу

страшного удара. Отец юноши тревожится из-за того, что подумает о нем мать девушки. Мать девушки тревожится из-за того, что «все» подумают о ней. Юноша озабочен тем, что думает семья о его отношении к отцу, и т. д.

В течение нескольких дней напряжение нарастает по спирали, пока все члены обеих семей не оказываются полностью поглощенными всевозможными видами плача и заламывания рук, взаимными обвинениями и извинениями. Типичными высказываниями являются следующие:

МАТЬ — ДЕВУШКЕ: Даже если он в самом деле хочет жениться на тебе, как он сможет тебя уважать после всего того, что будут говорить о тебе люди?

ДЕВУШКА (некоторое время спустя): В конце кондов, мне его хватило по горло еще до того, как я обнаружила, что беременна, но я не хотела ранить его чувства, потому что он так сильно был в меня влюблен.

ЮНОША: Если бы дело было не в том, что я так обязан своему отцу за все то, что он сделал для меня, я бы устроил так, что она избавилась бы от ребенка. Но к тому времени все уже знали.

Все знали, поскольку сын рассказал отцу, который рассказал жене, которая рассказала старшему сыну, который рассказал своей жене… и т. д.

По-видимому, подобный процесс обладает динамикой, отделенной от индивидуумов. Но в данном и любом другом случае этот процесс представляет собой форму отчуждения, постигаемую тогда — и только тогда, — когда череду такого отчуждения можно проследить в обратном порядке от любой личности вплоть до того, что в любое мгновение является его единственным источником, — переживания и действия каждой отдельно взятой личности.

Своеобразной особенностью Их является то, что они создаются лишь каждым из нас, отрекающимся от своей собственной личности. Если мы впустили Их в наши сердца, мы являемся лишь множеством одиночеств, в котором у всех личностей является общим лишь ее расположение по отношению к другому, исходя из необходимости собственных действий. Впрочем, каждый человек, в качестве другого по отношению к другому, является необходимостью другого. Каждый отвергает любую внутреннюю связь с другими;

каждый заявляет о собственной несущественности: «Я просто выполняю приказы. Если бы я этого не делал, это бы сделал кто-то еще», «Почему вы не подписываетесь? Все остальные уже подписались» и т. д. Однако, хотя я могу не отличаться, я не могу действовать отлично. Ни один человек мне не необходим более, чем я. по своим заявлениям, нужен Им. Но точно так же, как он есть «один из Них» для меня, я есмь «один из Них» для него. При таком собрании взаимной неотличимости, взаимной несущественности и одиночества, по-видимому, не существует никакой свободы. Есть лишь приспособляемость к присутствию, которое существует везде где-то в другом месте.

Мы

Бытие любой группы, с точки зрения самих членов этой группы, весьма любопытно. Если я думаю о тебе и о нем как находящихся вместе со мной, а другие опять-таки не вместе со мной, то я уже образовал два рудиментарных синтеза, а именно Мы и Они. Впрочем, такой частный акт синтеза не является сам по себе группой. Для того чтобы Мы начали быть группой, необходимо, скажем, не только, чтобы я рассматривал тебя, его и себя как Нас, но чтобы ты и он также думали о нас как о Н а с. Я буду называть подобный акт переживания некоторого количества личностей как единого коллектива актом рудиментарного группового синтеза. В таком случае Мы, то есть каждый из Нас — я, ты и он, — совершили акты рудиментарного группового синтеза. Но на данный момент это всего лишь три частных акта группового синтеза. Для того чтобы группа действительно выкристаллизовалась, я должен признать, что ты думаешь о себе как об одном из Нас, как и я, и что он думает о себе как об одном из Нас, как ты и я. Более того, я должен гарантировать, что и ты, и он признаете, что я думаю о себе как находящемся вместе с тобой и им, а ты и он должны сходным образом гарантировать, что двое остальных признают, что эти Мы являются вездесущими среди нас — не просто личной иллюзией с моей, твоей или его стороны, разделяемой двумя из нас, но

не разделяемой всеми нами троими.

В весьма сжатой форме я могу изложить предыдущий абзац следующим образом.

Я «интериоризирую» твой и его синтез, ты интериоризируешь его и мой, он интериоризирует мой и твой; я интериоризирую твою интериоризацию меня и его; ты интериоризируешь мою интериоризацию тебя и его. Более того, он интериоризирует мою интериоризацию себя и тебя — логическая скручивающаяся спираль взаимных перспектив до бесконечности.

Группа, рассматриваемая в первую очередь с точки зрения переживания ее членов, не является социальным объектом, находящимся в пространстве. Это совершенно чрезвычайное бытие, сформированное синтезом каждой личности одной и той же множественности в Мы, и синтезом каждой личности множества синтезов.

Группа, рассматриваемая извне, выглядит как социальный объект, производящий посредством своего облика и явных процессов, происходящих внутри нее, впечатление иллюзии организма.

Это мираж: при ближайшем рассмотрении тут нет никакого организма.

Группу, чье объединение достигается посредством взаимной интериоризации каждым другого каждого, в которой ни «общий предмет», ни организационная, или институциональная, структура не имеют изначальной функции своего рода «цемента» группы, я буду называть нексусом.

Единство нексуса содержится внутри каждого синтеза. Каждый такой акт синтеза связан взаимной внутренностью с любым другим синтезом того же самого нексуса, поскольку он также является внутренностью любого другого синтеза. Единство нексуса есть объединение, созданное каждой личностью из множества синтезов.

Социальной структурой полностью достигнутого нексуса является единство как вездесущность. Это вез-десущность нескольких здесь, тогда как набор других всегда находится где-то в другом месте, всегда там.

Нексус существует лишь постольку, поскольку каждая личность воплощает собой нексус. Нексус — везде, в каждой личности, и больше нигде, как в каждой. Нексус находится на противоположном полюсе от Них, где каждый человек признает свое членство, рассматривает другого как сосуществующего с собой и допускает, что другой рассматривает его как сосуществующего с ним.

Нам всем в одной лодке по морю в шторм плыть,
И друг другу мы должны преданны быть.
Г. К. ЧЕСТЕРТОН

В такой группе взаимной преданности, братства до смерти каждая свобода взаимно отдается в залог.

В нексальной семье единство группы достигается благодаря переживанию каждого из группы, и опасность для каждой личности (поскольку личность существенна для нексуса, а нексус существенен для личности) заключается в рассеивании или распаде «семьи». Это может произойти ^ лишь тогда, когда одна личность за другой рассеют ее в самих себе. Объединенная «семья» существует только до тех пор, пока каждая личность действует с точки зрения существования семьи. Тогда каждая личность может воздействовать на другую личность, чтобы заставить ее (посредством сочувствия, шантажа, ощущения обязанности, вины, благодарности или откровенного насилия) утвердить. свою интериоризадию группы неизменной.

Значит, нексальная семья есть «сущность», которая должна сохраняться в каждой личности и храниться каждой личностью, которая живет и умирает ради нее и которая, — в свою очередь, предлагает жизнь за преданность и смерть за дезертирство. Любое отступничество от нексуса (предательство, измена, ересь и т. п.), согласно этике нексуса, по заслугам наказывается; а самое худшее наказание, изобретенное «групповыми людьми», есть изгнание или отказ от общения — групповая смерть.

Условием постоянства подобного нексуса, чьим единственным существованием

является переживание его каждой личностью, является успешное перепридумывание всего того, что дает подобному переживанию raison d'etre. Если нет внешней опасности, то опасность и ужас должны быть выдуманы и поддерживаться. Каждая личность должна воздействовать на других для того, чтобы поддерживать нексус в них.

Некоторые семьи живут в постоянном страхе того, что — для них — является внешним миром-преследователем. Члены семьи живут, так сказать, в семейном гетто. Это одна из основ так называемой материнской излишней защиты. Она не является «излишней» с точки зрения матери, да на самом деле зачастую и с точки зрения членов семьи.

«Защита», которую подобная семья предлагает своим членам, по-видимому, основывается на нескольких непременных условиях: 1) фантазия о внешнем мире как чрезвычайно опасном; 2) порождение страха внутри нексуса из-за этой внешней угрозы. «Работой» нексуса является порождение такого страха. Такая работа есть насилие.

Стабильность нексуса является производной страха, порождаемого в его членах работой (насилием), производимой членами группы друг над другом. «Гомеостаз» подобной семьи представляет собой продукт взаимодействий, опосредованный статутом насилия и страха.

Наивысшей этикой нексуса является взаимная озабоченность. Каждый человек озабочен тем, что другой думает, чувствует и делает. Он может рассматривать это как свое право ожидать, что другие будут заботиться о нем, и считать себя обязанным в свою очередь ощущать озабоченность по отношению к ним. Я не желаю ни движения без ощущения своего права, что вы должны быть осчастливлены или опечалены, горды или пристыжены тем, что я делаю. Каждое мое действие всегда представляет собой заботу о других членах группы. И я считаю вас бессердечными, если вы не озабочены моей озабоченность вами, когда вы что-либо делаете.

Семья может действовать как банда гангстеров, предлагая друг другу обоюдную защиту от насилия по отношению друг к другу. Это взаимный терроризм с предложением защиты и безопасности от насилия, которым один стращает другого и которого человек страшится, если нарушает правила.

Моя озабоченность, моя озабоченность вашей озабоченностью, ваша озабоченность и ваша озабоченность моей озабоченностью и т. д. — это бесконечная спираль, на которой покоится гордость или стыд за моего отца, сестру, брата, мать, сына, дочь.

Существенной чертой нексуса является ожидание, что каждое действие одной личности будет иметь отношение ко всем остальным и повлияет на них. Ожидается, что природа такого влияния должна быть взаимной.

Ожидается, что каждая личность управляется и управляет другими благодаря взаимному воздействию, которое каждый человек оказывает на другого. Быть взволнованным действиями или чувствами других считается «естественным». Не является «естественным», если отец не гордится сыном, дочерью, матерью и т. д. или не стыдится их. Согласно такой этике действие, произведенное для того, чтобы обрадовать, сделать счастливым, выказать свою благодарность другому, представляет собой высшую форму действия. Такая взаимная межличностная причинно-следственная связь является предпосылкой самоактуализации. В такой игре нарушением правил является использование подобной взаимозависимости для того, чтобы причинить другому вред, разве что на благо нексуса, но самое страшное из всех преступлений — отказаться действовать на основе такой предпосылки.

В действительности примеры этого таковы.

Петр что-то дарит Павлу. Если Павел не обрадован или отказывается от подарка, он неблагодарен за то, что сделано для него. Или: Петр делается несчастным, когда Павел совершает нечто. Так что, если Павел совершает это, он делает Петра несчастным. Если Петр сделан несчастным, Павел невнимателен, бессердечен, себялюбив и неблагодарен. Или: если Петр готов пожертвовать собой ради Павла, то Павел должен быть готов пожертвовать собой ради Петра, а иначе он будет себялюбивым, неблагодарным, бессердечным, безжалостным и

т. п.

«Жертвоприношение» при таких обстоятельствах состоит в том, что Петр обедняет себя, чтобы сделать что-то для Павла. В этом заключается тактика вынужденного долга. Это также можно выразить так: каждая личность делает вклад в другого.

Группа, будь то Мы, или Вы, или Они, не является новым индивидуумом, организмом или гиперорганизмом на социальной сцене: у нее нет своих собственных органов, своего собственного сознания. Однако мы можем проливать свою собственную кровь и кровь других ради этого бескровного присутствия.

Группа представляет собой реальность того или иного рода. Но какого рода реальность? «Мы» есть форма объединения множества, созданного теми, кто разделяет общее переживание этой вездесущей выдумки.

Извне группа Их может выглядеть совсем по-иному. Это по-прежнему тип объединения, наложенного на многообразие, но на этот раз те, кто специально изобретают объединение, сами не являются его членами. Здесь я, конечно же, не ссыпаюсь на восприятие стороннего наблюдателя Нас — объединения, учрежденного изнутри самого себя. «Они» появляются в поле зрения как своего рода социальный мираж. «Красные», «белые», «черные», «евреи». Однако на человеческой сцене подобные миражи могут самоактуализироваться. Изобретение Их создает Нас, а Мы можем потребовать изобрести Их для того, чтобы переизобрести Самих Себя.

Один из наиболее гипотетических видов сплоченности между нами наблюдается тогда, когда каждый из нас хочет одного и того же, но не хочет ничего от другого. Мы объединены, скажем, общим желанием достать последний билет на поезд или заключить лучшую сделку на торгах. Мы могли бы с радостью перерезать друг другу глотки, но мы, тем не менее, ощущаем между нами определенные узы, так сказать, негативное единство в том, что каждый воспринимает другого как лишнего, и метаперспектива каждого человека показывает ему, что он лишний для другого. В данном случае мы разделяем желание присвоить одну и ту же общую вещь или вещи — пищу, землю, общественное положение, реальное или воображаемое, — но ничего не разделять между собой и не хотеть этого. Двое мужчин любят одну и ту же женщину, два человека хотят купить один и тот же дом, два кандидата хотят получить одну и ту же должность. Такой общий объект может одновременно как разделять, так и объединять. Ключевой вопрос состоит в том, может ли он быть отдан всем или нет? Насколько он дефицитен?

Объект может быть животного, растительного или минерального происхождения, относящимся к человеческому или божественному, реальному или воображаемому, единственным или множественным. Человеческим объектом, объединяющим людей, является, например, поп-певец по отношению к своим фанам. Все могут обладать им, хотя и магическим образом. Когда такая магия сталкивается с иным порядком реальности, обнаруживается, что идол рискует быть разорванным на куски беснующимися фанами, стремящимися оторвать от него хоть кусочек.

Объект может быть множественным. Две соперничающие фирмы вовлечены в напряженное рекламное состязание, причем каждая находится под впечатлением, что она отдает своих потребителей другой. Исследования рынка порой обнаруживают, насколько расколота фантазиями сцена таких социальных разнообразий. Законы же, управляющие восприятием, изобретением и подтверждением таких социальных сущностей, как «потребители», не открыты.

Обычной связью между Нами может быть другой. Этот Другой даже может не быть локализован как вполне определимые Они, на которых можно указать. В социальной сети сплетен, слухов, не признаваемой открыто расовой дискриминации этот Другой находится везде и нигде. Другой, который управляет каждым, есть каждый, находящийся в его положении — в положении не «я», а другого. Однако каждое «я» скрывает, что оно само является тем другим, которым оно является для этого Другого. Этот Другой есть переживание каждого. Любая личность ничего не может поделать из-за другого. Другой

находится везде где-то в другом месте.

Вероятно, наиболее интимный способ, которым Мы можем быть объединены, — нахождение каждого из нас в одном и том же присутствии и обладание им внутри самих себя. В любом внешнем смысле это нелепица, но здесь мы исследуем вид переживания, который не признает различий аналитической логики.

Мы обнаруживаем, как этот демонический групповой мистицизм неоднократно вызывался в предвоенных речах на нюрнбергских митингах нацистов. Рудольф Гесс заявляет: «Мы — это Партия, Партия — это Германия, Гитлер — это Партия, Гитлер — это Германия» и т. д.

Мы являемся христианами постольку, поскольку мы — братья во Христе. Мы — во Христе, и Христос в каждом из нас.

Нельзя ожидать ни от какой группы, чтобы она держалась достаточно долго на чистом пламени подобного объединенного переживания. Группы склонны исчезать под атаками других групп или из-за неспособности выдержать опустошительное воздействие голода или болезней, внутренних расколов и т. п. Но простейшая и вечная угроза любой группе исходит из простого дезертирства ее членов. Это, так сказать, опасность испарения.

Под видом групповой преданности, братства и любви вводится этика, основой которой является мое право предоставить другому защиту от моего насилия, если он мне предан, и ожидать его защиты от его насилия, если я предан ему, и моя обязанность устрашать его угрозой насилия с моей стороны, если он не останется преданным.

Пусть не будет никаких иллюзий насчет братства людей. Мой брат — настолько же дорогой мне, насколько я дорог сам себе, мой близнец, мой двойник, моя плоть и кровь — может быть как солинчевателем, так и сомучеником, и в любом случае он, вероятно, примет смерть из моих рук, если решится посмотреть на ситуацию по-иному.

Братство людей вызывается к жизни отдельными людьми в зависимости от обстоятельств, в которых они находятся. Но очень редко оно распространяется на всех людей. Во имя нашей свободы и нашего братства мы готовы взорвать другую половину человечества и быть взорванными в свою очередь.

Это вопрос жизни или смерти в наиболее насущном из возможных смыслов, поскольку именно на основе таких примитивных социальных фантазий о том, кто или что есть я или ты, он или она. Мы или Они, связывается или разделяется мир, а мы умираем, убиваем, поглощаем, разрываем и разрываемся на части, сходим во ад или возносимся на Небеса — короче, мы проводим свою жизнь. Что есть «бытие» «красных» для тебя и для меня? Какова природа присутствия, вызываемого произнесением этого магического звука? Разве мы симпатизируем «Востоку»?

Разве мы ощущаем необходимость пугать, стращать или задабривать «его»? «Россия» или «Китай» расположены лишь в фантазиях каждого, включая «русских» и «китайцев» — нигде и везде.

Специфически человеческая черта человеческих группировок может использоваться для превращения их в некое подобие нечеловеческих систем.

Мы не предполагаем теперь, что химические элементы соединяются вместе, потому что любят друг друга. Атомы не взрываются от ненависти. Это люди действуют, исходя ж любви и ненависти, это они объединяются для обороны, нападения или удовольствия, получаемого в обществе друг друга.

Все те люди, которые стремятся управлять поведением большего количества других людей, воздействуют на переживание этих людей. Если можно заставить людей переживать некую ситуацию сходным образом, можно ожидать, что они будут и вести себя сходным образом. Если заставить всех людей хотеть одного и того же, ненавидеть одно и то же, ощущать одну и ту же угрозу — тогда их поведение уже взято в плен: вы получили своих потребителей или свое пушечное мясо. Вызовите общее восприятие негров как недочеловеков или белых как порочных и упадочных, и поведение может быть согласовано должным образом.

Хотя большую часть переживаний и действий можно преобразовать в количественно взаимозаменяемые единицы, схема постижения групповых структур и их постоянства совершенно отлична от схемы, которую мы используем, когда объясняем относительные постоянные в физических системах. В последнем случае мы не тем же самым образом прослеживаем постоянную модель в обратном направлении вплоть до взаимной интериоризапии модели, чем бы ни были составляющие ее единицы. Однако инерция групп людей, проявляющаяся как само отрицание практики, фактически представляет собой продукт практики и ничто иное. Такая групповая инерция может быть лишь орудием мистификации, если она воспринимается как часть «естественного порядка вещей». Идеологическое злоупотребление подобной идеей вполне очевидно. Оно столь явно служит интересам тех, чей интерес заключается в том, чтобы заставить людей поверить, что status quo есть «естественный порядок», предписанный божественным образом или «законами природы». Непосредственно же менее очевидно, но не менее затуманивающе приложение эпистемологической схемы, выведенной из природных систем, к группам людей. Теоретическая позиция здесь служит лишь все большему отрыву практики от структуры.

Группа становится машиной — и забывается, что она — сделанная людьми машина, в которой машиной являются те самые люди, которые ее создают. Она совершенно не похожа на машину, сделанную людьми, которая может обладать своим собственным существованием. Группа — это сами люди, организующие себя в модели, страты, предполагающие и предписывающие различную власть, функции, роли, права, обязанности и т. п.

Группа не может стать сущностью, отделенной от людей, но люди могут образовывать круги, чтобы окружить других людей. Модели во времени и пространстве, их относительное постоянство и жесткость не превращаются когда угодно в природную систему или гиперорганизм, хотя фантазия может развиваться, и люди могут начать жить фантазией о том, что относительное постоянство в пространстве-времени моделей и моделей моделей и есть то, ради чего они должны жить и умирать.

Происходит так, словно все мы предпочитаем умереть ради сохранения своих теней.

Ибо группа не может быть не чем иным, кроме как разнообразием точек зрения и действий ее членов, и это остается верным даже тогда, когда — посредством интери-оризапии этого разнообразия как синтезированного каждым — это синтезированное разнообразие становится вездесущим в пространстве и продолжительным во времени.

Это так же верно, как и то, что человек есть общественное животное, поскольку явная сложность и противоречия социального поля, в котором ему приходится жить, столь труднопреодолимы. Они остаются таковыми даже при фантастических упрощениях, которые накладываются на эту сложность, — некоторые из них мы исследовали выше.

Наше общество множественно в нескольких смыслах. Любой человек, вероятно, является участником большого количества групп, которые могут обладать не только различной системой членства, но и совершенно разными формами объединения.

Каждая группа требует более или менее коренного внутреннего преобразования от личностей, которые ее составляют. Рассмотрите метаморфозы, через которые может пройти один человек за один день, пока он передвигается из одного вида социальности в другой: семейный человек, пылинка в толпе, функционер в организации, друг. Это не просто различные роли — каждая обладает всей полнотой прошлого, настоящего и будущего, предлагающей различные выборы и ограничения, различные степени изменений или инерции, различные виды близости и отдаленности, различные наборы прав и обязанностей, различные поручительства и обещания.

Я не знаю ни одной теории индивидуума, которая бы полностью это признавала. Есть искушение начать с понятия некоторой предполагаемой базовой личности, но сопутствующие эффекты не сводимы к одной внутренней системе. Усталый семейный человек в конторе и усталый деловой человек дома свидетельствуют о том факте, что люди переносят из одного контекста в другой не просто один набор внутренних объектов, но

разнообразные и интернализованные социальные образы бытия* — зачастую они чрезвычайно противоречивы.

Не существует и таких постоянных эмоций, или чувств, как любовь, ненависть, гнев, доверие или недоверие. Какого бы обобщенного определения каждого из этих чувств ни было сделано на самых высоких уровнях абстракции, специфически и конкретно каждая эмоция всегда находится в той или иной связи с группой, в которой она встречается. Не существует никаких «базовых» эмоций, инстинктов или

*См. главу «Индивидуум и структура семьи» в [33].

личностей вне взаимоотношении, которые имеет человек внутри того или иного социального контекста*.

Происходит гонка на время. Вполне допускаю, что будут возможны дальнейшие преобразования, если люди начнут переживать самих себя как «Одного из Нас», Если, даже на основе полнейшего своекорыстия, мы сможем осознать, что Мы и Они должны быть переведены во всеобщность человеческого рода, что, уничтожая их, мы не должны уничтожить нас всех.

Пока продолжается война, обе стороны начинают все больше и больше походить друг на друга. Змея хватается за свой собственный хвост. Колесо делает полный оборот. Осознаем ли мы, что Мы и Они — тени друг друга? Мы — это Они для Них, так же как Они — это Они для Нас. Когда будет поднята завеса? Когда шарада превратится в Карнавал? Святые могут по-прежнему целовать прокаженных. Самое время прокаженному поцеловать святого.

*Эта глава, в частности, многом обязана «Критике диалектического разума» Ж.-П. Сартра. Она подытожена в книге «Разум и насилие», написанной мной в соавторстве с Дэвидом Купером в 1964 году.

V. ШИЗОФРЕНИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

ДЖОНС (громко смеется, затем выдерживает паузу): Я — Магдугал. (На самом деле его зовут не так.)

СМИТ: Как ты зарабатываешь на жизнь, парень? Работаешь на ранчо или что?

Д: Нет, я моряк гражданского флота. Нужно быть очень жилистым.

С: Музыкальный автомат, а? Полагаю, музыкальный автомат иногда поет. Если они правильно налажены. Гм-м. Думаю, это был он. Мое полотенце, гм-м. Мы выйдем в море примерно через… восемь или девять месяцев. Как только… будут починены сломавшиеся детали. (Пауза.)

Д: У меня любовная тоска, тайная любовь.

С: Тайная любовь, да? (Смеется.)

Д: Ага.

С: А у меня никакой тайной любви.

Д: Я влюбился, но я не ухаживаю… сидит там… выглядит вроде как я… гуляет везде.

С: Моя, о единственная, моя единственная любовь — это акула. Убирайся с ее пути.

Д: Разве они не знают, что у меня жизнь, чтобы жить? (Продолжительная пауза.)

С: Ты работаешь на авиабазе? А?

Д: Ты же знаешь, что я думаю про работу. В июне мне — тридцать три, знаешь?

С: В июне?

Д: В июне мне тридцать три года. Эта штука полетит в окно, после того как я уставлю, э-э… оставлю эту больницу. Так что я разложил сигареты, я — условие жизни в космосе, я сам из космоса, без дураков.

С (смеется): Я — настоящий космический корабль оттуда.

Д: Куча людей говорят, э-э… так, как сумасшедшие, но «Веришь — не веришь» Рипли, берешь — отдаешь… одна в «Экзаменаторе», это в разделе юмора, «Веришь — не веришь» Рипли, Роберт Рипли, «Веришь — не веришь», но мы ничему не должны верить, если мне не хочется. (Пауза.) Каждая розочка так одинока. (Пауза.)

С: Возможно. (Фраза не слышна из-за шума самолета.)

Д: Я — моряк гражданского флота.

С: Возможно. (Вздыхает.) Я приму ванну в океане.

Д: Ванна воняет. Знаешь почему? Потому что ты не можешь бросить, когда тебе хочется. Ты на службе.

С: Я смогу бросить, когда мне захочется бросить. Я выберусь, когда захочу выбраться.

Д (говоря в то же самое время): Пойми меня. Я — гражданский, я могу бросить.

С: Гражданский?

Д: Иди моим… моим путем.

С: Полагаю, у нас в порту есть гражданские. (Продолжительная пауза.)

Д: Чего они от нас хотят?

С: Гм?

Д: Чего они от тебя и меня хотят?

С: Чего они от тебя и меня хотят? Откуда я знаю, чего они хотят от тебя? Я знаю, чего юни хотят от меня. Я нарушил закон, и приходится за это платить (Молчание.) [21].

Это разговор между двумя личностями, у которых диагноз — шизофрения. Что означает этот диагноз?

Рассматривать гамбиты Смита и Джонса в качестве обусловленных в первую очередь неким психическим дефицитом — все равно что предполагать, что человек, делающий стойку на руках на велосипеде, едущем по канату на высоте тридцати метров, страдает от неспособности стоять на двух ногах. Мы вполне можем спросить, зачем этим людям быть, зачастую блестяще, такими хитрыми, уклончивыми, ловкими и в итоге непостижимыми.

За последнее десятилетие в психиатрии произошел радикальный мировоззренческий сдвиг. Он поставил под сомнение старые допущения, основанные на попытках психиатров девятнадцатого века внедрить структуру клинической медицины, имеющей отношение к их наблюдениям. Таким образом, считалось, что темой психиатрии является душевная болезнь: думали о душевной физиологии и душевной патологии, искали признаки и симптомы, ставили диагноз, делали прогнозы и предписывали курсы лечения. В соответствии с философскими склонностями врача он искал этиологию этих душевных болезней в разуме, в теле, в окружающей среде или в унаследованной предрасположенности.

Термин «шизофрения» придумал швейцарский психиатр Блойлер, работавший в этой сфере деятельности. Используя термин «шизофрения», я не ссылаюсь на какое-либо условие, которое считаю скорее душевным, чем физическим, или на болезнь наподобие пневмонии, но лишь на ярлык, который некоторые люди прикрепляют к другим людям при определенных социальных обстоятельствах. «Случай» шизофрении должен обнаруживаться путем исследования не одного лишь предполагаемого больного, но всего социального контекста, в котором проводится психиатрический церемониал*.

После демистификации по крайней мере становится ясно, что некоторые люди ведут себя и переживают самих себя и других способами, которые кажутся странными и непостижимыми большинству людей, включая их самих. Если такие поведение и переживание подпадают под определенные, довольно широкие категории, этих людей, вероятно, диагностируют как подверженных некоему состоянию, называемому шизофренией. По недавним подсчетам почти один из ста родившихся детей попадут в эту категорию в то или иное время до достижения сорокапятилетнего возраста, а в Великобритании в данный момент есть около шестидесяти тысяч людей в психиатрических лечебницах, а еще больше вне стен больниц, которых называют шизофрениками.

*См. [17].

У ребенка, родившегося сегодня в Великобритании, в десять раз больше шансов попасть в психиатрическую больницу, чем в университет, а примерно одна пятая всех пациентов этих больниц имеет диагноз шизофрения. Это можно воспринять как указание на то, что мы сводим наших детей с ума более эффективно, чем обучаем. Вероятно, именно наша система образования и сводит их с ума.

Большинство психиатров, но не все, по-прежнему думают, что люди, которых они называют шизофрениками, страдают от унаследованной предрасположенности действовать предпочтительно непостижимым образом, что некий, пока неопределенный генетический фактор (возможно, генетический морфизм) взаимодействует с более или менее обычным окружением так, что вызывает биохимические и эндокринологические изменения, которые, в свою очередь, порождают то, что мы наблюдаем в качестве поведенческих признаков более глубоких органических процессов.

Но неверно приписывать кому-либо гипотетическую болезнь с неизвестной этиологией и необнаруженной патологией, если можно доказать обратное*.

«Шизофреник — это некто, обладающий причудливыми переживаниями и (или) действующий причудливым образом — обычно с точки зрения его родственников и нас самих…

То, что пациент с таким диагнозом страдает от некоего патологического процесса, есть либо факт, либо гипотеза и допущение, либо суждение.

Рассмотрение в качестве факта — ложно. Рассмотрение в качестве гипотезы — законно. Нет необходимости делать допущения или высказывать суждения.

Психиатр, приспосабливающий свою клиническую позицию к наличию еще не диагностированной личности, на которую он уже смотрит как на пациента, склонен верить, что у него в наличии „факт“ шизофрении. Он действует так, словно его наличие установлено. Затем он должен исследовать этот случай и многочисленные этиологические факторы, сделать прогнозы и провести курс лечения. Серд-

*См. [45].

цевина болезни тогда оказывается вне деятельности личности. То есть болезнь воспринимается как процесс, которому личность подвергается, — либо генетический, либо конституциональный, эндогенный, экзогенный, органический или психологический, либо смесь их всех» [29].

Многие психиатры сегодня становятся более осторожными при принятии такой отправной точки. Но чем можно ее заменить?

Проясняя новый взгляд на шизофрению, мы могли бы вспомнить о шести слепцах и слоне: один дотрагивается до его туловища и говорит, что это стена, другой дотрагивается до уха и говорит, что это опахало, еще один дотрагивается до ноги и говорит, что это колонна, и т. д. Проблема заключается в отборе образцов, и ошибкой является неосторожная экстраполяция.

Раньше при отборе образцов поведения шизофреника применялся метод клинического обследования. Вот пример такого рода исследования, проведенного на рубеже веков. Это дословный отчет немецкого психиатра Эмиля Крепелина.

«Господа, случаи, которые я предлагаю вам, весьма любопытны. Первой вы увидите служанку двадцати четырех лет, облик которой выдает сильное истощение. Несмотря ни на что пациентка постоянно находится в движении, делая по нескольку шагов то вперед, то назад; она заплетает косы, распущенные за минуту до этого. При попытке остановить ее мы сталкиваемся с неожиданно сильным сопротивлением: если я встаю перед ней, выставив руки, чтобы остановить ее, и если она не может меня обойти, она внезапно нагибается и проскакивает у меня под рукой, чтобы продолжить свой путь. Если ее крепко держать, то обычно грубые, невыразительные черты ее лица искажаются и она начинает плакать до тех пор, пока ее не отпускают. Мы также заметили, что она держит кусок хлеба в левой руке так, что его совершенно невозможно у нее отнять. Пациентка почти не обращает внимания на окружающую обстановку, если ее оставляют одну. Если вы колете ее иголкой в лоб, она не моргает и не отворачивается и оставляет иголку торчать изо лба, что не мешает ей неустанно ходить взад-вперед наподобие хищной птицы. На вопросы она почти ничего не отвечает, а только трясет головой. Но время от времени она причитает: „О Боже! О Боже! О мамочка! О мамочка!“, всегда точно повторяя одни и те же фразы» [25].

Вот мужчина и девушка. Если мы смотрим на ситуацию с точки зрения Крепелина, все

— на месте. Он — здоров, она — больна; он — рационален, она — иррациональна. Из этого следует взгляд на действия пациентки вне контекста ситуации, какой она ее переживает. Но если мы возьмем действия Крепелина (выделенные в цитате) — он пытается ее остановить, стоит перед ней, выставив вперед руки, пытается вырвать у нее из руки кусок хлеба, втыкает ей в лоб иголку и т. п. — вне контекста ситуации, переживаемой и определяемой им, то насколько необычными они являются!

Характер взаимодействия между психиатром и пациентом таков, что если вырвать из контекста роль пациента, как это сделано в клиническом описании, то она может показаться очень странной. И вместе с тем роль психиатра служит пробным камнем для определения нормальности с точки зрения здравого смысла. Психиатр, психически здоровый ipso facto, показывает, что пациент не вступает с ним в контакт. Тот факт, что он не вступает в контакт с пациентом, показывает, что что-то не в порядке с пациентом, а не с психиатром.

Но если перестать отождествлять себя с клиническим положением и взглянуть на пару «психиатр-пациент» без подобных предположений, то будет трудно поддержать такой наивный взгляд на ситуацию.

Психиатры уделяют очень мало внимания переживанию пациента. Даже в психоанализе существует постоянная тенденция предполагать, что шизофренические переживания суть нечто нереальное и необоснованное; в них можно найти смысл, лишь их истолковывая; без истолкования пациент остается в мире заблуждений и самообмана. Американский психиатр Каплан в предисловии к своему великолепному собранию собственных отчетов психически больных о своих переживаниях очень справедливо пишет:

«Имея все преимущества на своей стороне, он (психиатр или психоаналитик) пробирается сквозь увертки и оговорки пациента и выводит их на свет разума и прозрения. При такой встрече между психиатром и пациентом усилия первого связаны с наукой и медициной, с пониманием и заботой. Переживаемое пациентом связано с болезнью и ирреальностью, с извращениями и искажениями. Процесс психотерапии состоит по большей части в замене ложных субъективных взглядов пациента на объективные взгляды психиатра. Но сущность такой концепции заключается в том, что психиатр понимает, что происходит, а пациент — нет» [23].

Г. С. Салливан обычно говорил молодым психиатрам, приходящим работать вместе с ним: «Я хочу, чтобы вы запомнили — при существующем состоянии нашего общества пациент — прав, а вы — не правы». Это возмутительное упрощение. Я привожу его, чтобы освободиться от любых навязчивых идей, состоящих в том, что психиатр прав, а пациент — не прав. Однако я думаю, что в отношении внутреннего мира можно большему поучиться у шизофреников психиатрам, чем пациентам — у психиатров.

Совсем иная картина начинает проявляться, если взаимодействие между самими пациентами изучается без таких предположений. Одно из лучших исследований было проведено американским социологом Эрвингом Гоффманом.

Гоффман провел целый год в качестве ассистента физиотерапевта в большой психиатрической больнице (около семи тысяч коек) под Вашингтоном. Его достаточно низкий статус в больничной иерархии позволял установить с пациентами братские отношения, на которые не был способен медицинский персонал из высших эшелонов. Один из его выводов таков:

«Существует старая поговорка, что нет четкой границы между нормальными людьми и пациентами психбольницы; скорее существует континуум с хорошо приспособившимися гражданами на одном конце и полностью проявившимися психотиками — на другом. Должен заявить, что после периода акклиматизации в психиатрической лечебнице представление о некоем континууме кажется весьма самонадеянным. Сообщество есть сообщество. Насколько оно диковинно для тех, кто в него не входит, настолько же оно естественно, даже если и нежелательно, для тех, кто живет внутри него. Система отношений, которые пациенты налаживают друг с другом, не ложится на конец какой-либо шкалы, но она скорее дает один пример ассоциации людей — которой, без сомнения, следует

избегать, — но которую к тому же исследователю нужно занести в картотеку наряду со всеми остальными примерами ассоциаций, которые он может собрать» [18].

Большая часть этого исследования посвящена подробному документированию того, как так происходит, что человек, помещенный в положение пациента, стремится стать определяемым как недеятель, как неответственный объект, чтобы к нему относились надлежащим образом, и даже начинает рассматривать самого себя в таком свете.

Гоффман также показывает, что, смещая фокус с рассмотрения личности вне контекста, чтобы увидеть ее в контексте, поведение, которое могло показаться совершенно непостижимым, а в лучшем случае объясняемым как некая внутрипсихическая регрессия или органическое разложение, может получить вполне обычный, человеческий смысл. Он не просто описывает подобное поведение «у» пациентов психиатрической больницы, он описывает его в контексте личностных взаимодействий и системы, в которой они имеют место.

«…В действии — процесс порочного круга. Люди, помещенные в „плохие“ отделения, обнаруживают, что им дается очень мало какого-либо оборудования и вещей — одежду у них могут отнимать каждую ночь, предметы досуга и игры могут убираться, а из мебели имеются лишь деревянные стулья и скамейки. Акты враждебности по отношению к этому заведению приходится основывать на ограниченных, плохо разработанных приемах, таких как стучание стулом по полу или резкое разрывание газеты, при котором раздается раздражающий взрывоподобный звук. И чем более несоразмерно это оснащение для показа неприятия больницы, тем больше такой поступок кажется психотическим симптомом, тем более оправданным ощущает администрация направление пациента в „плохое“ отделение. Когда пациент обнаруживает себя в изоляции, голым и без видимых средств выражения, он может начать рвать матрац, если сумеет, или писать калом по стенам — действия, которые администрация воспринимает как присущие людям, которым требуется изоляция».

Однако в первую очередь люди диагностируются в качестве шизофреников и направляются в больницу на основании их поведения вне больницы.

Было проведено множество исследований социальных факторов, связанных с шизофренией. Они включают попытки обнаружить, встречается ли шизофрения более или менее часто в той или иной этнической группе, общественном классе, у представителей того или иного пола, в зависимости от положения в семье и т. п. Вывод подобных исследований зачастую состоял в том, что социальные факторы не играют значительной роли в «этиологии шизофрении». При этом вопрос считается решенным, и, более того, подобные исследования не подбираются достаточно близко к соответствующей ситуации. Если полиция хочет определить, умер ли человек естественной смертью, или совершил самоубийство, или был убит, она не начинает просматривать статистику происшествий, несчастных случаев и пр. Полиция расследует обстоятельства, сопутствующие каждому отдельному случаю. Каждое расследование — это оригинальный изыскательский проект, и он имеет начало и конец, когда собрано достаточно свидетельств для ответа на конкретные вопросы.

Лишь последние десять лет стали изучаться непосредственные взаимоотношения «шизофреников». Данная работа была в первую очередь вызвана к жизни теми психиатрами, которые создают впечатление, что если у их пациентов наблюдается душевный беспорядок, то зачастую беспорядок имеет место и в семье. Впрочем, психиатры принуждены своим методом оставаться вдали от непосредственного изучения семьи. Сперва проблема сосредотачивалась главным образом на матерях (которых всегда винят за все в первую очередь) и был введен постулат «шизофреногенной» матери, которая предположительно порождает душевный беспорядок в своем ребенке.

Затем было уделено внимание мужьям этих, без сомнения, несчастных женщин, потом взаимодействиям между родителями и между родителями и детьми, потом ядру семейной группы, состоящему из родителей и детей, и наконец — всей существенной сети людей в семье и вокруг нее, включая дедушек и бабушек пациентов. К тому времени, когда начались наши собственные изыскания, уже был совершен этот методологический прорыв и вдобавок

наблюдались значительные теоретические достижения.

Это была теория «двойной связи», главным архитектором которой являлся антрополог Грегори Бейтсон. Впервые опубликованная в 1956 году [6], она представляла собой первостепенное теоретическое достижение. Зерно идеи зародилось в голове Бейтсона в 1930-х годах при исследованиях, проводимых в Новой Гвинее. Культура в Новой Гвинее — как и любая другая культура — обладала встроенными методами установления своего собственного внутреннего равновесия. Например, одним методом, служившим для нейтрализации опасного соперничества, являлся сексуальный трансвестизм. Однако миссионеры и западная администрация порицали подобную практику. Поэтому культура стала подвержена риску внешнего истребления или внутреннего распада.

Совместно с исследователями из Калифорнии Бейтсон ввел эту парадигму неразрешимой «безвыигрышной» ситуации, особо разрушительной в отношении самоотождествления, в изучение внутрисемейной модели общения при диагностировании шизофреников.

Изучения семей шизофреников, проведенные в Пало-Альто (Калифорния), в Йельском университете, в Пеннсильванском психиатрическом институте, в Национальном институте душевного здоровья и в других местах, показали, что диагностируемая личность является частью более широкой сети крайне беспорядочных и вызывающих беспорядок моделей общения. Насколько я знаю, везде было выявлено, что любой исследованный шизофреник с беспорядочной моделью общения показывал, что он представляет собой отражение беспорядочных или вызывающих беспорядок моделей (или реакцию на них), характеризующих его семью. Это соответствует и нашим собственным изысканиям [29].

В более чем ста случаях, где мы с Д. Купером и А. Эстерсоном изучали действительные обстоятельства, сопутствующие социальному событию, при котором личность рассматривается как шизофреническая, нам кажется, что без исключения переживания и поведения, получающих ярлык «шизофреническое», они представляют собой особую стратегию, придуманную человеком для того, чтобы жить в непригодной для ж и з ни ситуации. В своей жизненной ситуации человек стал ощущать, что он находится в незащищенном положении. Он не может сделать ни движения (или не делает ни движения) без напора противоречивых и парадоксальных давлений и требований, влияний и побуждений как внутренних — изнутри самого себя, так и внешних — из его окружения. Он, так сказать, находится в матовой ситуации.

Подобное положение дел может не восприниматься в качестве такового людьми, находящимися в нем. Человек в самом низу кучи малы может страдать от смертельного удушья, но никто этого не заметит, а еще в меньшей степени желает заметить. Ситуацию, описанную здесь, невозможно рассматривать, изучая по отдельности находящихся в ней людей. Объектом изучения должна стать социальная система, а не отдельные индивидуумы, экстраполированные из нее.

Мы знаем, что биохимия человека весьма чувствительна к социальному окружению. Подобная матовая ситуация вызывает биохимическую реакцию, которая, в свою очередь, способствует или препятствует определенным типам переживания и поведения, вероятных a priori.

Поведение диагностированного пациента является частью более широкой сети поведения с нарушенным порядком. Противоречия и неразбериху, «интернализированные» индивидуумом, нужно рассматривать в более широком социальном контексте.

Что-то где-то не так, но это уже нельзя рассматривать исключительно или даже в первую очередь «в» диагностируемом пациенте.

Но это и не повод возложить ответственность на кого-либо еще. Незащищенное положение, «безвыигрышная» запутанность двойной связи, матовая ситуация, по определению, не очевидны для протагонистов. Очень редко вопрос состоит в измышленной, надуманной циничной лжи или беспощадном намерении с целью свести кого-то с ума, хотя подобное обычно происходит чаще, чем предполагается. Нам встречались родители, которые

говорили нам, что предпочитают, чтобы их ребенок скорее сошел с ума, чем осознал истину. Хотя даже в данном случае они говорят «из сострадания» о том, что человек находится «не в своем уме». Матовую ситуацию не описать в двух словах. Ситуацию в целом нужно схватить до того, как станет видно, что нет возможных ходов, а не делать ходов в равной степени невозможно.

С некоторьми оговорками здесь приводится пример одного взаимодействия, данный в книге «„Я“ и другие» [27], между отцом, матерью и сыном с двадцатью выходами из шизофренического эпизода.

В данной беседе пациент утверждал, что он эгоистичен, в то время как родители говорили ему, что он не таков. Психиатр попросил пациента привести пример того, что он называет «эгоистичностью».

СЫН: Ну, когда мама предлагает мне плотный обед, а я его не ем, потому что не хочу.

ОТЕЦ: Но, знаете, он не всегда был таким. Он всегда был очень хорошим парнем.

МАТЬ: Дело в его болезни, не правда ли, доктор? Он никогда не был неблагодарным. Он всегда был очень вежливым и воспитанным. Мы сделали для него все, что было в наших силах.

СЫН: Нет, я всегда был эгоистичным и неблагодарным. У меня не было чувства уважения к себе.

ОТЕЦ: Но оно же у тебя было.

СЫН: Оно бы у меня было, если бы вы меня уважали. Меня никто не уважает. Все надо мной смеются. Я — ходячий анекдот. Я — объект всеобщих насмешек.

ОТЕЦ: Но, сынок, я уважаю тебя, поскольку я уважаю человека, который уважает самого себя.

Едва ли удивительно, что человек при своем ужасе может вставать в странные позы в попытках управлять неразрешимыми и противоречивыми социальными «силами», управляющими им; что он проецирует внутреннее на внешнее и интроецирует внешнее во внутреннее; что он, короче, старается защитить себя от разрушения всеми доступными способами — проекцией, интроекций, расщеплением, отрицанием и т. п.

Грегори Бейтсон в своем блестящем вступлении к одному автобиографическому описанию шизофрении, относящемуся к девятнадцатому веку, сказал:

«По-видимому, будучи низвергнутым в состояние психоза, пациент должен проделать определенный путь. Он, так сказать, пускается в некое первооткрывательское путешествие, которое будет завершено лишь по его возвращении в нормальный мир, в который он вернется с прозрениями, весьма отличными от тех, которыми обладают живущие в этом мире, никогда не отправлявшиеся в подобное путешествие. Некогда начавшись, шизофренический эпизод, по-видимому, имеет такой же определенный ход, как и церемониал инициации — смерть и новое рождение, — в который новообращенный мог быть ввергнут семейной жизнью или побочными обстоятельствами, но который в значительной степени направляется эндогенным процессом.

С точки зрения такой картины спонтанная ремиссия не вызывает вопросов. Она является лишь конечным и естественным итогом общего процесса. Нужно же объяснить неудачу многих, предпринявших такое путешествие, при возвращении из него. Н е у ж е л и они сталкиваются либо в семейной жизни, либо при лечении с обстоятельствами, к которым столь трудно приспособиться, что даже богатейшее и наилучшим образом организованное галлюцинаторное переживание не может их спасти?» [7] (Разрядка моя.-Р. Д. Л.)

По сути, я соглашаюсь с таким взглядом.

В настоящее время происходит переворот в отношении к душевному здоровью и безумию как внутри, так и вне психиатрии. Клиническая точка зрения уступает место точке зрения, являющейся как экзистенциальной, так и социальной.

С идеального наблюдательного пункта на земле можно следить за боевым порядком самолетов. Один самолет может оказаться вне этого порядка. Но и весь порядок может двигаться не по курсу. Самолет, находящийся «вне порядка», может быть ненормальным —

больным и «сумасшедшим» с точки зрения порядка. Но и сам порядок с точки зрения идеального наблюдателя может быть больным или сумасшедшим. Самолет, находящийся вне порядка, также может двигаться не по курсу — больше или меньше, чем сам порядок.

Критерий «вне порядка» — клинический позитивистский критерий.

Критерий «не по курсу» — онтологический. Необходимо высказать два суждения по поводу этих параметров. В частности, фундаментально важно не сбивать личность, которая может быть «вне порядка», говоря ей, что она движется «не по курсу», тогда как это не так. Фундаментально важно также не делать позитивистской ошибки, предполагая, что поскольку группа находится «в порядке», то это означает, что она обязательно движется «по курсу». И не обязательно, что личность, находящаяся «вне порядка», движется более «по курсу», чем порядок. Нет нужды идеализировать кого-либо просто потому, что к нему приклеен ярлык «вне порядка». Также нет нужды убеждать личность, находящуюся «вне порядка», в том, что лечение заключается в возвращении в порядок. Личность, находящаяся «вне порядка», часто полна ненависти к порядку и боязни прослыть лишним человеком.

Если сам порядок двигается не по курсу, то человек, действительно двигающийся «по курсу», должен оставить п о р я док. И это можно сделать — если человек того хочет — без крика и шума, без пугания уже и так напуганного порядка тем, что тот должен уйти.

В диагностической категории шизофреников существует множество различных типов козлов и овец.

«Шизофрения» есть диагноз-ярлык, приклеиваемый одними людьми к другим. Он не доказывает того, что заклейменная личность подвержена некоему, по сути, патологическому процессу неизвестной природы и происхождения, протекающему в ее теле. Это не означает, что процесс является, в первую или во вторую очередь, п с и х о — патологическим, происходящим в психике личности. Но это устанавливает социальный факт, заключающийся в том, что этот человек клеймится как один из Них. Легко забыть, что этот процесс есть гипотеза, допустить, что это факт, а тогда уж перейти к суждению, что человек биологически плохо приспособляем и, как таковой, патологичен. Но социальная приспособляемость к плохо функционирующему обществу может быть весьма опасна. В совершенстве приспособленный пилот бомбардировщика может представлять собой большую угрозу человеческому роду, чем госпитализированный шизофреник с манией, что внутри него находится бомба. Возможно, наше общество само стало биологически плохо функционировать, и некоторые формы шизофренического отчуждения от отчуждения общества могут обладать социобиологической функцией, которую мы еще не распознали. Это верно, даже если некий генетический фактор предрасполагает к определенным видам шизофренического поведения. Современная критика работ по генетике и самые последние эмпирические исследования по генетике оставляют этот вопрос открытым.

Несколько лет назад Юнг предположил, что было бы интересно экспериментально проследить, наблюдается ли синдром психиатрии в семьях. Вполне можно обнаружить с помощью тех же самых методов патологический процесс, названный «психиатрозом», являющийся поддающейся описанию сущностью с соматическими коррелятами и психическими механизмами, с унаследованной или, по крайней мере, конституциональной базой, естественной историей и сомнительным прогнозом.

Наиболее глубокие достижения в психиатрии последнего времени переопределили основные категории и допущения самой психиатрии. Мы сейчас находимся в переходной стадии, где до некоторой степени все еще продолжаем использовать старые мехи для нового вина. Нам приходится решать, употреблять ли старые термины по-новому или выбросить их в мусорное ведро истории.

Нет такого «состояния», как «шизофрения», но этот ярлык является социальным фактом, а социальный факт — политическим событием [39]. Это политическое событие, происходящее в гражданском порядке общества, накладывает свои определения и следствия на заклейменную личность. Именно социальное предписание рационализирует набор социальных действий, посредством которых заклейменная личность аннексируется другими,

имеющими законные санкции, медицинские средства и моральные обязательства стать ответственными за заклейменную личность. Заклейменной личности придается не только роль, но и карьера пациента взаимными действиями коалиции («заговора») семьи, государственных служащих, работников здравоохранения, психиатров, медсестер, а часто и собратьев пациентов. «Вверенная» личность, заклейменная в качестве пациента, а особенно в качестве «шизофреника», низводится с полного экзистенциального и легального статуса человека и ответственной личности; такой человек уже не обладает собственным определением самого себя, он не способен сохранять собственное имущество, ему не позволяют по собственному усмотрению делать то, что он хочет, и встречаться с теми людьми, с которыми он хочет. Время уже не принадлежит ему самому, а место, в котором он находится, он уже не может выбирать. После того как он подвергается церемонии низведения [17], известной как психиатрическое обследование, он лишается своих гражданских свобод и помещается в заключение в учреждение [18], известное как больница для «душевнобольных». Более полно и более радикально, чем где бы то ни было в нашем обществе, он делается недействительным в качестве человеческого существа. Он должен оставаться в психиатрической больнице до тех пор, пока его ярлык не будет аннулирован или изменен на «исправившийся» или «освободившийся». Став «шизофреником», человек вечно должен рассматриваться как «шизофреник».

Почему и как это происходит? И какие функции выполняет данная процедура в установлении общественного порядка? Эти вопросы лишь начинают задавать, а время ответов еще не наступило. Вопросы и ответы пока сосредотачивались на семье в качестве социальной подсистемы. С социальной точки зрения данная работа теперь должна обратиться к дальнейшему пониманию не только внутренних беспорядочных и вызывающих беспорядок моделей общения в семьях, процедур двойной связи, псевдовзаимности, того, что я назвал мистификациями и незащищенными положениями, но также и смысла всего того, что находится в более широком контексте общественного порядка — то есть политического порядка, способов, посредством которых личности осуществляют контроль друг над другом.

Некоторые люди, заклейменные как шизофреники (не все и не обязательно), проявляют себя в словах, жестах и действиях (лингвистически, паралингвистически и кинетически) не совсем обычно. Порой (не всегда и не обязательно) такое необычное поведение (воспринимаемое нами — другими, как я уже говорил, посредством зрения и слуха) выражает, вольно или невольно, необычные переживания, которые испытывает этот человек. Порой (не всегда и не обязательно) такие необычные переживания, выражаемые посредством необычного поведения, оказываются частью потенциально организованной, естественной последовательности переживаний.

Такой последовательности очень редко предоставляется возможность осуществиться, потому что мы чересчур заняты «лечением» пациента, будь то химиотерапией, шоковой терапией, групповой терапией, психотерапией, семейной терапией — в данное время, порой, в самых лучших и усовершенствованных заведениях большим количеством всего этого.

То, что мы порой видим у некоторых людей, которых заклеймили и «лечим» как шизофреников, является поведенческим выражением некоей драмы переживания. Но мы наблюдаем эту драму в искаженном виде, который наши терапевтические усилия стремятся еще больше исказить. Итогом такой неудачной диалектики является fbrme fniste потенциально естественного процесса, которому мы не даем возможности осуществиться.

Характеризуя эту последовательность в общих чертах, я буду писать всецело о последовательности переживания. Поэтому мне придется пользоваться языком переживания. Очень многие люди чувствуют, что должны переводить «субъективные» события в «объективные» термины для того, чтобы выглядеть научно. Быть подлинно научным — значит обладать языком выбранной области реальности. Так что в дальнейшем я буду использовать язык переживания для описания событий, происходящих в переживании. При этом я буду описывать подробно не отдельные события, а последовательность в целом с разных точек зрения и использовать для этого многообразие средств. Я предполагаю, что

именно таков естественный процесс, который наша терапия, умеющая наклеивать ярлыки и имеющая добрые намерения, стремится исказить и остановить.

Начнем опять-таки с расщепления нашего переживания на то, что представляется двумя мирами — внутренним и внешним.

Нормальное положение вещей заключается в том, что мы Мало знаем о любом из них и отчуждены от обоих;

но мы знаем, вероятно, чуть больше о внешнем, нежели о внутреннем. Однако тот факт, что вообще необходимо говорить о внешнем и внутреннем, предполагает, что уже произошел некий исторически обусловленный раскол и внутреннее уже лишено сущности, а внешнее — значения.

Нам нельзя ничего не знать о «внутреннем» мире. Мы не осознаем его существования большую часть времени. Но многие люди входят в него — к несчастью, без проводников, путая внешнюю реальность с внутренней, а внутреннюю с внешней — ив общем теряют способность функционировать как следует при обычных взаимоотношениях.

Этого не должно быть. Процесс вхождения в иной мир из сего мира и возвращения в сей мир из мира иного так же естественен, как смерть, роды и рождение. Стоит ли удивляться, что в современном нам мире, который и пугается, и не осознает иного мира, когда «реальность» — ткань сего мира — разрывается, а личность входит в иной мир, она совершенно потеряна и напугана, а у других встречает лишь непонимание.

Некоторые люди умышленно, некоторые неумышленно входили или были брошены более или менее полно во внутреннее пространство и время. Мы же в соответствии с социальной обусловленностью полностью погружены во внешнее пространство и время как нормальное и здоровое. Погружение во внутреннее пространство и время рассматривается как антиобщественное бегство, патологическое само по себе, необоснованное и в некотором смысле позорное.

Порой, после того как человек прошел сквозь зеркало, сквозь игольное ушко, эта территория признается потерянным домом, но большинство людей находятся во внутреннем пространстве и времени как на незнакомой территории, они — в испуге и смятении. Они потерялись. Они забыли, что бывали там раньше. Они хватаются за химеры. Они пытаются сохранить манеру поведения, скрывая свое смятение, посредством проекции (наложения внутреннего на внешнее) и интроекции (введения внешних категорий во внутреннее). Они не понимают, что происходит, и, похоже, никто их не просветит.

Мы неистово защищаемся даже от всех переживаний нашего ограниченного эго. Между тем насколько сильнее должны мы переживать страх, смятение и «защиты» в ответ на угрозу потери эго. Нет ничего существенно патологического в переживании потери эго, но, возможно, очень трудно найти живой контекст для такого путешествия.

Это путешествие переживается как движение дальше «внутрь», как возвращение назад через личностную жизнь — внутрь и назад, через и за — в переживание всего человечества, первого человека, Адама и, вероятно, даже еще дальше — в бытие животных, растений и минералов.

Во время этого путешествия имеется множество возможностей для потери пути, смятения, частичной неудачи, даже для окончательного крушения: много ужасов, духов, демонов, с которыми встретишься и которых то ли одолеешь, то ли нет.

Мы не рассматриваем в качестве патологической тягу к исследованию джунглей или к восхождению на Эверест. Мы чувствуем, что Колумб имел право ошибиться в своем суждении о том, что он открыл, когда достиг Нового Света. Мы гораздо больше удалены от ближайших подступов к бесконечным границам внутреннего пространства, чем от границ пространства внешнего. Мы уважаем путешественника, исследователя, покорителя вершин, космонавта. Для меня же гораздо больший смысл имеет в качестве актуального проекта — на самом деле настоятельно необходимого нашему времени проекта — исследование внутреннего пространства и времени сознания. Вероятно, это одна из немногих вещей, все еще имеющих смысл в нашем историческом контексте. Мы настолько удалены от этой

области, что многие люди сегодня могут серьезно спорить о том, что ее не существует. Неудивительно, что в самом деле опасно исследовать такое затерянное царство. Ситуация, которую я описываю, точно такая же, как если бы мы почти полностью потеряли все знания о том, что называем внешним миром. Что бы произошло, если некоторые из нас затем вновь начали бы видеть, слышать, осязать и обонять? Мы были бы в большем смятении, чем личность, которая вначале видит лишь смутные черты этого мира, а затем входит во внутреннее пространство и время. Именно туда часто уходит сидящий в кресле человек, называемый кататоником. Он вообще не здесь, он всецело там. Зачастую он весьма ошибочно воспринимает то, что переживает, а возможно, и не хочет этого переживать. Может быть, он действительно потерялся. Лишь некоторые из нас знают территорию, на которой он потерялся, знают, как его найти и вернуть.

Вероятно, ни одна эпоха в истории человечества не теряла до такой степени контакта с естественным процессом лечения, подразумевающим некоторых людей, называемых шизофрениками. Ни один век не обесценил так этот процесс, ни один век не наложил на него таких запретов, как наш. Вместо больницы для душевнобольных — своего рода ремонтного завода для людей — нам нужно место, где люди, далеко путешествовавшие и, следовательно, более потерянные, чем психиатры и другие здоровые люди, могут продвинуться дальше во внутреннее пространство и время и вернуться назад. Вместо церемонии деградации психиатрического обследования, диагностирования и прогнозирования нам нужно подготовить для тех, кто к этому готов (согласно психиатрической терминологии, для тех, у кого вот-вот будет шизофренический срыв), церемонию инициации, через которую личность пройдет при полном общественном одобрении, погрузится во внутреннее пространство и время и вернется назад с помощью тех, кто там уже был. Говоря с психиатрической точки зрения, это бы явилось помощью бывших пациентов пациентам будущим по схождению с ума. Вот что тогда последует:

I) путешествие из внешнего во внутреннее,
II) от жизни к своего рода смерти,
III) от движения вперед к движению назад,
IV) от временного движения к временной остановке,
V) от земного времени к времени вечному,
VI) от эго к «я»,
VII) от бытия вовне (после-рождение) назад в лоно всего сущего (до-рождение),
а затем последовательно обратное путешествие
1) от внутреннего к внешнему,
2) от смерти к жизни,
3) от движения назад к движению опять-таки вперед,
4) от бессмертия к неизбежности смерти,
5) от вечного ко времени,
6) от «я» к эго,
7) от космического утробного состояния к экзистенциальному перерождению.

Я оставлю желающим перевести перечисленные выше элементы такого совершенно естественного и необходимого процесса на жаргон психопатологии и клинической психиатрии. Вероятно, именно таким путем следует нам всем пройти в той или иной форме. Этот процесс мог бы выполнять существенную функцию в подлинно душевно здоровом обществе.

Я перечислил очень кратко не более чем заголовки для обширного изучения и понимания естественной последовательности переживания, которая в некоторых случаях скрывается, искажается и приостанавливается ярлыком «шизофрения» с дополнительными смыслами патологии и следствиями болезни-которуто-надо-лечить.

Скорее всего, мы научимся относиться к так называемым шизофреникам, вернувшимся к нам, вероятно, через несколько лет, с не меньшим уважением, чем к пропавшим исследователям Возрождения. Если человечество выживет, люди будущего, подозреваю я,

оглянутся на нашу просвещенную эпоху как на настоящий век Мрака. Они, по-видимому, будут способны посмаковать иронию такой ситуации с большим восторгом чем тот, что извлекаем из нее мы. Смейтесь над нами Они увидят, что называемое нами «шизофренией» было одним из способов, которым — часто через совершенно заурядных людей — свет начал пробиваться сквозь трещины в наши чересчур закрытые головы.

Слово «шизофрения» когда-то стало новым названием для dementia praecox — медленно протекающей и незаметно подкрадывающейся болезни, которой, в частности, были подвержены молодые люди и которая доводила их в конце концов до полного слабоумия.

Вероятно, мы все еще можем сохранить это теперь уже старое название и вчитаться в его этимологию: schizo — «раскалываю», phrenos — «душа, или сердце».

В данном смысле шизофреник — это тот, у кого разбито сердце, а давно известно, что даже разбитые сердца можно починить, если у нас есть сердце впустить их.

Но «шизофрения» в таком экзистенциальном смысле имеет очень мало общего с клиническим обследованием, диагнозом, прогнозом и предписанием терапевтического лечения «шизофрении».

VI. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Мы живем в век, когда почва уходит из-под ног и сотрясаются основы. Я не могу отвечать за другие времена. Возможно, так было всегда. Но мы знаем, что для сегодняшнего дня это верно.

При таких обстоятельствах у нас есть причины чувствовать себя не в безопасности. Когда под вопросом находится основа нашего мира, мы скрываемся в различные убежища, мы ищем их в ролях, статусах, индивидуальностях, межличностных отношениях. Мы пытаемся жить в замках, которые могут быть лишь воздушными, поскольку в социальном космосе твердой почвы нет. Все мы являемся свидетелями такого положения вещей. Порой каждый видит один и тот же фрагмент всей ситуации различно; зачастую мы увлечены несовпадающими представлениями об изначальной катастрофе.

В этой главе я хочу связать трансцендентальное переживание, порой прорывающееся при психозе, с теми переживаниями божественного, которые суть живой источник любой религии.

В последней главе я обрисую способ, которым некоторые психиатры начинают аннулировать клинико-медицинские категории понимания безумия. Если мы сможем понять душевное здоровье и безумие с экзистенциально-социальной точки зрения, мы станем способны более отчетливо увидеть, до какой степени мы все сталкиваемся с общими проблемами и разделяем общие дилеммы.

Переживание может расцениваться как недействительно безумное или как действительно мистическое. Различить нелегко. В любом случае с социальной точки зрения эти оценки характеризуют такие формы поведения, которые рассматриваются в нашем обществе как отклонение от нормы. Люди ведут себя так или иначе потому, что они по-разному переживают самих себя. Я хочу сосредоточиться на экзистенциальном значении такого необычного переживания.

Психотическое переживание уходит за границы нашего здравого, то есть здорового, смысла.

К каким областям переживания оно ведет? Из него следует потеря обычных основ «смысла» мира, которые мы разделяем друг с другом. Тогда старые цели более не кажутся жизнеспособными; старые значения — бессмысленны; различия между воображением, сновидением, внешним восприятием часто кажутся несопоставимыми. Внешние события могут показаться вызванными чудесным образом, сны могут показаться непосредственным сообщением от других, воображаемое может показаться объективной реальностью.

Но самое существенное заключается в том, что сотрясаются онтологические основы. Бытие явлений сдвигается, а явления бытия могут более не представляться такими, как

прежде. Исчезает всякая поддержка, не за что ухватиться, разве что за какие-то обломки — воспоминания, имена, звуки, пара предметов, — что сохраняют связь с давно потерянным миром. Этот вакуум, возможно, не пуст. Он может быть населен видениями, голосами, призраками, странными образами и формами. Человек, который не испытал, насколько несущественным может вдруг стать маскарад внешней реальности, насколько он может потускнеть, не способен полностью представить себе, какое возвышенное и гротескное общество может его заместить или может существовать наряду с ним.

Когда человек сходит с ума, наблюдается значительное перемещение его положения по отношению ко всем областям бытия. Центр его переживания передвигается от эго к «я». Земное время становится чисто эпизодическим, существенно только вечное. Однако сумасшедший находится в смятении. Он путает это с «я», внутреннее с внешним, естественное со сверхъестественным. Тем не менее для нас он может быть, даже посредством своего явного крушения и распада, проявлением священного. Он изгнан со сцены бытия, он — чужак, посторонний, подающий нам сигналы из пустоты, в которой он тонет, — некой пустоты, которая может быть населена существами, о которых мы даже не мечтаем. Их обычно называют демонами и духами, и они были некогда известны и названы. Он потерял свое ощущение «я», свои чувства, свое место в мире, каким мы тот знаем. Он говорит нам, что он — мертв. И мы отвлечены от нашей уютной безопасности этим безумным призраком, который преследует нас своими видениями и голосами, кажущимися такими бессмысленными, и от которых, по нашим ощущениям, мы вынуждены его избавить, очистить, излечить.

Сумасшествие — не обязательно разрыв. Оно может стать также и прорывом. Потенциально это освобождение и обновление, но также порабощение и экзистенциальная смерть.

Сегодня существует все возрастающее число рассказов людей, прошедших через переживание сумасшествия.

Приведенное ниже — отрывок одного из самых ранних современных отчетов, как он был записан Карлом Ясперсом в его «Общей психопатологии».

«Я считаю, что вызвал болезнь сам. При своих попытках проникнуть в иной мир я встретил его естественных стражей, воплощение собственной слабости и ошибок. Сначала я думал, что эти демоны — низшие обитатели иного мира, которые могут играть мной как мячом, потому что я вошел в эти края неподготовленным и заблудившимся. Позднее я подумал, что они — отколовшиеся части моего собственного разума (страсти), которые существуют близ меня в свободном пространстве и процветают на моих чувствах. Я считал, что они есть у всех, но люди не воспринимают их благодаря удачному защитному обману чувств личностного существования. Я думал, что последние — артефакты памяти, мыслительных комплексов и т. п., кукла, очень радующая глаз внешним видом, но не имеющая ничего внутри.

В моем случае личностное „я“ стало пористым из-за моего замутненного сознания. Посредством его я хотел подвести себя ближе к высшим источникам жизни. Я должен был готовить себя к этому в течение длительного времени, вызывая в себе высшее, безличное „я“, так как „нектар“ — не для уст смертного. Это воздействовало разрушительно на животно-человеческое „я“, раскололо его на части. Постепенно разрушаемая кукла была действительно сломана, а тело повреждено. Я добился несвоевременного восхождения к „источнику жизни“, и на меня обрушилось проклятие „богов“. Я понял слишком поздно, какие темные стихии приложили здесь руку. Мне пришлось познать их после того, как у них оказалось уже слишком много сил. Пути назад не было. Теперь у меня был мир духов, который я хотел увидеть. Демоны выходили из пропасти, словно стражи Церберы, не допуская к неразрешенному. Я решил вступить в. борьбу не на живот, а на смерть. Для меня в итоге это означало решение умереть, так как мне пришлось отстранить все, что поддерживало врага, но все это также поддерживало и жизнь. Я хотел войти в смерть, не сходя с ума, и встал перед Сфинксом: либо ты в бездне, либо я!

Затем пришло озарение. Я постился и этим путем проник в истинную природу своих соблазнителей. Они были сводниками и обманщиками моего дорогого личностного „я“, которое оказалось настолько же ничтожной вещью, как и они. Появилось более крупное и понимающее „я“, и мне удалось оставить старую личность со всей ее свитой. Я увидел, что эта прежняя личность никогда не смогла бы войти в трансцендентальные царства. Я ощущал в итоге ужасную боль, словно уничтожающий все взрыв, но я был спасен, демоны испарились, исчезли, умерли. Для меня началась новая жизнь, и с этого времени я чувствовал себя отличным от других людей. „Я“, состоявшее из условной лжи, притворства, самообмана, образов воспоминаний, „я“ такое же, как у всех других людей, опять росло во мне, но за и над ним стояло более значительное и понимающее „я“, внушавшее мне нечто вечное, неизменное, бессмертное, нерушимое, которое с этого времени навсегда стало моим защитником и убежищем. Я считаю, что для многих было бы лучше, если бы они встретились с таким высшим „я“, и что есть люди, на самом деле достигшие этой цели более легкими средствами».

Ясперс комментирует:

«Такое самоистолкование, очевидно, сделано под влиянием склонностей, сходных с манией, и глубоких психических сил. Они исходят из глубоких переживаний, и богатство такого шизофренического переживания призывает наблюдателя, а также и размышляющего пациента не воспринимать все это просто как хаотичную смесь сущностей. Разум и дух присутствуют в болезненной психической жизни так же, как и в здоровой. Но истолкования такого рода, должно быть, лишены какой-либо причинной значимости. Все, что они могут сделать, это лишь бросить свет на некое содержание и ввести его в определенный контекст».

Пациент все описал с большой ясностью, которую бы я не смог усилить, — это очень древнее приключение со своими ловушками и опасностями. Ясперс все еще говорит о таком переживании как болезненном и стремится принизить собственные построения пациента. Однако и переживание, и построения могут быть обоснованы с их собственной точки зрения.

Мне кажется, что определенные трансцендентальные переживания являются первичными источниками всех религий. У некоторых людей с психозами бывают трансцендентальные переживания. Нередко до психоза у них подобных переживаний не было, и часто их не бывает впоследствии. Я не говорю, однако, что психотическое переживание с необходимостью содержит такой элемент более явно, нежели здоровое.

Наши переживания различны. Мы воспринимаем внешние реальности, видим сны, воображаем, полусознательно грезим. У некоторых бывают видения, галлюцинации, они переживают преображенные лица, видят ауры и т. п. Большая часть людей большую часть времени переживает себя и других тем или иным способом, который я назову эгоическим. То есть центрально или периферически они переживают мир и самих себя с точки зрения связной индивидуальности: я-здесь против вас-там, в рамках определенных основополагающих структур пространства и времени, разделяемых с другими членами общества.

Такое прикрепленное к индивидуальности, привязанное к пространству-времени переживание было исследовано философски Кантом, а позднее такими феноменологами, как Гуссерль и Мерло-Понти. Его историческая и онтологическая относительность должна быть полностью осознана каждым современным исследователем гуманитарных областей. Его культурная и социально-экономическая относительность стала избитым местом у антропологов и пошлостью у марксистов и неомарксистов. Но, однако, вместе консенсуальным и межличностным подтверждением она дает нам ощущение онтологической уверенности и безопасности, чью обоснованность мы переживаем как самообоснованность, хотя с метафизическо-историческо-онтологичес-ко-сопиально-экономическо-культурной точки зрения мы понимаем, что ее явная абсолютная обоснованность есть иллюзия.

Фактически все религии и все экзистенциальные философии сошлись во мнении, что такое эгоическое переживание есть первичная иллюзия, завеса, покрывало майи: сновидение, по Гераклиту и Лао-Цзы, — фундаментальная иллюзия всего буддизма, состояние сна,

смерти, социально принимаемое безумие, утробное состояние, в которое нужно умереть, из которого нужно родиться.

Личность, проходящая через потерю эго или трансцендентальное переживание, может быть или не быть некоторым образом сбита с толку. Следовательно, ее законно можно рассматривать как сумасшедшую. Но быть сумасшедшим не значит обязательно быть больным, несмотря на то, что в нашей культуре эти две категории смешиваются. Предполагается, что если личность — сумасшедшая (что бы это ни значило), то ipso facto она — больна (что бы это ни значило). Переживание, которое личность может впитывать, пока для других она является просто сумасшедше-больной, может быть для нее настоящей манной небесной. Вся жизнь личности может измениться, но трудно не засомневаться в обоснованности такого взгляда. К тому же не все возвращаются назад.

Может, эти переживания являются просто зарницами патологического процесса и определенного отчуждения? Я так не думаю.

В некоторых случаях человек, слепой от рождения, может в результате операции обрести зрение. Нередко итогом этого является страдание, смятение, дезориентация. Свет, озаряющий сумасшедшего, — неземной свет. Это не всегда искаженное преломление ситуации его земной жизни. Он может быть облучен светом иных миров. Они могут его сжечь.

По существу, этот «иной» мир не есть поле, на котором в иллюзорную битву вовлечены психологические силы, отклоненные, смещенные или вытесненные от своего изначального объекта, — хотя такие силы могут затемнять эти реальности, как они могут затемнять и так называемые внешние реальности. Когда Иван в «Братьях Карамазовых» говорит: «Если Бога нет, значит, все дозволено», он не говорит: «Если мое супер-эго, в спроецированной форме, может быть уничтожено, значит, я могу делать все что угодно со спокойной совестью». На самом деле он говорит:

«Если существует только моя совесть, значит, не существует высшей обоснованности для моей воли».

Среди врачей и священнослужителей должны быть те, кто стал бы проводниками, кто смог бы вывести личность из сего мира и ввести в иной. Проводить и возвратить обратно.

В иной мир входят, раскалывая скорлупу; или через дверь; через перегородку; занавес, раздвинутый или поднятый; приоткрытый покров. Семь покровов: семь печатей, семь небес.

Эго есть орудие для жизни в сем мире. Если эго сломано или разрушено (непреодолимыми противоречиями определенных житейских ситуаций, ядами, химическими изменениями и т. д.), то личность может перенестись в иные миры. «реальные» в несколько другом плане, нежели более знакомые территории сновидения, воображения, восприятия или фантазии.

Мир, в который входит человек, его способность переживать этот мир, по-видимому, отчасти обусловлены состоянием это.

Наше время отличается стремлением к управлению главным образом внешним миром и почти полным забвением мира внутреннего. Если оценивать эволюцию человечества в точки зрения знания о внешнем мире, то мы во многих отношениях прогрессируем.

Если же нашу оценку производить с точки зрения внутреннего мира и единства внутреннего и внешнего, то вывод должен быть совсем иным.

С феноменологической точки зрения термины «внутренний» и «внешний» мало обоснованы. Во всей этой области человек сведен к чисто вербальным средствам: слова — просто палец, указывающий на луну. Одна из трудностей разговора об этих предметах сегодня заключается в том, что само существование внутренних реальностей поставлено под вопрос.

Под «внутренним» я подразумеваю способ видения внешнего мира и всех тех реальностей, что не обладают «внешним», «объективным» присутствием, — воображение, сновидения, фантазии, трансы, реальности созерцательных и медитативных состояний, реальности, о которых современный человек по большей части не имеет ни малейшего

представления.

Например, в Библии нигде нет никаких доводов в пользу существования богов, демонов, ангелов. Люди не сначала «верят в» Бога: они переживают его Присутствие, что верно и в отношении других духовных сил. Вопрос состоял не в том, существует ли Бог, а в том, является ли данный Бог величайшим из всех богов или единственным Богом; и какова связь между различными духовными силами. Сегодня же идут публичные дебаты не о надежности Бога, не о месте в духовной иерархии различных духов и т. п., а о том, существует ли Бог и подобные духи или существовали ли они.

Душевное здоровье сегодня, по-видимому, основывается главным образом на способности адаптироваться к внешнему миру — межличностному миру и сфере человеческих коллективов.

Так как внешний мир человека почти целиком и полностью отчужден от внутреннего, любое непосредственное личное знание о внутреннем мире уже рискованно.

Но поскольку общество, не зная об этом, жаждет внутреннего, требование к людям вызвать его «безопасным» образом, таким образом, который не должен восприниматься серьезно и т. д., ужасно — как в равной степени и противоположное. Неудивительно, что перечень художников, скажем, за последние сто пятьдесят лет потерпевших крушение на этих рифах, столь велик — Гельдерлин, Джон Клер, Рембо, Ван Гог, Ницше, Антонен Арто…

Выжившие обладали исключительными качествами — способностью к скрытности, лукавству, хитрости, то есть щепетильно реалистичной оценкой опасностей, которых они избежали, — опасностей не только духовных областей, в которых они побывали, но и ненависти своих собратьев по отношению к любому, кто оказался в такой переделке.

Давайте вылечим их. Поэта, путающего реальную женщину со своей Музой и действующего соответственно… Юношу, отплывающего на яхте в поисках Бога…

Внешнее, отлученное от какого-либо сияния внутреннего, находится во мраке. Мы живем в век тьмы. Состояние внешней тьмы есть состояние греха — то есть отчуждения, или отстранения, от внутреннего света. Некоторые действия ведут к еще большему отстранению; определенные другие помогают человеку не уноситься так далеко. Первые прежде назывались грешными.

Способов потерять собственный путь — легион. Безумие — определенно не самый недвусмысленный. Контрбезумие психиатрии Крепелина — точное противопоставление «официальному» психозу. Буквально и абсолютно серьезно она безумна, если под безумием мы понимаем любое радикальное отстранение от всеобщности того, в чем суть. Вспомните объективное безумие Киркегора.

Как мы переживаем мир, так мы и действуем. Мы ведем себя в свете нашего взгляда на то, что есть суть, а что — не суть. То есть каждая личность — более или менее наивный онтолог. У каждой личности есть взгляды на то, что есть, а чего — нет.

Мне кажется, несомненно, что за последнюю тысячу лет в переживаниях человека произошли глубокие перемены. Некоторым образом они более очевидны, нежели перемены в моделях его поведения. Есть все, чтобы предполагать, что человек переживал Бога. Вера никогда не являлась вопросом о том, существует ли Он, но верованием в Присутствие, которое переживалось, и было известно, что оно существует в качестве самообосновывающей данности. Очень похоже на то, что многие люди в наше время не переживали Присутствие Бога или Присутствие Его отсутствия, но лишь отсутствие Его Присутствия.

Нам нужна история явлений, а не просто — больше явлений истории.

Светский психотерапевт часто находится, так сказать, в роли слепца, ведущего наполовину слепого.

Источник сам по себе не иссяк, пламя все еще горит, река все еще течет, ключ все еще бьет, свет не померк. Но между нами и Нечто — покров более чем в пятнадцать метров железобетона. Deus absconditus. Или скрылись мы.

В наше время все направлено на категоризацию и сегрегацию этой реальности от объективных фактов. Это подобно бетонной стене. Интеллектуально, эмоционально, межличностно, организационно, интуитивно, теоретически мы должны пробить эту твердую стену — даже с риском хаоса, безумия и смерти. Нет никаких заверений, никаких гарантий.

Многие люди подготовлены к вере в смысле научно недоказуемого верования в непроверенную гипотезу. У некоторых есть достаточно надежды, чтобы ее проверить. Многие люди создают в воображении то, что они переживают. Некоторые созданы для того, чтобы верить согласно своему переживанию. Павел из Тарса был схвачен за шиворот, брошен на землю и ослеплен на три дня. Такое непосредственное переживание самообосновывающе.

Мы живем в светском мире. Чтобы приспособиться к этому миру, ребенок отрекается от своего восторга. («L'enfant abdique son extase». Малларме.) Мы ждем веры, потеряв наше переживание духа. Но такая вера должна стать верованием в реальность, которая не очевидна. У Амоса есть пророчество, что время будет, когда на земле наступит голод, «не голод хлеба, не жажда воды, но жажда слышаний слов Господних». Такое время сейчас пришло. Это — настоящее.

С отчужденной отправной точки нашего псевдоздоровья все — едино. Наше здоровье не есть «истинное» здоровье. Их безумие не есть «истинное» безумие. Безумие наших пациентов — артефакт распада, обрушенного на них нами и ими самими на себя. Не нужно предполагать, что мы уже не встретим больше «истинного» безумия, как и то, что мы — поистине здоровы. Безумие, которое мы встречаем у пациентов, — это грубая пародия, гротескная карикатура на то, чем может стать, естественное лечение той отстраненной целостности, которую мы называем здоровьем. Истинное здоровье, так или иначе, влечет за собой разложение нормального эго, которое ложное «я» полноправно приспосабливает к нашей отчужденной социальной реальности: появление «внутренних» архетипических посредников божественной силы, а через эту смерть — перерождение и окончательное установление нового вида функционирования эго; эго ныне — слуга божественного, а не его предатель.

VII. ДЕСЯТИДНЕВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Сейчас Джесси Уоткинс — хорошо известный скульптор. Я рад, что он является моим другом.

Он родился 31 декабря 1899 года. Во время первой мировой войны он отправился в море на грузовом пароходе, это было в 1916 году. Его первый рейс был па север России. В том же году его судно было торпедировано в Средиземном море. В 1932 году он служил на одном паруснике.

Вторую мировую войну он завершил (тогда он служил на Королевском военно-морском флоте) в чине капитана 3-го ранга начальником берегового конвоя. За время своей карьеры на море он был свидетелем кораблекрушения, бунта на корабле и убийства.

Он рисовал с раннего детства и постоянно занимался этим в море. Во время кратких пребываний на суше он спорадически посещал занятия в Голдсмитсовском колледже и Художественной школе Челси. Он также писал и опубликовал несколько морских рассказов.

Двадцать семь лет назад Уоткинс прошел через «психотический эпизод», длившийся десять дней. Я записал на магнитофон разговор с ним об этом в 1964 году, и с ею разрешения здесь приводятся выдержки из него.

Материал говорит сам за себя. Это отчет о его путешествии во внутреннее пространство и время. Основные черты описания не являются необычными, необычно здесь то, что он в состоянии дать такой ясный отчет об этом. Хотя эти события произошли двадцать семь лет тому назад, они живо сохранились в его памяти и представляют собой одно из самых значительных переживаний всей его жизни.

Прелиминарии

До начала своего путешествия Джесси «перенесся в совершенно новую обстановку». Он работал по семь дней в неделю до позднего вечера. Он чувствовал себя физически, эмоционально и духовно на «отливе». Поскольку здесь нас интересует само путешествие, мы не будем более подробно вдаваться в предшествующие тому обстоятельства. Потом его укусила собака, и рана не заживала. Он пошел в больницу, где ему впервые в жизни сделали общую анестезию и перевязали рану.

Он вернулся домой на автобусе и сел в кресло. В комнату вошел его семилетний сын, и Джесси увидел его как-то странно и по-новому, неким образом неотдаленным от самого себя.

Затем все началось.

Путешествие

«…Внезапно я посмотрел на часы, а радио было включено, и играла музыка… гм… о, какая-то популярная музыка. Она основывалась на ритме трамвая. Таа-та-та-таа-таа — нечто вроде повторяющейся мелодии Равеля. А когда это произошло, я внезапно почувствовал, будто время течет вспять. Я чувствовал, что время течет вспять, у меня было это необычайное ощущение… э-э… самое сильное ощущение в Ц тот момент у меня заключалось в том, что время течет в обратную сторону…

Я чувствовал это настолько сильно, что посмотрел на часы и каким-то образом ощутил, что часы подкрепляют мое собственное мнение о том, что время течет вспять, хотя я не видел, чтобы стрелки двигались… Я ощутил тревогу, потому что вдруг почувствовал, будто движусь куда-то на своего рода конвейере… и не могу ничего с этим поделать, будто качусь и скольжу куда-то вниз… так сказать, спускаюсь с парашютом и… э-э… не могу сам остановиться. И… гм… меня охватила паника… Я помню, что вошел в другую комнату, чтобы понять, где я нахожусь, взглянуть на свое собственное лицо, но в той комнате не было зеркала. Я пошел в следующую комнату и посмотрел на себя в зеркало, и я выглядел как-то странно. Казалось, будто я смотрю на кого-то, кто… кого-то, кто мне знаком, но… э-э… какой-то очень странный и отличается от меня… а потом у меня возникло необычное ощущение, что я вполне могу сделать с собой все что угодно, что я управляю… всеми своими способностями, телом и всем остальным… и я начал что-то бессвязно болтать».

Человек видит старое и знакомое как-то странно и по-новому. Зачастую словно впервые. Старые привязки потеряны. Он возвращается назад во времени. Он пускается в древнейшее на свете путешествие.

«Моя жена очень… гм… обеспокоилась. Она вошла и велела мне сесть или лечь в постель, а поскольку она очень встревожилась, она попросила прийти нашего соседа. Он служил на гражданской службе, и он тоже был слегка встревожен и стал меня успокаивать, а я что-то ему болтал, и тут появился врач… гм… а я долго рассказывал ему о своем ощущении, что время течет вспять. Конечно же, для меня оно выглядело вполне разумно. Я возвращался назад и думал, что возвращаюсь в какое-то предыдущее существование, но очень смутно. А они, очевидно, смотрели на меня так, будто я сошел с ума. Я ощущал… я видел выражение их лиц и ощущал, что бесполезно говорить им все это, потому что они, очевидно, думают, что я рехнулся, что вполне могло быть. А затем приехала „скорая помощь“, и меня забрали…»

Его направили на обследование.

«Меня положили в постель и… гм… в общем, я помню, что в ту ночь я испытал ужасное переживание, потому что у меня… у меня было ощущение, что… гм… что я был… что я умер. И я ощущал, что вокруг меня на койках находятся другие люди, и я подумал, что все эти люди умерли… и они… просто ждут, чтобы перейти в следующее помещение…»

Он не умер физически, но его эго умерло. Наряду с потерей эго, с этой смертью появилось ощущение увеличивающейся значимости и важности всего сущего.

Потерю эго можно спутать с физической смертью. Спроецированные образы собственного разума могут переживаться как преследующие человека. Собственный разум, лишенный эго, можно спутать с собственным эго и т. д. При таких обстоятельствах человек

может паниковать, стать параноиком с идеями отношения и влияния, стать обуреваем манией величия и т. п.

Подобная путаница не должна тревожить. Но кто может сказать, что он совершенно не боится смерти или что, если он станет искать свое сердце еще дальше, он не ощутит право умереть?

«…Потом я начал входить в это… настоящее ощущение обратного движения времени. У меня было совершенно необычное ощущение… жизни, не только жизни, но… э-э… ощущение и… э-э… переживание всего, связанного с чем-то, что я ощущал… в общем, как нечто, вроде животной жизни и тому подобное. Один раз мне действительно показалось, что я брожу по какой-то местности… гм… пустынной местности… будто я какое-то животное, точнее… точнее, какое-то крупное животное. Это звучит нелепо, но я ощущал, будто я носорог или что-то наподобие этого, и я издавал 1вуки, как носорог, и в то же самое время боялся, и в то же самое время был агрессивен и бдителен. А потом… гм… дальнейшее движение назад, и я даже просто боролся, как нечто, не имеющее вообще мозга, будто я просто борюсь за собственное существование против всего остального, противостоящего мне. И… гм… потом временами я ощущал себя будто ребенок… Я даже мог… я… я даже мог слышать, как плачу, будто ребенок…

Все эти ощущения были очень острыми и… гм… реальными, и в то же самое время я… я их осознавал, я помню их до сих' пор. Я осознавал происходящее со мной… как-то смутно, я вроде бы наблюдал за самим собой, но, однако, все это переживал. У меня были всевозможные ощущения… Поскольку прошло почти тридцать лет с тех пор, как я это пережил, все звучит слегка бессвязно, так как мне приходится вытаскивать это из памяти, но я хочу отметить, что рассказываю только то, что со мной произошло, и не приукрашиваю это с помощью своего воображения. Гм… я обнаружил, что у меня были периоды, когда я выходил из такого состояния, у меня были сравнительно ясные состояния, и я читал… я читал газеты, потому что мне давали газеты, но я не мог их читать, потому что все прочитанное вызывало массу ассоциаций. В смысле, я просто читал заголовок, и заголовок статьи вызывал у меня в голове многообразные ассоциации. Казалось, включалось все, что я читал, и все, что приковывало мое внимание, казалось, включало все, что я читал, — бах-бах-бах — неимоверным количеством ассоциаций, входящих в вещи, так что мне становилось трудно с ними бороться, и я не мог читать. Все, казалось, имело большую… намного большую значимость, чем обычно. Я получил письмо от жены. Я помню письмо, которое она мне послала, и она писала: „Здесь светит солнце“ и… э-э… „Прекрасный день“. Это одна фраза из письма. Там было большое количество других фраз, и я не могу вспомнить их все, и я не могу вспомнить все фразы в письме, вызвавшие у меня хоть какую-то реакцию, но я помню эту. Она написала: „Здесь светит солнце“. И я почувствовал, что, если бы было так — что это письмо от нее, то она находится в совершенно другом мире. Она была в мире, в котором я больше не мог жить, и это вьввало у меня ощущение тревоги, и я каким-то образом почувствовал, что я… ушел в некий мир, из которого никогда не сумею выбраться».

Хотя он и не находился в безопасной гавани собственной индивидуальности, связанной с данным временем и данным местом, путешественник все еще мог к тому же, отчетливо осознавать данное время и место.

«Знаешь, я очень хорошо осознавал самого себя и окружающую обстановку».

Джесси чувствовал, что усилил контроль над своим телом и мог воздействовать на других.

«…Когда я пошел в больницу, из-за этого ощущения, этого сильного ощущения способности… гм… управлять собой, своим телом и тому подобное, я сказал медсестре, которая хотела забинтовать мне палец: „Не нужно насчет этого волноваться“. Я снял повязку и сказал: „Завтра все будет в порядке, если вы вообще не будете этим заниматься, а просто оставите палец в покое“. И я помню, что у меня было страшное ощущение, что могу это сделать, — а рана была жуткая. Я не позволил перевязать палец, а мне сказали: „О, хорошо, он же не кровоточит“ — и оставили его в покое, а на следующий день он абсолютно зажил,

потому что… я вроде как уделял ему… э-э… напряженное внимание для того, чтобы это произошло. Я обнаружил, что я… я подвергаю себя испытанию человеком из моего отделения, который временами бывал очень шумным; он перенес множество жутких операций на брюшной полости, и, полагаю, это подействовало на него и, вероятно, вызвало у него нервное расстройство. Он обычно вставал с койки, ругался, матерился и прочее, а я ощущал в отношении него небольшую тревогу и сострадание к нему, и я обычно садился на кровати и заставлял его лечь, глядя на него и думая об этом, и обычно он ложился. И, пытаясь понять, было ли это… просто случайностью, я попробовал это также в то же самое время на другом пациенте, и обнаружил, что он… что я могу заставить его лечь».

Я не мог бы с легкостью не принять в расчет такую возможность.

«Я ощущал, что вроде как… гм… использую силы, которыми я каким-то смутным образом, по своим ощущениям, обладал или все обладали, хотя в то время я был моряком большую часть своей жизни, и я не… я читал очень мало, когда находился в море, и я не читал никакой эзотерической литературы ни тогда, ни после, я не читал ничего, что имело бы отношение к… э-э… идеям пер… переселения душ или, как вы там это называете, Пересе… перево… перевоплощения. Но временами у меня было ощущение предстоящего грандиозного путешествия, совершенно… э-э… фантастического путешествия, и казалось, что я обрел понимание вещей, которые в течение долгого времени пытался понять, проблем добра и зла и прочее, и я решил их настолько, что пришел к выводу, со всеми чувствами, которые у меня были в то время, что я больше, чем… больше, чем всегда себе представлял, что я существую не просто сейчас, но существовал с самого начала… э-э… с самой низшей жизненной формы до настоящего времени, и что это было суммой моих реальных переживаний, и что я теперь их вновь переживаю. А иногда передо мной открывался вид, будто я смотрю вниз… смотрю на огромный… или, точнее, на весь… не столько смотрю, сколько чувствую… передо мной открывается самое что ни на есть ужасное путешествие. Единственно я могу описать его как путешествие… путешествие х… гм… к самому последнему делу… гм… осознания всего… сущего, и я ощущал это столь сильно, и внезапно ощущение этого так пугало, что я тотчас же отгораживался от этого, потому что не мог это созерцать, потому что это меня как бы раскалывало. Я… это вгоняло меня в состояние страха, столь сильного, что я был не способен его воспринимать».

«Страх задачи, стоявшей перед тобой?»

«Да… ее огромности, того, что ее. нельзя избежать… нельзя не предпринять это путешествие. Полагаю, потому, что воспитывался в религиозной атмосфере, — моя мать была очень религиозной, не в церковном смысле слова, но религиозной… по-настоящему, пыталась учить нас с точки зрения религии… и… э-э… своего рода жизненной позиции…»

У него было «особо отчетливое ощущение», что все разделилось на три уровня: уровень прихожей, или вестибюля, центральный мир и высший мир. Большинство людей ждали в прихожей того, чтобы войти в следующее помещение, в которое он теперь вступил.

«…Они как бы пробуждались. Я также осознавал… гм… так сказать, некую высшую сферу. В смысле, я очень осторожен при употреблении таких выражений, потому что они использовались множество раз… знаешь же, люди говорят о сферах и всем прочем, но… э-э… единственное, что я чувствовал… и когда я описываю все это, я описываю скорее чувства… э-э… более глубокое переживание, чем при взгляде не вещь… осознание… гм… еще одной сферы, еще одного слоя существования, лежащего над… не только над прихожей, но и над настоящим… лежащего над ними двумя, своего рода трехслойное… гм… существование…»

«Какой из них самый нижний?»

«Самое нижнее — просто своего рода ожидание… наподобие зала ожидания».

Это было связано с переживанием времени.

«Я не просто жил в… движущемся мгновении, в настоящем, но я двигался и жил в… в другом временном измерении, добавленном к временной ситуации, в которой я нахожусь сейчас… Я хочу отметить, что у меня не было никакой идеологии. Единственной

идеологической частью того, о чем я рассказал, была часть, где я проходил через христианские посты, потому что в то время я вроде как связывал это с идеологией. Я часто думал о том, через что я тогда проходил. Я пытался это как-то… гм… осмыслить, потому что, по моим ощущениям, это не было бессмысленным. Хотя, полагаю, для окружавших меня я был… э-э… сумасшедшим настолько же, насколько я не жил в настоящем времени, а если я не жил в настоящем времени, я и не был способен должным образом с ним бороться. Но все время у меня было ощущение… э-э… движения назад… даже назад и вперед во времени, так что я не просто не жил в настоящий момент. И мне было намного легче двигаться назад, чем вперед, потому что движение вперед мне было достаточно трудно воспринять».

Подобное переживание может привести в крайнее замешательство и кончиться плачевно. Не существует никаких гарантий. Джесси вместо одного обычного плана реальности переживал три плоскости. Кроме прохождения через христианские посты, он не был связан с какой-либо идеологией. У него не было карты.

Но он доверял своему переживанию того, что вошел в состояние большей, а не меньшей реальности, г и п е р — здоровья, а не недоздоровья. Для других две эти возможности могли бы быть похожи, как гвоздь на панихиду. Он должен был быть осторожен.

«У меня было ощущение… э-э… богов, так сказать, не только Бога, но богов, существ, которые намного больше нас способны… э-э… бороться с ситуацией, с которой я бороться был не способен, которые заправляли и управляли всем, и… гм… в самом конце каждому приходилось взять на себя работу на вершине. И именно это занятие делало созерцание таким опустошительньм, потому что в какой-то период в существовании… а-э… самого себя человеку приходилось брать эту работу на себя, пусть только на мгновение, так как ты приходил тогда к осознанию всего сущего. Что находилось за этим, я не знаю. В то время я чувствовал, что… IM… что сам Бог — безумец… потому что у него бьио это огромное бремя осознания и управления вещами… гм… и всем нам приходилось подниматься и в конечном итоге достигать той точки, где мы должны были переживать это сами… Я знаю, что это звучит совершенно безумно, но в то время я ощущал именно так».

«Ты имеешь в виду „безумец“ в том смысле, что люди, находящиеся в таком состоянии, в каком находился ты, должны восприниматься как безумные?»

«Да, я имел в виду именно это: он был… э-э… он был безумен. Все, находящееся ниже него, или все, достигавшее точки, где находился он… э-э… должно было относиться к нему именно так, потому что в тот момент именно он воспринимал все это… а путешествие находится именно там, и каждый из нас должен пройти через него, и… гм… нельзя от него уклониться… цель всего сущего и всего существования… э-э… дать тебе сделать еще один шаг, и еще один шаг, и еще один шаг, и так далее…»

Джесси чувствовал, что это переживание являлось ступенью, которую каждый должен так или иначе пройти для того, чтобы достичь высшей стадии эволюции.

«…Это некое переживание, которое… гм… на какой-то стадии мы должны испытать, но только одна… нет, много больше… фантастическое количество вещей должно упасть на нас, пока мы постепенно не укрепим себя до принятия реальности, а все большее и большее принятие реальности и того, что реально существует, препятствует времени, и дело обстоит так, будто ты вышел на лодке в море, которая на самом деле не в силах бороться с поднявшимся штормом».

В конце концов он ощутил, что не может больше «воспринимать». Он решил вернуться.

«Медсестра сказала мне, что порой я бужу их по ночам своими разговорами. И меня поместили в звуконепроницаемую камеру, а я сказал: „Не сажайте меня сюда“, понимаешь, я сказал: „Я этого не вынесу“. Но мне сказали: „Но вы же… мы должны так поступить, поскольку вы так громко, понимаете ли, разговариваете“. Так что меня поместили в эту палату, а я сказал: „Оставьте хоть дверь открытой“, и дверь оставили открытой, я помню, в

ту ночь я сражался с… с чем-то, что хотело… с неким любопытством или готовностью открыться… гм… переживанию… этого, и с паникой и недостатком силы духа, позволившей бы мне это пережить. И в это время я прошел… я прошел через христианские посты, хотя я никогда не был тем, кого можно было бы назвать по-настоящему религиозным человеком… я и сейчас не таков… и я прошел через все эти ощущения. В общем, все это переживание стало… продолжалось какое-то время, и я начал… мне продолжали давать успокоительное, чтобы заставить меня спать, а я… однажды утром я решил, что не стану больше принимать успокоительное и что мне нужно приостановить это дело. Потому что я больше не мог с этим бороться…»

Возвращение

«Я сидел на койке и думал, что так или иначе должен соединиться со своим „я“ в настоящем времени… э-э… очень сильно. И я сидел на койке, крепко сцепив руки. А тут ко мне подошла медсестра и сказала: „Я хочу, чтобы вы приняли вот это“, а я сказал: „Я больше ничего не стану принимать, потому что должен… чем больше я принимаю лекарств, тем менее способным делать что-либо я становлюсь… в смысле… как я и сказал, я тону“. Так что я сидел на койке, крепко сцепив руки, как полагаю, неуклюже связывая себя со своим теперешним „я“. Я постоянно, снова и снова произносил свое собственное имя и внезапно, именно так… внезапно я осознал, что все закончилось. Все переживания прекратились, и это был драматический… драматический финал. И там находился военно-морской врач — контр-адмирал медицинской службы, и мы с ним подружились, потому что время от времени говорили о море. А тут подошла медсестра и сказала: „Вы это не выпили“, а я сказал; „Я же говорил вам, что не стану этого пить“, а он сказал: „Тогда мне придется позвать врача“, а я сказал: „Хорошо, зовите врача“. Потом пришел врач, и я сказал: „Мне больше не нужно это успокоительное“, я сказал: „Теперь я вполне способен… нормально всем управлять“, я сказал: „Я в полном порядке“. А он посмотрел на меня и заглянул мне в глаза и сказал: „О, я это вижу“. И он засмеялся, вот так это и произошло. И с того момента я… у меня больше не было этих ощущений…»

Джесси прошел через это.

«Но временами состояние было столь… гм… опустошенное, что я напрягал всю силу своего духа, потому что боялся вновь войти туда…

Я… внезапно столкнулся с чем-то, что было намного больше меня самого, с таким множеством переживаний, с таким осознанием, которое нельзя было воспринять. Будто что-то мягкое бросили в мешок с гвоздями…

У меня не было сил переживать это. Я переживал это в течение пары мгновений, но это напоминало внезапную вспышку света, порыв ветра — вырази как тебе угодно, — направленные против тебя, так что ты чувствуешь, что чересчур обнажен и одинок, чтобы быть способньм этому противостоять, у тебя недостаточно сил. Будто бы ребенок или животное внезапно столкнулись с переживаниями взрослого человека или осознали их. Взрослая личность пережила много всего за время своей жизни, люди постепенно укрепляли свою способность переживать жизнь и смотреть на вещи… и… э-э… понимать их, даже переживать их по разным причинам: по эстетическим причинам, по художественным причинам, по религиозным причинам. По самым разным причинам мы переживаем вещи, которые для… если бы ребенок или, скажем, животное внезапно столкнулись с такими вещами, они не смогли бы их воспринять, потому что они еще недостаточно сильны, у них для этого нет оснащения. А я тогда встал лицом к лицу с вещами, для борьбы с которыми у меня просто не было оснащения. Я был чересчур мягким, чересчур ранимым».

Человек в таком состоянии может стать для других «трудным», особенно когда все переживание испытывается в причудливо нелепом контексте больницы для душевнобольных, какой она является в настоящее время. Подлинный врач-жрец позволил бы людям иметь подобные переживания прежде, чем они будут доведены до крайности. Должен ли человек умереть от недоедания прежде, чем ему дадут поесть'? Впрочем, Джесси Уоткинс оказался счастливее многих сегодняшних пациентов, так как ему давали сравнительно

слабое успокоительное и не применяли таких методов лечения, как электрошоки, глубокое замораживание и т. п.

Вместо этого его всего-навсего поместили в звуконепроницаемую палату, когда он достал других.

Если бы Джесси пришлось бороться с «современными» формами психиатрического «лечения», они бы, вероятно, достали его.

«… Я ощущал, будто я сдался и не хотел знать вообще ни о чем, я вроде как свернулся в комочек и… гм… так сказать, перестал существовать. Я ощущал, что не могу воспринять больше, потому что прошел через такое… через такое множество ужаса, и полагаю, есть некая точка, до которой люди еще могут воспринимать, а потом они все бросают, потому что не могут этого больше воспринимать. А если я не мог это больше воспринимать, я должен был… я не знаю, что могло бы случиться… вероятно, ощущение внезапной остановки и тому подобное, и если… если бы мне такое сделали, не знаю, как бы я был способен поступить… как бы я был способен с этим бороться, не будучи запертым в той палате… в смысле, в палате с коричневыми звуконепроницаемыми стенами, полом и всем остальным…»

Я спросил его, какие, по его ощущениям, принципы должны лежать в основе ухода, обеспечиваемого во время подобного путешествия.

«…Ты напоминаешь судно в шторм. С него сбрасывают запасный становой якорь, помогающий кораблю выдержать бурю, потому что он держит его носом к ветру, но он также дает ощущение спокойствия… э-э… находящимся на борту, так как они думают, что у них есть становой якорь, не прикрепленный ко дну, а являющийся частью моря, который… э-э… позволит им выжить, а пока они думают, что выживут, как и корабль, они могут пройти через переживание шторма. Постепенно они начинают… они ощущают себя совершенно счастливыми, даже хотя якорь может сорваться и все такое прочее. Я чувствую, что, если человек должен пережить нечто подобное, ему нужна, так сказать, одна рука для самого себя, и одна рука для переживания. Думаю, он не будет способен — если собирается выжить, — самостоятельно подняться над тем уровнем, на котором пребывает в настоящем… из-за всего того, что было прежде, и постепенно укреплять… э-э… необходимое оснащение для того, чтобы бороться с данной ситуацией самому. Он не очень сильно оснащен для этого. Некоторые люди лучше оснащены для этого, а некоторые — хуже… но у человека должен быть своего рода становой якорь, держащийся за настоящее — и за самого человека, каким он является, — чтобы быть способным пережить хотя бы чуточку того, что он должен пережить».

«Так что должны быть другие люди, как бы присматривающие за тобой…»

«Другие люди, которым ты доверяешь, и которые знают, что за тобой надо присматривать, которые не дадут тебе утонуть. Просто… гм… суть в том — понимаешь, я это ощущаю, — что такое переживание — это вопрос укрепления собственного духа. Потому что я помню — если взять обычную аналогию, — когда я впервые отправился в море, мне было шестнадцать лет, и мы пришли на север России и пережили несколько совершенно необычайных штормов, когда море заливало судно, а судно жутко качало, и не было никакой еды, а я прежде в своей жизни никогда не переживал ничего подобного. Потому что я даже не учился в школе-интернате, я жил дома, ходил в дневную школу и никогда не расставался с матерью надолго. И внезапное столкновение с этой грубой и ужасной, вызывающей страх жизнью было чуть больше того, что я в то время мог воспринять… но потом, постепенно, в то время как я больше углублялся в эту жизнь, я в первую очередь начал как бы быть… или притворяться смелым. Потом я постепенно стал отважно встречать все трудности, и порой успокоение мне давало то, что другие люди воспринимали их, они жили в такой… э-э… обстановке и, похоже, находились в полном порядке. Они мне не сочувствовали, ты ни от кого не получал сочувствия, и ты был предоставлен самому себе, чтобы… э-э… встречать трудности. И я встречал, а потом, конечно же, оглядываясь назад, я могу вспомнить, как порой, когда я очень боялся большого шторма, я думал… я часто думал, когда переживал эти штормы, что я оснащен своим опытом, чтобы бороться с ними… но я часто возвращался к

тем временам, когда был юношей, когда впервые вышел в море, первую неделю — потому что в течение первой недели в море мы пережили необычайный шторм, у нас смыло камбуз, не было еды, и все было мокрым, а судно качало, и мы рисковали потерпеть кораблекрушение и все такое прочее… э-э… Я был объят страхом просто потому, что не был оснащен для того, чтобы с ним бороться. И полагаю, это самая близкая аналогия, которую я мог привести тому, что я ощущал… внезапное столкновение лицом к липу с таким… огромным знанием…

Я думаю, что… э-э… десять дней и то, что я тогда пережил, определенно чуточку меня продвинуло. И я помню, когда я вышел из больницы — в целом я находился там почти три месяца, — когда я вышел, я внезапно почувствовал, что все гораздо реальнее, чем… чем было прежде. Трава зеленее, солнце светит ярче, а люди более живые, и я мог видеть их более отчетливо. Я мог видеть плохое и хорошее и все остальное. Я стал больше осознавать».

Настоятельно требуется очень много написать об этом и сходных переживаниях. Но я собираюсь ограничить себя лишь несколькими вопросами фундаментальной ориентации.

Мы не можем больше предполагать, что подобное путешествие есть болезнь, которую нужно лечить. Однако звуконепроницаемая палата сегодня уже устарела по сравнению с «усовершенствованными» методами лечения, которые теперь используются.

Если мы сможем демистифицировать самих себя, то увидим «лечение» (электрошоки, транквилизаторы, глубокое замораживание — порой даже психоанализ) как способ, препятствующий реализации этой последовательности.

Неужели мы не видим, что это путешествие является не тем, от чего нам нужно излечиться, а естественным способом лечения нашего отвратительного состояния отчуждения, называемого нормальностью?

В другие времена люди преднамеренно пускались в такое путешествие.

А если они обнаруживали, что уже волей-неволей находятся в нем, то выражали благодарность, как за особую милость.

Сегодня некоторые люди по-прежнему отправляются в путь. Но, вероятно, большинство обнаруживает себя силой Ц. вытолкнутыми из «нормального» мира и помещенными в К. незащищенные положения. У них нет ориентации* в географии внутреннего пространства и времени, и без проводника они, вероятнее всего, очень быстро потеряются.

В главе V я перечислил различные черты подобного путешествия. По-видимому, они вполне подходят переживанию Джесси Уоткинса. (Когда Джесси давал мне этот отчет, мы предварительно не обсуждали эту тему, а он не читал ничего из написанного мной.) Но это по-прежнему лишь гипотетическое приближение**. Юнг проложил здесь путь, но только немногие последовали за ним.

Хочется надеяться, что общество создаст учреждения, специальной целью которых будет помощь людям в шторм при подобном путешествии. Значительная часть данной книги была посвящена показу того, почему сейчас это маловероятно.

В таком особом путешествии направление, которое мы должны принять, — это назад и внутрь, поскольку, именно возвращаясь назад, мы начинаем оказываться в беспомощном состоянии. Люди скажут, что мы двигаемся в обратном направлении, уходим и теряем контакт с ними. Достаточно верно — нам предстоит долгий-предолгий путь, чтобы вернуться к контакту с реальностью, с которой мы давным-давно потеряли контакт. А поскольку они человечны, заботливы и даже любят нас — и еще очень напуганы, — они попытаются нас вылечить. Они могут добиться успеха. Но по-прежнему есть надежда, что их постигнет неудача.

*0риентация означает знание того, где находится Ориент (Восток). Для внутреннего пространства это значит знать источник, или происхождение, нашего переживания.

**Потрясающе ясное автобиографическое описание психотического эпизода, длившегося шесть месяцев, лечебная функция которого очевидна, см.[35а].

РАЙСКАЯ ПТИЦА

Иисус сказал им:
Когда сделаете вы два одним,
и когда сделаете вы
внутреннее внешним,
а внешнее внутренним,
и верх низом,
и когда сделаете вы мужчину
и женщину единым, так что
не будет мужчина мужчиной,
а женщина женщиной,
когда создадите вы глаза
вместо глаза,
и руку вместо руки,
и ногу вместо ноги,
и образ вместо образа,
тогда войдете вы в Царство.
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ФОМЫ

Каждую ночь я встречаю его. Царя с Венцом. Каждую ночь мы сражаемся. Почему он должен меня убить? Нет. Я не умру. Я могу стать меньше булавочной головки, тверже алмаза. И вдруг — насколько он мягок! Одна из его уловок. Долой его Венец! Бью. Удар в голову. Лицо в крови. Слезы? Возможно. Поздно! Долой голову! Колю в хребет! Умри же, о Царь!

Паук медленно ползет по стене спальни. Не страшный, не злой. Приятие. Появляется еще один, и еще. Ох! Нет, слишком много. Убить.

Внезапно он всегда оказывается птицей, столь хрупкой, столь прекрасной; теперь же дергающей в предсмертных судорогах. Что я наделал? Зачем так со мной играть? Зачем появляться такой уродиной? Это твоя ошибка, твоя ошибка.

Полдень. Уличная пробка. Вначале я не понимаю почему. Потом вижу. Крупный, величественный пес бегает бесцельными кругами по дороге. Он подбегает к моей машине. Я начинаю понимать, что у него что-то ужасно повреждено. Да, сломана спина, а когда он поворачивается, видна левая половина морды, разбитая, окровавленная, бесформенная, — месиво, в котором как-то уцелел глаз, смотрящий на меня, без глазной впадины, просто сам по себе, одинокий, обособленный, Собралась толпа, смеющаяся, подшучивающая над странным поведением этого обезумевшего животного. Водители сигналят и кричат, чтобы он убирался с дороги. Продавщицы выбежали из лавок и хихикают.

Могу ли я быть тем псом, и теми рассерженными водителями, и теми хихикающими продавщицами?

Прощает ли меня Господь за то, что я Его распинаю?

Глазго.

Серая улица. Пустые безликие трущобы, истекающие моей моросью. Красное лишь на щечках детей. Свет, меркнущий во все еще смеющихся глазах…

Глазговское остроумие

ПАРЕНЬ (проходящей пташке): Цыпочка, постой… сейчас ты изойдешь кипятком.

ПТАШКА: Ты же всяко не сунешь туда свой клюв.

Те остановки глазговских трамваев воскресным ноябрьским днем в 30-е годы. Конец.

Обсыпающаяся штукатурка. Разбитые окна. Запах трущоб. Сырые дворики воскресным утром. Беременные прокисшим пивом, блевотиной, рыбой и картошкой.

Все те обои в цветочек и те бордюры, занавески и шторы. Плюшевый гарнитур из трех предметов.

Изразцовые камины, каминные решетки, квадратные метры и метры линолеума под

паркет.

Изразцовый дворик с перильцами и окном с цветными стеклами. Порядочность. О, эта порядочность.

Г-жа Кэмбел — приятная молодая мать двоих детей. Внезапно она стала терять в весе, а ее живот начал распухать. Но она не чувствовала себя больной.

Студент-медик должен «записать историю болезни» — я сделал ошибку, болтая с ней, расспрашивая о ее мальчике и девочке, о том, что она вяжет и тому подобное.

Она прибыла в наше хирургическое отделение в воскресенье. На ее животе была сделана отметка, показывающая, где находится нижний край печени, так как та была увеличена.

К понедельнику ее печень увеличилась и опустилась еще ниже. Даже раковая опухоль не могла расти с такой скоростью. Она явно страдала чем-то крайне необычным.

Ее печень продолжала расти с каждым днем. К четвергу стало ясно, что она умрет. Она этого не знала — и никто не собирался ей говорить.

— Мы решили, что операция вам не нужна.

— Когда же меня выпишут?

— Ну, вероятно, очень скоро, но мы пока должны держать вас под наблюдением.

— А меня будут как-нибудь лечить?

— Не волнуйтесь, г-жа Кэмбел, предоставьте это нам. Нужно сделать еще несколько обследований.

У нее, наверно, было внутреннее кровотечение в печени. Но почему? Метастазы рака где-нибудь в другом месте? Но где? Каждая часть ее тела была прозондирована, прощупана: вверх — прямая кишка, вагина; вниз — горло; просвечена рентгеном; моча, кал, кровь… Это была интересная клиническая проблема.

В пятницу утром студенты встретились. с одним из молодых хирургов и обсудили ее случай. Никто ничего подобного не видел — мы, конечно же, узнаем при вскрытии, но было бы хорошо, если бы мы смогли поставить диагноз заранее.

Кто-то предположил небольшую опухоль на сетчатке. Ее глаза проверяли — но такие опухоли, иногда действительно очень маленькие, легко пропустить — когда ее обследовали первый раз, специально Не смотрели — сомнительная возможность. Было почти время ленча, когда более пятисот студентов бежали из аудиторий всех университетских зданий в студенческую столовую, где мест только двести. Если ты не попадал в начало очереди, тебе приходилось ждать больше часа, а у тебя до следующей лекции только час.

Но у нас было время лишь мельком посмотреть ее глаза…

Когда мы добрались до нее, сестры уже укладывали ее, связывали ей лодыжки.

Блядь, она умерла! Спокойно, быстро, до того, как затуманится роговая оболочка. Мы посмотрели в глубину ее мертвых глаз. Умерла лишь несколько минут назад. Если вы смотрите в глаза в это время, все равно интересно — вы действительно видите, как кровь начинает разрывать сосуды сетчатки. Но кроме этого, смотреть нечего.

Блядь, из-за нее мы пропустили этот блядский ленч.

Книжная лавка, Глазго. Обычный «Горизонт». Последний номер!

«Сейчас в Садах Запада время закрытия. С этого момента о писателе будут судить по резонансу его молчания и качеству его отчаяния».

Отлично — у тебя никогда не было тиража больше восьмидесяти тысяч. У тебя кончились деньги. Но, подонок, говори за себя. Исписывай «Горизонт» и самого себя. Не исписывай меня. Меня будут судить по моей музыке, а не по моему молчанию, по качеству каких-то жалких клочков веры, надежды и милосердия, что все еще держатся на мне.

АМЕРИКАНСКИЙ МОРЯК (глазговской красотке): Детка, я дам тебе кое-что, чего у тебя никогда не было.

ГЛАЗГОВСКАЯ КРАСОТКА (подружке): Слышь, Мэгги. Тут у одного парня проказа.

Пятьдесят трупов положили на столы. Прежде чем мы дойдем до ручки, каждый из нас должен близко узнать один из них.

В конце семестра, — внезапно, как кажется, — никто не понял, как это началось: куски кожи, мышц, пенисов, кусочки печени, легких, сердца, языка и т. д. и т. п. залетали вокруг… Вопли… крики… Кто с кем сражается? Бог знает.

Профессор некоторое время стоит в дверях, пока его присутствие не начинает проникать в аудиторию. Молчание.

— Вам должно быть стыдно, — громыхает он, — как, по-вашему, они соберут самих себя в день Страшного Суда?

Ему было десять лет, и у него была гидроцефалия из-за неоперабельной опухоли размером с горошину как раз в таком месте, чтобы не выпускать спинномозговую жидкость из головы, у него, так сказать, в мозгу была вода, которая разрывала его голову, так что мозг стал вытягиваться в узенький ободок, и кости черепа — тоже. Он мучился от ужасной, неотпускающей боли.

Одной из моих обязанностей было вводить иглу в эту все увеличивающуюся опухоль и выпускать жидкость наружу. Я должен был делать это дважды в день, и эта прозрачная жидкость, убивающая его, вырывалась на меня из его объемистой десятилетней головы, поднимаясь столбом на несколько футов, порой ударяя мне в лицо.

Случаи вроде этого обычно менее мучительны, чем могут показаться, так как больным часто и помногу дают наркотики; они частично теряют некоторые способности, иногда помогает операция. Ему сделали несколько, но новый канал не работал.

Положение может быть порой на неопределенный срок стабилизироваться на уровне существования хронического растения — так что личность, по-видимому, в конце концов не страдает. (Не отчаивайтесь, душа умирает даже раньше тела.)

Но этот мальчик, без сомнения, продолжал мучиться. Он тихо плакал от боли. Если бы он только закричал или застонал… И он знал, что умрет.

Он начал читать «Записки Пиквикского клуба». Единственное, о чем он просил Бога, сказал он мне, чтобы ему было позволено закончить книжку, а уж потом умереть.

Он умер, не прочитав и половины.

Я знаю столько анекдотов! По крайней мере, я их не придумываю.

Джимми Маккензи был бичом психбольницы, потому что слонялся повсюду, громогласно отвечая своим внутренним голосам. Мы могли слышать, конечно, лишь одну сторону, другая могла подразумеваться, по крайней мере в общих чертах:

— Идите в задницу, полоумные подонки…

Было решено облегчить одновременно и его мучения, и наши, не отказав ему в праве на лейкотомию.

Было отмечено улучшение его состояния. После операции он слонялся повсюду, уже больше не ругаясь с голосами, а крича:

— Что? Повтори еще раз! Говори громче, сволочь, я тебя не слышу!

Мы принимали роды, и они тянулись уже шестнадцать часов. Наконец оно начало выходить — серое, скользкое, холодное; оно вылезло — большая человекообразная лягушка, аненцефалическое чудовище, без шеи, без головы, с тазами, лягушачьим ртом, длиннющими руками.

Это существо родилось в 9:10 ясным августовским утром.

Возможно, отчасти оно было живым. Мы не хотели этого знать. Мы завернули его в газету — и с этим свертком под мышкой, чтобы зайти в лабораторию патологии, которая, кажется, давала ответы на все вопросы, которые я когда-либо задавал, я через два часа шел по улице О'Коннел.

Нужно было выпить. Я зашел в пивную, положил сверток на стойку. Внезапно — желание развернуть его, показать всем эту ужасную голову Горгоны, обратить мир в камень.

До сего дня я мог бы показать вам ту точку на мостовой.

Кончики пальцев, ноги, легкие, гениталии, все мыслящее.

Эти люди там на улице, я их вижу. Нам сказали, что они являются чем-то внешним, что пересекает пространство, лезет в глаза, доходит до мозга, затем происходит событие,

посредством чего это событие переживается мной в моем мозгу как те люди там в пространстве.

То «Я», которым я являюсь, — не то, которое я знаю, но то, посредством чего и с помощью чего это «Я» известно. Но если это «Я», которое является посредством чего-то, не есть что-то, что я знаю, то это ничто. Щелк — ворота шлюза открыты — тело опустошается вовне.

Голова с ногами весело распевает на улицах, ведомая нищим. Голова — это яйцо. Глупая старуха разбивает голову-яйцо. Плод. Его пение — крик невыразимой боли. Старуха поджигает плод. Он крутится внутри головы-яйца, словно на сковородке. Смятение. Его боль и беспомощность неописуемы.

Я горю, я не могу выбежать. И крики: «Он мертв!» Но врач заявляет, что он еще жив, и велит отвести в больницу.

Два человека сидят лицом к лицу, и оба из них — это я. Спокойно, щепетильно, тщательно они выпускают друг другу мозги, стреляя из пистолетов. С виду же они совершенно невредимы. Внугренее опустошение.

Я брожу по Новому городу. Что за жалкое зрелище те внутренности и выкидыши, порождающие новых щегольских подонков. Этот с виду похож на сердце. Он пульсирует. Он начинает двигаться на четырех ножках. Он отвратителен и нелеп. Собакоподобный уродец из сырой красной плоти, но, однако, живой. Глупая, освежеванная, уродливая собака все еще упорно продолжает жить. Однако все, что она просит после всего, это чтобы я позволил ей любить меня.

Изумленное сердце, любящее нелюбимое сердце, сердце бессердечного мира, безумное сердце умирающего мира.

Играя в игру реальности без реальных карт в руке.

Тело искромсано, разорвано на куски, растерто в порошок, члены болят, сердце потеряно, кости измельчены, пустая тошнота в прахе. Желание блеванутъ легкими. Кругом кровь, ткани, мышцы, кости — дикие, неистовые. Внешне же все тихо, спокойно, как всегда. Сон. Смерть. Я выгляжу отлично.

Тот дикий безмолвный крик в ночи. И что, если бы я начал рвать на себе волосы, бегать нагим и орать в пригородную ночь. Я бы разбудил несколько уставших людей, а себя бы отправил в психбольницу. С какой целью?

5 часов утра: стервятники парят за моим окном.

Величественный лес, жаркий летний день. Гордые деревья, глубоко пустившие корни в землю, цепляющиеся за небо, высокие, могучие. Лес во всем своем великолепии.

Пришли лесорубы. Срубили и спилили деревья. Которые терпеливо переносили боль от их топоров и пил. Деревья повержены — обработаны на лесопилке, распилены на бревна и бревнышки, расколоты на поленья и полешки, все меньше, и меньше, и меньше, в конце концов до опилок, исчезая в хламе этого мира.

Лотос открывается. Движение из земли, сквозь воду, из огня к воздуху. Теперь наружу и внутрь за пределы жизни и смерти, за пределы внутреннего и внешнего, смысла и бессмыслицы, значения и тщеты, мужского и женского, бытия и небытия, света и тьмы, пустоты и полноты. За пределы любой двойственности или недвойственности, за-пределы и запределы. Развоплощение. Я снова дышу.

Дальше внутрь, большой или малый, более или менее есть, все более и более ничто, дальше в атом, дальше в открытый космос, ничто. Врата со Страшным Судом в Отене и центра атома тождественны. Прыгающий Иисус. Экстаз. Космическая пена и пузыри вечного движения Творения Спасения Воскресения Суда Страшного Последнего и Первого и Высшего Начала и Конца суть Единая Мандала Атомного Цветка Христа. Игольное ушко здесь и сейчас. Два удара сердца обвивают бесконечность. То, что мы знаем, это пена и пузыри.

Свет. Свет Мира, что озаряет меня и горит в моих глазах. Внутреннее солнце, что славит меня, ярче тысячи солнц.

Ужас быть ослепленным, поджаренным, уничтоженным. Хватаюсь за самого себя. Падаю. Падение из Света во Тьму, из Царства в изгнание, из Вечности во время, с Небес на землю. Прочь, прочь, прочь и наружу, вниз и наружу, сквозь ветра и мимо ветров иных миров, звезд, красок, самоцветов, сквозь начала и мимо начал соперничества. Пальцы одной руки начинают бороться друг с другом. Начала богов — каждый уровень бытия, стремящийся ньше к низшему, — боги, сражающиеся и сношающиеся друг с другом, — воплощение. Полубоги, герои, смертные. Резня. Бойня духа в окончательном ужасе воплощения. Кровь. Боль. Изнеможение духа. Борьба между смертью и перерождением, обессиливанием и возрождением.

Космическая блевотина, сперма, смегма, понос, пот — при любых обстоятельствах, незначительная частичка на пути наружу…

Видение кончилось, я снова начинаю грезить. Сотрясенный. Оторванные лоскутки памяти. Бедная, сырая, разбитая Голова-Яйцо. Кровотечение времени в теле Вечности.

Вновь начиная думать — ухватить, связать, соединить, запомнить…

Лишь запомнить запомнить, или по крайней мере запомнить, что ты забыл…

Каждое забывание расчленения.

Я не должен снова забыть. Все те поиски и изыскания тех ложных указательных столбов, ужасная опасность забыть, что забыл. Это слишком страшно.

За и над человеком, вне и внутри человека свирепствует война. Человек, я и ты, — это не единственное место битвы, но он является одним из ее участков. Разум и тело разорваны, изрезаны, искромсаны, опустошены, истощены этими Силами и Властями при их космическом конфликте, который мы даже не можем опознать.

Мы — расколотые, разбитые, сумасшедшие остатки некогда славной армии. Среди нас есть Князья, Полководцы, Военачальники, с амнезией, афазией, атаксией, судорожно пытающиеся припомнить, что это была за битва, звуки которой все еще раздаются у нас в ушах, — идет ли все еще битва? Если мы только смогли бы наладить связь со Штабом, найти путь, чтобы соединиться с основной частью Армии…

Воин на Стене на отдаленной окраине Империи — всматривающийся во тьму и опасность. Ближайшего товарища не видно. Меня не должны бросить — в нужное время я буду вызван в Столицу.

Нащупывание, ориентация, крошки, обрезки, осколки головоломки, немного сумасшедшего бреда, что может помочь в восстановлении потерянного послания. Я лишь начинаю вновь обретать память, лишь начинаю осознавать, что потерялся, улавливаю лишь тихие звуки знакомой музыки — обрывки старых напевов, мгновения дежа-вю, пробуждение от долгой тупой боли — невыносимое осознание того, что за разгром это был, что за резня, что за предательство, ужас, глупость, невежество, трусость, малодушное желание, жалкая алчность. Слабое воспоминание о бредовой ностальгии — по Царству, Силе и Славе, Потерянному Раю…

Мы, бродяги, настолько потеряли последний разум, что не знаем, что воровать или даже как попрошайничать. Мы лишенцы. Беспризорники.

Рыбы, выкинутые в предсмертные муки, дергающиеся, трущиеся друг о дружку в собственной слизи. Не будь робкой рыбой. Сейчас не время для достоинства и героизма. Наша великая надежда на трусость и предательство. Я скорее стал бы бельм, чем мертвым.

Посреди океана. Кораблекрушение. Выживших подобрали. Вся команда спасена, кроме Капитана-Правителя-Начальника. Корабль-спаситель уходит от места крушения. Пустой, спокойный, безлюдный океан. Медленное продвижение по поверхности. Внезапно, словно птица, я устремляюсь вниз. Вот же Капитан. Он мертв? Нетонущая пока намокшая кукла — не больше. Даже если он не мертв, по-видимому, скоро пойдет ко дну. Внезапно его выбрасывает к рыбацкому поселку. Рыбаки не знают, жив он или мертв, капитан ли, кукла ли, диковинная ли рыбина. Приходит врач, потрошит его как рыбу или распарывает как куклу. Внутри намокший, серенький человечек. Искусственное дыхание. Он шевелится. Кровь приливает к лицу. Возможно, он выкарабкается.

Насколько я должен быть осторожен! Как близко! Если только это в самом деле возвращение Царя. Капитан пришел принять командование. Сейчас я могу начать снова. Разложить по полочкам. Починка, восстановление, замыслы. Планы. Кампании. О Да.

Существует еще одна область души под названием Америка.

Выразить Америку невозможно. Той последней ночью было эдакое крайне интеллигентное сборище очень такое белое очень такое еврейское я начал осознавать что сижу рядом с бюстом из чего-то вроде терракоты вероятно Будды. Было тихо и по-прежнему ничего не говоря и ничего не делая я начал осознавать что с макушки его головы исходит свет электрическая лампочка ватт на шестьдесят я вас не дурачу это была лампа.

Какого черта вы обращаетесь с Буддой как с лампой. О это не Будда это какая-нибудь верховная богиня.

Америкой правит бесплодная смеющаяся Будда-женщина — жирная немыслимо и невообразимо — задрапированная мириадом складок и слоев. На очереди — жир. Эта женщина-Будда сделана из какой-то космической грязи, которая сейчас разрастается в чудовищном похотливом желании. Миллионы мужчин падают на нее, чтобы, трахнув,

избавить ее от невыразимого, ненасытного и бесстыдного зуда. Все они теряются в бесконечном, маслянистом, жирном болоте ее вонючего укромного уголка.

Эти писания не свободны. Они остаются, как и любые писания, нелепой и бунтарской попыткой произвести впечатление на мир, который останется таким же неподвижным, таким же жадным. Если бы я мог включить тебя, если бы я мог свести тебя с твоего жалкого ума, если бы я мог тебя различить, я дал бы тебе знать.

Кто же не занят попытками впечатлить, оставить веху, высечь свой образ на других и на мире — высеченные образы дороже, чем самое жизнь? Мы хотим умереть, оставив наши отпечатки, выжженными в сердцах других. Чем бы стала жизнь, если бы не было никого, кто помнит нас, думает о нас, когда нас нет, оживляет нас, когда мы умираем? А когда мы умираем, внезапно или постепенно, наше присутствие, разбросанное по десяткам и сотням тысяч сердец, тускнеет и исчезает. Сколько свечей в скольких сердцах? Из такого вот материала наша надежда и наше отчаяние.

Как ты заткнешь пустоту, затыкающую пустоту? Как войти в ушедший мир? Никакие моча, дерьмо, смегма, сперма, слизь, лимфа, мягкое и твердое, и даже слезы из глаз, уши, зад, влагалище, член, ноздри отличного качества у человека или крокодила, черепахи или дочери не заткнут Дыру. Она уходит ото всего этого, любого последнего отчаянного хватания. Войди в ушедшее. Я уверяю тебя. Ужасное уже произошло.

Развалины

Старомодные

Все те внушения любви…

Я хочу, чтобы меня пробовали и нюхали, хочу быть ощутимым тобой, забраться тебе под кожу, быть зудом у тебя в мозгу и у тебя в кишках, которые не сможешь чесать, зудом, который не сможешь ослабить, который растлит тебя, уничтожит и сведет с ума. Кто может писать всецело с неподдельным состраданием? Любая проза, любая поэзия, в той степени, в какой она не является состраданием, есть неудача.

Будь осторожен. Внимание. Спокойствие. Предусмотрительность. Не переусердствуй. Просто держись за свое место, просто на напрашивайся не неприятности. Помни, у тебя на руках кровь, просто не будь слишком нахальным или слишком жадным. Не кичись чересчур собой. Помни свое место в иерархии, не пытайся кривляться, не ори, не рисуйся, не выставляйся, не думай, что тебе удастся смыться, у тебя было немножко мочи, взятой у тебя же, не извиняйся. Не дергайся. Кого ты пытаешься одурачить? Немного смирения, частица любви, зерно доверия, тебе сказали ровно столько, сколько тебе нужно знать, у тебя ровно твоя доля, не испытывай терпение богов. Заткнись и старайся ладить. Помни. Осталось не так уж много времени. Потоп и огонь надвигаются на нас.

Да, бывают мгновения

Порой случается чудо

Дыба с улыбкой
Ничто так не становится человеком
Как покинутая слабость
Как тихая ностальгия
Ich grolle nicht
Нежность тоже возможна
О нежность
Блужданья
Вдруг я набрел на одно из моих многочисленных детств
Что сохранилось в забвенье
Для этого самого мига, когда я в нем так нуждаюсь.
Он и она
Грустный напев
Его пальцы так робко тянутся к нашему неосязаемому
счастью
Его тихая улыбка так тактично предлагает
Утешение, которого мы не просим.
ОНА: Мое сердце полно пепла и лимонных корок.
ОН: Не уходи чересчур далеко.
ОНА: Я. уйду лишь в себя. Ты всегда меня там найдешь.
ОН: Если бы я любил весь мир, как люблю тебя, я бы умер.

Леса и водопады непонятного неровного пейзажа, Каскады и пороги через локти и мимо них к мысам пальцев,

Звезда нервов, артерии шампанского, Ее образ покалывает мне кончики пальцев, Раскручивает мою скрученную плоть, Касается потерянного нерва смелости, Вызывает неопределенный жест восторга, Чтобы отважиться на бытие.

Танца начало. Дрожь в кончиках пальцев, трепет губ, боль в сердце и перехваченное дыханье. Все слегка не в такт и не в ногу, у каждого свой собственный темп и ритм. Медленно соединяются. Губа с губой, сердце с сердцем, нахождение «я» в другом, ужасное, робкое, обжигающее… ноты находят себя в аккордах, аккорды в секвенции, какофония превращается в полифонический контрапунктический хор, регистр торжества.

Танцующие волны плавных гребней и впадин губ и сосков, пальцев, позвоночников, бедер — смеющихся, сплетающихся, смешивающихся, сплавляющихся, и где-то касание, предельная радость и веселье, прекрасная светлая жизнь, распространяющая вечно новую и неистовую свежесть. Но это возможно — когда нет больше нужды просить или спрашивать — его и ее, ты и становимся нами — более чем мгновение нас и не слишком отчаянное падение. Чего еще просить?

Волна прилива высотой один миллион миль, движущаяся со скоростью света. Невозможно проскочить под ней или над ней, убежать, обогнуть слева или справа. Правительство выжигает землю огромными огнеметами, почву в пустыню, чтобы впитала воду. Огонь против воды. Не пугайся.

Мраморную мозаику у врат Шестого Неба можно по ошибке принять за воду.

Сад. Кошка за птичкой. Кыш, мерзкая кошка, поймай-ка птичку. Насколько она неуловима, и я сам превращаюсь в кошку. Остановись. Кошка это кошка это птичка это не-птичка несказанно хрупкого пространства, внезапно разворачивающегося в параболической красе могущества. Как глупо волноваться, пытаться ее спасти, или схватить. Вероятно, кошка пыталась ее спасти. Пусть. Кошка и птичка. Begriff. Истина, которую я пытаюсь ухватить, это хватание, которое пытается ее ухватить.

Я видел Райскую Птицу, она распростерла надо мной свои крылья, и я никогда не буду таким, как прежде.

Нет ничего, чего нужно бояться. Ничего.

Точно.

Жизнь, которую я пытаюсь ухватить, это то «я», которое пытается ее ухватить.

В самом деле, нечего больше сказать, когда мы возвращаемся к тому началу всех начал, которое вообще есть ничто. Только когда ты начнешь терять эту альфу и омегу, ты захочешь говорить и писать, а этому ведь нет конца, — слова, слова, слова. В лучшем случае это, вероятно, поминания, заклинания, ворожения, колдования; излучение, сверкание, радужные сияния на небе тьмы, все еще подходящие; такт, нескромность, вероятно, простительная…

Огни города в ночи, с воздуха, удаляющиеся, как и эти слова, атомы, каждый из которых содержит в себе свой собственный мир и всякий другой мир. Каждый — запал, чтобы тебя запустить…

Если бы я мог тебя включить, если бы я мог свести тебя с твоего жалкого ума, если бы я мог тебя различить, я дал бы тебе знать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беккет С. В ожидании Годо /Иностранная литература, N?10.
2. Гегель Г.В.Ф. Система наук. Ч. 1: феноменология духа. СПб., 1992.
3. Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992.
4. Arietl S. Interpretation of Shizoprenia. N. Y. 1955.
5. Binswanger Z. Being-in-the-World. N. Y. 1963.
6. Bateson G., Jackson D.D., Haley J., Weakland, J. and J. Towards a theory of schizophrenia/Behaviour Science. Vol. I, 251, 1956.
7. Bateson G. (ed.) Perceval's Narrative. A Patient's Account of His Psychosis. Stanford, Cal., 1961.
8. Boss M. Meaning and Content of Sexual Perversions. N. Y., 1949.
9. Boss M. Analysis of Dreams. L., 1957.
10. Bultmann R. Primitive Christianity in its Contemporary Setting. L., 1956.
11. Colby E. (ed.) The Life of Thomas Holcroft, cont. by William Hazlitt. L., 1925.
12. Deutsch H. Some forms of emotional disturbances and their relationship to schizophrenia/Psychoanal. Quart. II, 301, 1942.
13. Dooley L. The concept of time in defence of ego integrity/Psychiatry, 4, 13, 1941.
14. Fairbairn W. R. D. Observations on the nature of hysterical states/Brit. J. Med. Psychol., 27, 105, 1954.
15. Farber L. H. The therapeutic despair/Psychiatry, 21, 7, 1958.
16. Fromm-Reichmann F. Some aspects of psycho-analysis and schizophrenia/Psychotherapy with Schizophrenics (eds. Redlich F. C. and Brody E. R.). N. Y. 1952.
17. Garfinkel H. Conditions of Successful Degradation Ceremonies/Am. J. Sociol., LXI, 1956.
18. Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation on Mental Patients and other Inmates. N. Y., 1961.
19. Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis, 1961.
20. Guntrip H. A study of Pairbairn's theory of schizoid reactions/Brit. J. Med. Psycho)., 25, 86, 1952.
21. Haley J. Strategies of Psychotherapy. N. Y., 1963. 21a. Heidegger M. Being and Time. L., 1962.
22. Henry J. Culture against Man. N. Y., 1963.
23. Kaplan B. (ed.) The Inner World of Mental Illness. N. Y. and L., 1964.
24. Kierkegaard S. The Sickness unto Death. N. Y., 1954.
25. Kraepelin E. Lectures on Clinical Psychiatry. L., 1905.
26. Kuhn R. La Phenomenologie de masque. P., 1957.
27. Laing R. D. The Self and Others. L., 1961.
28. Laing R. D. and Cooper D. Reason and Violence. L., 1964.
29. Laing R. D. and Esterson A. Sanity, Madness and the Family. Vol. I: Families of

Schizophrenics. L., 1964.
30. Laing R. D. Mystification, Confusion and Conflict/Intensive Family Therapy. N. Y. 1965.
31. Laing R. D., Phillipson H. and Lee A. R. Interpersonal Perception:
A Theory and a Method of Research. L., 1966.
32. Lidz. T. The Family and Human Adaptation. L., 1964.
33. Lomasz P. (ed.) Psychoanalitic Studies of the Family. L., 1966.
34. Macmurray J. The Self as Agent. L., 1957.
35. Merleau-Ponty M. The Structure of Behaviour. Boston, 1963. 35a. O'Brien B. Operators and Things. L., 1958.
36. Sartre J.-P. Psychology of Imagination. L., 1950.
37. Sartre J.-P. Being and Nothingness. L., 1956.
38. Sartre J.-P. Foreword to «The Traitor» by Andre Gorz. L., I960.
39. Scheff T. Social Conditions for Rationality: How Urban and Rural Courts Deal with the Mentally Ill/Amer. Behav. Scient., March, 1964.
40. Scheff T. The Societal Reaction to Deviants: Ascriptive Elements in th$ Psychiatric Screening of Mental Patients in a Mid-Western State/Social Problems. No. 4, Spring, 1964.
41. Schreber D. P. Memoirs of my Nervous Illness. L., 1955.
42. Scott C. The «Body-scheme» in psychotherapy/Brit. J. Med. Psychol., 22, 139, 1949.
43. Searles H. F. Positive feelings in the relationships between the schizophrenic and his mother/Int. J. Psycho-Anal., 39, 569, 1958.
44. Segal H. Schizoid mechanism underlying phobia formation/hit. J. Psycho-AnaL, 35, 238, 1954.
45. Siasz T. The Myth of Mental Illness. L., 1962.
46. Tillich P. The Courage to Be. L., 1952.
47. Trilling L. The Opposing Self. L., 1956.
48. Winnicott D. W. Collected Papers. L., 1958.